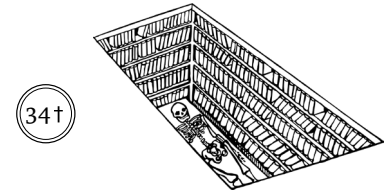
Барон Корво

# ТО, ЧТО РАССКАЗАЛ МНЕ ТОТО

*Перевод и комментарии*
*Ольги Серебряной*

Kolonna Publications
Митин Журнал

ББК 84.4 ВЕЛ



*Baron Corvo*
***Stories Toto Told Me***

Редактор: Дмитрий Волчек
Обложка: Алексей Кропин
Верстка: Сергей Фёдоров
Корректор: Кирилл Путресцинов
Руководство изданием: Дмитрий Боченков

*В оформлении обложки использована фотография Вильгельма фон Глёдена*

© Kolonna Publications, 2015
© Ольга Серебряная, 2015

ISBN 978-5-98144-208-7

# Содержание

*Ольга Серебряная.*
Последовательное разрушение души, 5

**ТО, ЧТО РАССКАЗАЛ МНЕ ТОТО**
О Сан-Пьетро и Сан-Паоло, 47
О лилиях Сан-Луиджи, 54
Каприз херувима, 68
О прекрасной Беатриче
и мамаше Сан-Пьетро, 77
О ереси фра Серафико, 90
О том, как иные христиане
любят друг друга, 107

**ТРИ ВЕНЕЦИАНСКИЕ ИСТОРИИ**
Могильник на севере лагуны, 121
О низвержении в канал, 140
Венецианская учтивость, 160

**ВЕНЕЦИАНСКИЕ ПИСЬМА**
1909, 179
1910, 241

*А. Дж. А. Симонс.* В поисках Корво.
Соавтор-сумасброд, 301
Комментарии, 331

# Последовательное разрушение души

Чуть больше ста лет назад в отеле «Кавалетто» в Венеции умер британский подданный Фредерик Роуф* (Frederick Rolfe, 1860–1913). В последнем письме, отправленном им незадолго до смерти Джастесу Стивену Сардженту – человеку, содержавшему его в последний год жизни, Роуф писал: 5

> Последние несколько дней я провел в гондоле, встав на якорь у необитаемого острова Сакка Физола, – не слишком далеко от цивилизации, чтобы всегда можно было добыть пресной воды, но в уединении, достаточном, чтобы тихо умереть в лодке, если дело до этого дойдет. Я был так измотан, и скажу откровенно, что в итоге меня охватила паника. Вот моя дилемма, опишу ее прямо. Если оставаться все время в лагу-

* Я отошла от принятого по-русски написания «Рольф», потому что люди, лично знавшие писателя, оставили свидетельства, что он произносил свою фамилию «Роуф». По той же причине фамилию первого биографа Роуфа я передаю как «Симонс» – он настаивал, чтобы к нему обращались именно так.

не, то лодка может пойти ко дну, я продержусь на плаву несколько часов, после чего меня заживо съедят крабы. Когда вода низкая, отмели буквально ими кишат. Если же встать на якорь у какого-нибудь острова, то приходится все время бодрствовать, потому что как только я перестаю двигаться, меня начинают одолевать стаи водоплавающих крыс. Зимой они
6 такие голодные, что набрасываются на любого неподвижного человека. Я уже испытал это на себе. Меня искусали*.

Далее следует описание приспособления из цепей, которыми он гремел, чтобы отпугнуть крыс (те в итоге привыкли к шуму, забрались в лодку прямо по цепям и перегрызли веревки, с помощью которых он дергал за цепи). Письмо заканчивалось требованием прислать денег. Тем временем автор этого послания жил в удобных апартаментах в отеле, обедал в ресторане и даже принимал у себя гостей – последний из которых, человек по фамилии Уэйд-Браун, и нашел его мертвым.

Британский консул в Венеции Джералд Кэмпбелл разобрал бумаги покойного (а тот в последние 15 лет своей жизни был писателем), пришел в ужас от их содержания (клад для шантажиста!), сложил все в сундук и отправил его адресату процитированного выше письма, священнику Джастесу Сардженту. По-

* Цит. по: *Symons A. J. A.* The Quest For Corvo. Penguin Books, 1986. P. 253–254.

лучив сундук и сопровождавшее его письмо консула, Сарджент пришел в страшное волнение (об этом свидетельствуют воспоминания литературных агентов, с которыми он общался как наследник Роуфа), запер сундук и спрятал его на чердаке. Через полгода Сарджент, до той поры убежденный холостяк, женился (в тот момент ему было 57 лет), а когда десятилетие спустя к нему стали обращаться биографы Роуфа, предпочитал не отвечать на письма.



Часть литературного наследия Фредерика Роуфа, тем не менее, пребывала вне загадочного сундука Сарджента. До отъезда в Венецию он успел опубликовать сборник итальянских сказок в народно-католическом духе «То, что рассказал мне Тото» (1898), а также их расширенный вариант, сборник «По своему образу и подобию» (1901), исторический опыт «Хроники дома Борджиа» (1901), роман «Адриан Седьмой» (1904), переводы из Омара Хайяма (1903) и роман «Дон Тарквинио» (1905), в котором описан один день из жизни молодого дворянина, проведенный в компании Борджиа в 1495 году. Известным литератором барон Корво (именно так подписаны все эти произведения) не был, но у каждого из его текстов был круг почитателей, с годами расширявшийся. Его ценили немногие, но весьма достойные люди.

Но был помимо этих книг еще один текст, который привлекал – уже после смерти авто-

ра – едва ли не большее внимание, чем напечатанные работы. «Венецианские письма» Роуфа распространял лондонский книготорговец и библиофил Кристофер Миллард – распространял осторожно, то есть исключительно среди тех, кто мог понять и оценить их содержание, не поднимая скандала.

Письма из Венеции адресованы Чарльзу Мэссону Фоксу, состоятельному лесопромышленнику из Корнуолла. Их знакомство с Роуфом произошло в июне 1909 года в Венеции; Роуф распознал в Фоксе и путешествовавшем вместе с ним Джеймсе Стюарте Кокертоне гомосексуалов и сумел оказаться им полезным, познакомив с кругом молодых венецианцев, оказывавших сексуальные услуги богатым иностранцам. Труды Роуфа были, очевидно, вознаграждены. Письма, которыми он впоследствии бомбардировал Фокса, фактически представляют собой рекламу прекрасных юношей, которые, тяготясь нищетой, с нетерпением ждут возвращения богатых британцев. Описания морских экскурсий в компании «молодых гондольеров», приятных вечеров, проведенных с ними в ресторане, и сладостных ночей в небольшом отеле на Бурано перемежаются с отчаянными просьбами о деньгах и настойчивыми приглашениями снова посетить Венецию. Впрочем, написаны эти письма блестяще. Очевидно, что сутенером класса люкс пытается работать очень талантливый литератор. «Венецианские письма» были нормаль-

ным образом опубликованы лишь в 1974 году, когда этот текст давно стал классикой подпольной гей-литературы. Джастес Сарджент уничтожил письма, которые написал ему Роуф. И поступил, вероятно, самым разумным образом: Мэссон Фокс, этого не сделавший, стал в итоге жертвой шантажа, который стоил ему деловой репутации, а его приятель Кокертон был вынужден спешно эмигрировать в Австралию, где скромно жил в гостинице и публиковал (анонимно) переводы из Апулея.



Не стоит объяснять, что сам Сарджент оказался наследником Роуфа по той же причине, что Мэссон Фокс – адресатом его настойчивых посланий. Только в отличие от Фокса, Сарджент – в приливе доверчивости – взял на себя финансовые обязательства по отношению к бедствующему литератору: он посылал ему ежемесячное содержание в обмен на литературные права. Роуфу удалось убедить священника, что книга, над которой он работает, окупит все эти расходы.

В Венецию Фредерик Роуф попал в августе 1908 года, за пять лет до смерти. Он прибыл туда в компании Ричарда Докинза – оксфордского профессора, занимавшего кафедру византинистики и современного греческого языка и литературы. Докинз, к тому моменту человек вполне состоятельный, много путешествовал по южной Европе и северной Африке, где занимался полевыми лингвистическими

исследованиями, собирал местный фольклор и удовлетворял свои сексуальные фантазии без боязни стать жертвой общественного скандала. Докинз часто приглашал в путешествия компаньонов, и в 1908 году таким компаньоном стал Роуф.

Они познакомились за два года до поездки в доме других благотворителей Роуфа, семейства Пири-Гордонов. Докинза страшно заинтересовал эксцентричный гость, который мог вести разговор на ученые темы, нести с видом эксперта совершеннейшую чушь, но делать это настолько талантливо и с такой страстью и красноречием, что собеседник совершенно забывал о реальности. Последовала пространная и откровенная переписка, завершившаяся приглашением в поездку. Докинз, сам того не зная, на пять следующих лет подарил венецианцам странного городского персонажа: склонного к чрезмерной роскоши человека без средств, обладавшего природным талантом жить за чужой счет, умевшего элегантно влезать в долги и мужественно переносившего нищету. В течение пяти лет, проведенных в Венеции, Роуф перемещался из хороших отелей в дешевые комнаты, пользовался гостеприимством живших в Венеции британцев, месяцами жил на воде в собственной гондоле, зимовал в местном гребном клубе, членом которого ему удалось стать, попал в больницу с двусторонним воспалением легких, от которого оправился, уже приняв последнее при-

частие. Все это время он писал бесконечные письма огромному количеству людей, подробно отчитываясь о своих мытарствах и требуя – с мольбами, а иногда и с угрозами – прислать ему денег.

Первый, от кого он их получил в Венеции, был, собственно, привезший его туда Докинз. Утомившись излишествами и роскошествами, которые позволял себе Роуф, Докинз после ссоры покинул приятеля, оставив ему денег на обратный билет. Роуф снял на эти деньги апартаменты в отеле на площади Святого Марка.



Жизнь, предшествовавшую этому последнему путешествию в Венецию, можно описать как ведущую в пропасть дурную спираль, диаметр которой с каждым оборотом становился все меньше. Каждая инициатива Роуфа поначалу казалась умеренно успешной, обещала плодотворное развитие, но затем оборачивалась разочарованием, ссорами, гневными письмами, публичными оскорблениями и полным крахом. Закручиваться эта спираль начала с самого детства.

Фредерик Роуф родился 22 июля 1860 года в Лондоне – он был старшим сыном Джеймса Роуфа, владельца компании William Rolf & Sons, производившей рояли. Первый инструмент под этим лейблом был изготовлен в 1784 году, свое существование компания прекратила еще при жизни последнего владельца в 1888 году. Будущий барон Корво наблюдал,

как его отец из производителя роялей превращается в дилера, а затем и вовсе в настройщика и простого органиста. Провал предприятия, судя по всему, был обусловлен не менеджерскими ошибками отца, а общим развитием отрасли: инструменты стали изготовлять промышленным способом, и мелкие мастерские повсеместно переживали банкротство. На момент рождения первенца Джеймс Роуф, однако, еще оставался в бизнесе – его квартира располагалась непосредственно над офисом компании на улице Чипсайд. Там же родились братья и сестры Фредерика Роуфа: Герберт (1862), Перси (1867), Бесс (1868), Альфред (1870) и Нелли (1873). Перси большую часть жизни провел в Китае, Альфред и Бесс в двадцатилетнем возрасте уехали в Австралию, Нелли всю жизнь прожила с матерью. Ближайшим родственником для Роуфа всегда оставался его брат Герберт.



Не сумев передать детям музыкальный бизнес, Джеймс Роуф пытался сохранить в семье хотя бы музыкальный дух. Всех детей он научил играть на рояле и органе и каждому преподал основы композиции. Профессиональным музыкантом никто из них не стал, но Фредерику музыкальные навыки очень помогли на следующем этапе жизни. Бросив школу в пятнадцать лет и проведя неизвестно где полтора года, в 1877 году будущий барон Корво объявился в качестве помощника учителя в лондонской школе на Флит-стрит. В после-

дующие десять лет ему доведется поработать в общей сложности в восьми учебных заведениях, и в каждом директор будет ставить ему в заслугу успешную работу с хором, а ученики вспоминать, что он мог сыграть на рояле кусок из любой оперы (хотя сам больше всего любил творения Гилберта и Салливана) и спеть любую песню, какая только приходила им на ум.



Роуф всегда добивался расположения новых знакомых, рассказывая, что от него отказалась семья. Разговаривая с католиками, он объяснял семейную ссору своим обращением, беседуя с людьми нерелигиозными, говорил, что семья отказалась от неудачника.

В реальности ничего этого не было: на протяжении всей жизни Фредерик состоял в переписке с братом Гербертом, отправлял родителям, братьям и сестрам все свои новые книги, гордо отказывался от денежной помощи, которую предлагали братья, но в то же время жил некоторое время с матерью и сестрой, которая – после смерти Джеймса Роуфа – основала школу для девочек на восточном побережье, в Кенте. Позже родственники Роуфа аккуратно отвечали на запросы биографов и снабжали их документами, свидетельствовавшими в большей мере о положительных качествах покойного сына и брата, чем о его провалах и неприглядных поступках. Собственно, именно так действует любая любящая семья. Единственным, чего не жела-

ли признавать родственники, была гомосексуальность Роуфа. Возможно, именно ее он имел в виду, когда рассказывал новым знакомым о разрыве с семьей. Фредерик Роуф никогда не врал – и в то же время утаивал истину на каждом шагу.

У будущего барона Корво был, однако, родственник (кровно с ним, правда, никак не связанный), чья жизнь может показаться эскизом пути, который судьба предначертала самому Роуфу. Родственника этого звали Уильям Генри Пэттен-Сондерс (1831–1899), он был женат на одной из многочисленных тетушек Роуфа.



К началу шестидесятых Пэттен-Сондерс был известен как чемпион Европы по спортивной ходьбе среди любителей, знаток российской политики, личный друг покойного Николая I и его сына, императора Александра II. Новости из жизни Пэттена-Сондерса чаще всего сообщала спортивная газета Bell's Life in London. В 1862 году она объявила, что в его честь устраивается торжественный обед под председательством лорда Кардигана, начальника легкой кавалерийской бригады, прославившейся в сражении при Балаклаве. Это объявление неожиданно вызвало возмущение другой спортивной газеты, The Sporting Life, утверждавшей, что спортивные достижения капитана Пэттена-Сондерса «столь же таинственны и апокрифичны, что и подвиги знаменитого барона Мюнхгаузена», а объявленный обед –

не более, чем «чудовищный бурлеск». Газета попала, видимо, в точку, потому что больше об этом торжественном событии Bell's Life in London не сообщала.

Как видно теперь из анализа публикаций, Пэттен-Сондерс хорошо понимал два основных принципа работы с общественностью. Первый состоял в том, что много раз повторенная ложь в глазах публики неизбежно становится истиной, а второй – в том, что газетчикам лень писать самим и поэтому они охотно публикуют хорошо составленные пресс-релизы. С 1859 по 1862 год Bell's Life in London регулярно сообщала о Пэттене-Сондерсе, что (а) он выдающийся пловец, (б) блестящий фехтовальщик (соперник покойного графа Орлова), (в) охотник на медведей и кабанов, (г) непревзойденный матадор, яхтсмен, политический теоретик и статистик:



> К двадцати девяти годам он был автором не менее чем 22 опубликованных работ, в том числе монографий «Будущая Византия» (настолько острой, что она была конфискована турецкими властями), «Грядущее индийское восстание» (предсказавшей восстание сипаев, последовавшее через несколько недель после выхода монографии), а также поэмы «Жемчужина короны» (широко известной под именем «русской Лалла-Рук»)*.

* Цит. по: *Scoble R.* Raven. The Turbulent World of Baron Corvo. Strange Attractor Press, 2013. P. 31.

Своих дочерей Пэттен-Сондерс называл Ольгой и Марией Николаевной, однако вскоре оставил их на попечении матери, ушел к другой и больше никогда не появлялся в кругу семьи. Сведения о его подвигах – в сопровождении фотографий, сделанных в мастерской Джорджа Ньюболда, – продолжали появляться в прессе. The Birmingham Daily Post объявила
16 5 декабря 1862 года о поразительном естественнонаучном открытии капитана:

> Мы имели удовольствие осмотреть двух щенят, появившихся на свет от скрещения мастиффа и львицы. Вопрос о том, можно ли скрестить кошачьих и псовых, теперь окончательно разрешен. Упомянутые щенки находятся в собственности капитана Пэттена-Сондерса и произведены на свет ручной львицей, которую он много лет назад привез из России. Один из них, самец, сильно похож на мать – мастью, строением конечностей и когтями. Действия его весьма сильно напоминают те, что присущи царю зверей, а вой, который он издает по ночам, заставит всех, кому случалось бывать в Африке, живо припомнить пустыню, бивуачный костер и внезапное нападение хищников*.

В 1864 году Пэттен-Сондерс выпустил 900-страничный роман «Черное и золотое, или Дон! Дон!» с подзаголовком «Повесть о черкесской

---

* Op. cit. P. 36–37.

войне». Главный герой, граф Михаил Донец, совершает многочисленные подвиги, периодически рассуждая о медвежьей охоте, полезных свойствах пещер, особенностях китайцев, истории Крыма. Критики роман не хвалили, однако читательский успех он имел, поскольку через год вышел вторым изданием. Газеты же продолжали сообщать об изумительных приключениях капитана Пэттена-Сондерса вплоть до самой его смерти: он-де переплывал на спор Ла-Манш, выигрывал тендер на устройство телеграфной связи с Америкой, выполнял поручения принца Уэльского, в октябре 1870 года незаметно просачивался несколько раз сквозь прусскую блокаду в непокоренный Париж и до конца дней своих организовывал гольф-клубы, избирая их членам великого князя Константина на пару с императором Бразилии.



Все это не имело бы никакого отношения к Роуфу, если бы самый близкий ему брат Герберт не был женат на дочери Пэттена-Сондерса Ольге и если бы в «Хронике дома Борджиа» не упоминалась обнаруженная в ренессансных документах рекомендация по выведению охотничьих собак путем скрещения мастиффа с львицей. О том, насколько неудачливым учеником Пэттена-Сондерса барон Корво оказался по части связей с общественностью, речь пойдет ниже.

Что заставило пятнадцатилетнего Фредерика Роуфа бросить школу, мы уже, вероятно, нико-

гда не узнаем – равно как и причину, по которой он то и дело бросал преподавать в учебных заведениях, несмотря на положительные отзывы руководителей и любовь учеников. В первой школе на Флит-стрит он проработал два с половиной года, во второй, находившейся в Эссексе, – полтора. В следующей школе, в Винчестере, он задержался на два семестра и дольше впоследствии почти нигде не оставался. В 1883–1884 годах учеником Роуфа в частной школе в Бэлшам Мэнор недалеко от Кембриджа был будущий голливудский актер Лоуренс Грант (1870–1952), который – по прочтении в 1934 году первой биографии Роуфа – удивлялся сделанному через столько лет открытию:



> Никогда ни в мыслях, ни сном ни духом я не подозревал, что с ним что-то не так. О том, что он был гомосексуалом, я услышал, лишь когда мне был двадцать один год и я давно потерял с ним всякую связь. Впрочем, о том, что такая вещь, как гомосексуализм, вообще существует, я узнал лет в семнадцать или восемнадцать – исключительно благодаря аресту Оскара Уайльда. Хотя я был крепким, стройным и довольно симпатичным мальчиком и даже позировал для его картины «Эрос», я ни разу не ощутил того, о чем, как я говорю, еще многие годы не имел ни малейшего понятия. Я просто не могу этого объяснить*.

* Op. cit. P. 99.

Можно только гадать, придерживались ли того же мнения и все остальные ученики Роуфа, а также строить гипотезы, объясняющие его частые миграции из школы в школу: никакими фактами на этот счет биографы все равно не располагают. Доподлинно известно одно – 3 января 1886 года Фредерик Роуф переходит в католичество, работает в течение года гувернером в двух разных семьях и в октябре 1887 года поступает в семинарию в Оскотте близ Бирмингема, где готовится стать священником и одновременно преподает в находившейся при семинарии школе для мальчиков. Что побудило его к такому решению, не известно. Хотя ничего особенно загадочного в этом нет – мотивы, по мнению первого биографа Роуфа А. Дж. А. Симонса, легко реконструируются:



> Почему он решил стать католиком, мне понятно. Привлекательность католической церкви для человека художественных пристрастий исследовалась во многих романах и давно стала одним из твердо установленных психологией фактов. Среди непосредственных современников Роуфа тем же путем пошли Франсис Томпсон, Обри Бердслей, Эрнест Доусон и Лайонел Джонсон – причем путь этот был проложен еще Жорисом Карлом Гюисмансом. Роуф перешел в католицизм в возрасте двадцати шести лет и вскоре после этого задумался о священническом поприще. Этот шаг, конечно, чуть бо-

лее необычен, чем обращение; но, тем не менее, нет ничего удивительного в том, что человек, которого природа обделила страстью к женщинам, выказывает желание принять целибат*.

Открывшиеся с тех пор факты лишь подтвердили точность этой реконструкции. В семинарии Роуфа охватила новая страсть: если
20 раньше он по привычке занимался музыкой и опубликовал несколько стихотворений – столь же бледных в художественном смысле, сколь и возвышенных, то теперь он серьезно увлекся живописью. Соученик Роуфа, занимавший в двадцатые годы должность ректора семинарии в Оскотте, сообщил биографу, что свой единственный семинарский год Роуф посвятил созданию полотна «Погребение святого Уильяма Норвичского», на котором тело преставившегося несли 149 человек, у каждого из которых было лицо Роуфа. Самого святого художник – видимо, убоявшись гнева господня – наградил только своим носом.

По воспоминаниям других семинаристов, Роуф держал в своей комнате чучело ворона, предвосхищая свой будущий псевдоним (corvo по-итальянски – ворон), помечал все свои бумаги печатью с изображением этой птицы, охотно гадал по руке, много курил, хвастался модными пенковыми трубками и намекал на оборванное неудачными обстоятельства-

---

* *Symons A. J. A.* The Quest for Corvo. P. 66.

ми обучение в Оксфорде, о чем должен был свидетельствовать безупречный оксфордский акцент. Фигура свободного художника складывается у всех вспоминающих о Роуфе того периода; в Оскотте же произошло и знакомство, косвенно подтверждающее соображение Симонса о целибате и позволяющее предположить, что предыдущие педагогические метания Роуфа тоже имели любовную природу.



Студенты в Оскотте делились на мальчиков 13–18 лет, изучавших гуманитарные науки, и юношей старше 18-ти, числившихся на отделении философии. Среди последних были два брата-американца – сыновья нью-йоркского кофейного магната Юджина О'Салливана Винсент и Перси. Старший, Винсент (1868–1940), станет впоследствии известным в узких кругах литератором, приятелем Оскара Уайльда, Леонарда Смитерса, Обри Бердслея и других знаменитостей конца века. Если он и оставил в жизни Фредерика Роуфа какой-то след, то исключительно орфографический:

> Мне кажется, именно я, несмотря на молодость, заразил его пристрастием к *-k* в словах, оканчивающихся на *-ic* и написанием shew вместо более привычного show – он придерживался этих орфографических принципов до конца своих дней. Он был уже сформировавшимся человеком, а я всего лишь школьником; о многих вещах я знал гораздо меньше,

чем он; однако по крайней мере читал я больше и, соответственно, мог снабжать его списками устаревших слов и орфографических норм, знакомство с которыми заставляло его прыгать от восторга*.

Младший О'Салливан, Перси, был с Роуфом в отношениях более близких. После закрытия школы при Оскоттской семинарии в 1889 году он вернется в Нью-Йорк, где в конце концов доведет до разорения кофейную империю отца. Это, впрочем, случится лишь в 1909 году, а в начале 1890-х Перси О'Салливан состоял в переписке с Роуфом и периодически оказывал ему финансовую помощь. О содержании писем ничего не известно – известно лишь, что в 1904 году Роуф вывел своего любимого ученика в романе «Адриан Седьмой».



Главный герой книги, Джордж Артур Роуз, католик, которого церковь не допустила до священнического поприща (фигура, естественно, автобиографическая), становится благодаря фантастическому стечению обстоятельств папой. После избрания он возводит в ранг кардиналов пятерых священников, помогавших ему в трудные годы, а в качестве шестого кардинала призывает молодого американца Перси ван Кристена – его папа римский помнит еще по семинарии: «Восемнадцать лет назад он был наделен лицом самой

* *Scoble R.* Raven. The Turbulent World of Baron Corvo. P. 150.

тонкой красоты, самой тонкой красоты душой и самым противным из всех возможных голосом». Молодой американец прибывает в Ватикан по приказу папы:

> Перси ван Кристена сразу же провели в тайную комнату. Хотя ему было чуть больше тридцати, выглядел он нисколько не моложе Адриана. Его смуглая кожа утратила былую свежесть, однако прекрасные глаза блестели по-прежнему, а голова осталась все такой же иссиня-черной. Он выглядел уставшим, однако вполне здоровым; одет же был безупречно… Ван Кристен реагировал осторожно, но явного нежелания не проявлял. Наводящие вопросы показали, что он принадлежал к тому достойному жалости классу, для которого боги приуготовили все, кроме настоящего поприща. По праву первородства он получил три четверти миллиона стерлингов. Заниматься коммерцией не было никакой необходимости… Он вел жизнь человека модного, ценил изысканность и простоту. Вероятно, довольно много читал; большую часть своего времени он посвящал, конечно же, дому – однако это держалось в секрете. Адриан искусно выудил из него нужные сведения: ван Кирстен основал дом для ста мальчиков, в котором из них делали инженеров-электриков и помогали начать свое дело. Прекрасные его глаза сияли, когда он рассказывал об этом… Нет, он никогда не думал о женитьбе и не собирался

заводить семью. Ему, кажется, не слишком это подходит*.

На протяжении всего романа Перси ван Кирстен описывается в исключительно эротических терминах: то и дело упоминаются «влажные темные глаза», «длинные ресницы», «бледное молодое лицо», «идеальное телосложение» и «тонкая смуглая рука». Любовь папы, в общем, не остается безответной: «Ван Кирстен был весьма и весьма опечален. Его огромные меланхоличные глаза заволокла пелена сострадания, и Адриан заметил, что губы его задержались чуть дольше обычного на холодной руке понтифика»†.



Все это, впрочем, писалось – в порядке воображаемого отмщения за пережитые несправедливости – сильно после. Во-первых, после изгнания Роуфа из семинарии в Оскотте, официальной причиной которого явилось «отсутствие священнического призвания». За обучение Роуфа в семинарии платил епископ Шрусбери. Изучив отзывы за год, он прекратил дальнейшее финансирование новообращенного. О решении своего благодетеля Роуф узнал, находясь в гостях у шотландского католического семейства Огилви-Форбс, членам которого удалось не только убедить Фредерика, что пути к священническому поприщу этим

* *Fr. Rolfe.* Hadrian the Seventh. Chatto & Windus, 1904. P. 153–154.

† Op. cit. P. 396.

отказом не отрезаны, но и добиться для него назначения в католический колледж в Риме, куда он и отправился в декабре 1889 года.

Во-вторых, «Адриан Седьмой» писался после изгнания Роуфа уже и из этого римского учреждения. В качестве причины опять указывалось отсутствие прилежания и священнического призвания, а главным последствием этого изгнания стало обращение Роуфа в литератора. Отныне все пережитое ранее, от реальных обид и неудач до неисполненных желаний, переносилось в пространство фикции, причем временно́е расстояние между реальной обидой и литературным отмщением с годами становилось все короче. Если «Адриан Седьмой» преображал в литературу события пятилетней давности, то проза, которую Роуф сочинял в последние пять лет своей жизни в Венеции, была уже серией моментальных снимков только что пережитого – снимков, сделанных сквозь искаженную обидой и злобой линзу.



Впрочем, начиналась писательская карьера Роуфа вполне лучезарно. Еще будучи студентом Шотландского католического колледжа в Риме, он познакомился с герцогиней Сфорца Чезарини. Знакомство состоялось при посредстве еще одного оскоттского воспитанника Роуфа, Марио Сфорца Чезарини. По крови герцогиня была англичанкой – итальянский титул и поместья достались ей от мужа, к мо-

менту ее знакомства с Роуфом уже покойного. Герцогиня (ей было около семидесяти) и тридцатилетний будущий священник понравились друг другу, и когда Роуфа изгнали из католического колледжа, он провел у нее в гостях больше полугода. Именно в ее загородном поместье в Гензано на берегу озера Неми в тридцати километрах к югу от Рима

происходит действие книги «То, что рассказал мне Тото». Автор этих историй, молодой обеспеченный господин, занимающийся на досуге живописью и фотографией, беседует с юным слугой, сопровождающим его в походах по окрестностям и ассистирующим при фотографировании. Мягкий юмор этого человека, готового часами слушать поэтическую дребедень собственного слуги и затем превращать ее в изящные литературные безделицы, имеет мало общего с неистовым злословием автора «Венецианских писем».

Редакторам The Yellow Book Джону Лейну и Генри Харланду изящные истории тоже пришлись по душе, и сказки сначала печатаются в альманахе, а в 1898 году выходят отдельной книгой за авторством барона Корво. Сам Роуф утверждал, что этим титулом его наделила герцогиня Сфорца Чезарини. Кроме того, он сообщал знакомым, что она сделала его своим внуком и взяла на полное содержание. Книга «То, что рассказал мне Тото» и ее второе, дополненное издание «По своему образу и подобию», имела успех у критики, но денег

благородному автору не принесла. Эпизод же с баронством закончился для Роуфа крайне плачевно задолго до того, как титул успел принести ему литературные дивиденды. Виной всему была попытка приобрести недвижимость, не имея на нее денег.

В конце XIX века городок Крайстчерч на южном побережье Англии еще не превратился в придаток модного курорта Борнмут; там было относительно безлюдно, в связи с чем селиться в нем предпочитали люди художественного склада. Колонию возглавлял арт-критик Джозеф Глисон Уайт, открывший в Крайстчерче канцелярский магазин и библиотеку с платной выдачей книг на дом. Роуф, который в этот период подавал себя исключительно как художника, завел полезное знакомство с искусствоведом еще до своего отъезда в Рим в 1889 году. Вернувшись из Италии не священником, как ожидалось, но бароном, Корво в 1891 году обосновался в Крайстчерче, перезнакомился со всем кругом Глисона Уайта, написал фреску в местном католическом соборе, снял мастерскую и начал производить картины духовного содержания. Новые кисти и краски он носил на благословление священнику, своим эстетическим идеалом провозглашал византийскую икону, однако использовавшиеся им художественные методы вряд ли можно было назвать каноническими: он фотографировал моделей, затем проецировал

слайд на полотно, обводил фигуру, раскрашивал ее вручную, после чего украшал готовое изображение шитьем и блестками. Столетием позже подобные приемы будут проходить по разряду современного искусства с заранее придуманным кураторским нарративом – тогда барону Корво приходилось самому обосновывать свои художественные странности,

и это у него отлично получалось. По воспоминаниям его тогдашнего друга адвоката Чарльза Кайнса Джексона, светские способности барона Корво превосходили все остальные его таланты; местное просвещенное общество его обожало, он был в центре всех событий, в истинности его рассказов об итальянской герцогине никто не сомневался и с уплатой долгов никто не торопил. Все шло гладко, пока Роуф не объявил, что готов купить помещения, в которых располагались магазин и библиотека Глисона Уайта.

Агентом арт-критика стал Кайнс Джексон, интересы барона представлял молодой адвокат Джон Уитерс. Узнав о его существовании от Кайнса Джексона, Роуф отправил телеграмму: «Немедленно выезжайте в Крайстчерч, Гэмпшир, для заключения важной сделки по передаче собственности. На станции вас встретит ландо, запряженное белой лошадью. Барон Корво». На станции Джон Уитерс, рассчитывавший обрести важного клиента, обнаружил, что под ландо с белой лошадью подразумевалась вокзальная пролетка с впря-

женной в нее серой блохастой клячей. Детали сделки оказались еще более печальными: довольно быстро выяснилось, что на предполагаемую покупку у Роуфа просто не было денег. И не только на покупку – денег у него не было вообще. Ни Глисон Уайт, ни Кайнс Джексон так и не поняли, на что тот рассчитывал: то ли на доброту искусствоведа, который за бесплатно отдал бы недвижимость начинающему художнику, то ли на щедрость герцогини, которая помогла бы своему приемному внуку окончательно обосноваться на южном побережье Англии. Как бы то ни было, Роуф добился совсем не того, на что рассчитывал. Местное общество, вняв предупреждениям Кайнса Джексона, от него отвернулось, герцогиня прекратила присылать ежемесячное содержание, а кредиторы стали проявлять назойливость. В начале 1892 года Роуф тихо исчез из Гэмпшира, оставив после себя неоплаченные долги, студию с освященными кистями и красками и серию фотографий: юный сын Глисона Уайта Эрик в парике и тунике с лампой, Эрик Уайт в образе Мадонны, Эрик с матерью и сестрой на пляже, Эрик с сестрой в саду, неизвестный юноша на берегу моря, двоюродный брат и любовник Кайнса Джексона Сесил Касл, позирующий в студии*. В смысле связей с общественностью эта



* В 2010 году эти снимки, находящиеся в частной коллекции, опубликовал собиратель его произведений Каллум Джеймс (The Christchurch Album by Frederick Rolfe, Callum James Books, 2010).

история не принесла Роуфу ничего хорошего: на протяжении двух следующих десятилетий Кайнс Джексон будет считать своим долгом предостеречь каждого, кому случалось упоминать в его присутствии Роуфа. Однако по сравнению с тем, что ждало барона Корво в Абердине, куда он переселился из Гэмпшира, неудавшуюся сделку в Крайстчерче следует признать мелкой неприятностью.



В Шотландию Роуфа привело старое знакомство: католическое семейство Огилви-Форбс, принимавшее в нем участие со времен его обращения, вновь оказало гостеприимство и затем приискало барону работу. Он стал домашним учителем в семействе Хэй, где двое мальчиков-сирот, Катберт и Малколм, будущий знаменитый шифровальщик времен Первой мировой войны, находились под опекой семидесятилетней тети. Георгина Хэй попросила найти для них воспитателя, «молодого католика и человека строжайшей морали»* – и получила Роуфа. Мальчики были от него без ума: он учил их курить сигары, вырезал для них изображения на стволах старых деревьев, устраивал пикники и сеансы фотосъемок, в ходе которых соседские мальчишки позировали в набедренных повязках, изображая святых. Счастливое лето подошло к концу, Малколм и Катберт отправились обратно в школу, а их строгая тетка

* *Benkovitz M. J.* Frederick Rolf: Baron Corvo. Hamish Hamilton, 1977. P. 60.

рассчитала Роуфа, дав ему понять, что в дальнейшем никаких дел иметь с ним не желает. Что послужило причиной такой резкости, никто не знает, однако через шесть лет абердинская газета The Daily Free Press сообщала:

> Через несколько месяцев после отъезда из имения барон Корво появился там вновь. Никто не видел, как он входил, однако когда он захотел выйти через какую-то другую калитку, обнаружилось, что она заперта. «Откройте!» – крикнул он сидевшей в сторожке старухе. Та выглянула наружу, спросила, кто он такой и, выслушав ответ, сухо заметила: «Что ж, выпустить вас я, вероятно, могу, хотя впускать вас мне строго-настрого запретили»*.



Собственно, именно из этой разоблачительной публикации – трех статей, вышедших 8, 12 и 26 ноября 1898 года – первые биографы и черпали сведения о жизни барона Корво в промежутке между его возвращением из Италии в ноябре 1890 года и переездом в Лондон в 1899 году. Подробности оказались примерно такими:

> В начале ноября 1892 года г-н Роуф обратился к владельцу фотографической конторы G. W. Wilson and Co. с просьбой о работе. Деньги его не интересовали – он желал лишь усовер-

* *Symons A. J. A.* The Quest for Corvo. P. 46.

шенствовать свои фотографические умения. Роуфу ответили, что обучением не занимаются, однако он проявил крайнюю настойчивость и в конце концов добился того, что ему предложили место рассыльного за 12 шиллингов 6 пенсов в неделю. Роуф продержался в конторе полных три месяца. Обращаться с поручениями к нему было бесполезно: он приходил и уходил, когда считал нужным, занимался только тем, что казалось ему интересным, а в промежутках рассказывал сотрудникам чудовищные небылицы об английских и заграничных владениях своего отца – к этому времени он снова начал пользоваться баронским титулом. <…> В какой-то момент фирме Его превосходительство надоело, и ему сообщили об увольнении. Однако избавиться от барона оказалось не так просто. Ему говорили, чтобы он больше не приходил, однако на следующее утро он как ни в чем не бывало опять был на работе. Ему отправили формальное уведомление на домашний адрес, однако на это уведомление тут же пришел такой ответ: «Дорогой сэр, поразительно, но ваше письмо доставили как раз в тот момент, когда я собирался сообщить вам о намерении, о котором раздумываю уже несколько месяцев, а именно: нельзя ли было бы вложить в ваше предприятие небольшую сумму, скажем, тысячу фунтов, с тем, чтобы обеспечить мне постоянное место, соответствующее моим способностям. Сейчас это предложение звучит, вероятно, не-

своевременно, но я решил, что лучше будет упомянуть о нем»*.

В трехчастной обвинительной статье таких подробностей много. От душераздирающего описания выселения Роуфа из пансиона по причине длительной неуплаты (он забрался в кровать и не хотел из нее вылезать, а когда его потащили силой, он, пока не оказался на улице в одной пижаме, хватался – последовательно – за спинку кровати, косяки в комнате, перила на лестнице и ручку входной двери) анонимный автор переходит к цитированию писем Роуфа местным священникам, состоятельным католикам и знати, в которых тот предлагает самые фантастические услуги, рассказывает об изобретении новых приемов подводной фотосъемки или просто просит о вспомоществовании. Разоблачительная публикация заканчивается 1894 годом, когда Роуф навсегда уехал из Абердина.



Поводом для написания этой статьи, навсегда исключившей Роуфа из круга людей с доброй репутацией, стала публикация его рассказа «Как меня похоронили заживо» в журнале Wide World Magazine. Девиз издания, в первом же номере которого были напечатаны записки мистификатора Луи де Ружимона, рассказывавшего о многих годах, якобы проведенных им среди австралийских дика-

* Op. cit. P. 47.

рей, гласил: «Истина – вещь куда более странная, чем вымысел». Анонимный автор заметок о Роуфе привел в подтверждение этой сентенции очень убедительный пример.

Разгромная статья застала Роуфа в Уэльсе, где тот жил уже четвертый год под именем Фр. Остин (не то Фредерик, не то Святой отец), ссорясь с домовладельцами и держателями пансионов, заводя новых друзей и по мере накопления долгов расставаясь с ними. Весь 1896 год он расписывал знамена для католических процессий в городке Хоулиуэлл, и когда обнаружил, что плоды его трудов пользуются большим успехом, потребовал за них – в дополнению к полному содержанию и квартире, которыми пользовался в процессе работы, – фантастическую сумму в тысячу фунтов.



Эта тысяча фунтов до конца дней будет оставаться для Роуфа символом финансового благополучия: начиная с 1896 года в любой непонятной ситуации он будет пускаться в рассуждения о необходимости тысячи фунтов. Когда он ее, наконец, обретет благодаря доверчивости Джастеса Сарджента, жить ему останется всего несколько месяцев.

Новый виток жизненная спираль Роуфа начала в сентябре 1898 года, когда издатель Джон Лейн выпустил в Лондоне сборник рассказов «То, что рассказал мне Тото». Их автор, барон Корво, разуверившийся к этому моменту в возможности прожить художническим

трудом, решил полностью посвятить себя литературе. Через два месяца его литературный псевдоним уничтожит абердинская газета, а еще через два месяца лишенный всяких средств к существованию Роуф зарегистрируется в работном доме Холиуэлла. На то, чтобы обдумать план спасения, у будущего автора «Адриана Седьмого» ушел месяц. В 1899 году Роуф начинает новую жизнь в Лондоне. Дальше наиболее стабильной единицей его биографии становится упомянутая тысяча.



Летом 1899 года Роуф познакомился с молодым издателем Грантом Ричардсом и взялся выполнить его дешевый заказ на историческое исследование о роде Борджиа. За семь месяцев он создал своего рода апологию незаслуженно оклеветанных, по его мнению, членов этого почтенного семейства. Книга вышла в 1901 году, пришлась по душе многим антикварам, но никакого ощутимого успеха не имела. В процессе работы, однако, Роуф увлекся составлением родового древа Борджиа (диаграмма, склеенная из многих листов толстой бумаги, полностью покрывала пол в его комнате). Напечатать этот гигантский лист и вклеить его в книгу Грант Ричардс оказался не в состоянии, поэтому уже после выхода «Хроник дома Борджиа» Роуф стал предпринимать настойчивые попытки продать свое древо всем научным организациям, которые только мог найти, включая Британский музей, в стенах которого он работал над своим сочинением. За сви-

ток с фамильным древом, частично иллюминированный им в приступах художнического вдохновения, он требовал все ту же нереальную по тем временам сумму в тысячу фунтов.

В 1903 году Роуф ради подработки поступил в литературные рабы к ветерану англо-бурской войны полковнику Оуэну Томасу. Связно изложив взгляды полковника на развитие сельского хозяйства в Южной Африке и получив причитавшийся ему за это гонорар, Роуф уже после выхода книги потребовал у Томаса ту же тысячу, начал тяжбу, которую проиграл, добавив к своим долгам покрытие издержек по процессу.



Неизменная и недостижимая тысяча постоянно фигурирует в письмах Роуфа самым разным адресатам, а в посланиях Чарльзу Мэссону Фоксу из Венеции становится основным действующим лицом – наряду с мальчиками-гондольерами и бесчестными стряпчими из конторы «Барнард и Тейлор».

«Бесчестные стряпчие» появились в жизни Роуфа как раз в связи с делом полковника Томаса. Оскорбленный полученными за работу пятьюдесятью фунтами, Роуф решил судиться с полковником и отправился искать адвоката, прихватив с собой рукописи неоконченных книг и свиток с генеалогическим древом Борджиа. В лице Чертона Тейлора он нашел не только человека, готового заниматься судебным процессом в надежде на гонорар из заколдован-

ной роуфовской тысячи, но и делового партнера, обязавшегося выплачивать бедствующему писателю ежемесячное содержание под залог его неоконченных и еще не начатых книг. Договор был подписан 6 августа 1904 года, и с этого дня начинается единственный относительно благополучный период в жизни Роуфа-литератора. Один за другим выходят в свет два его романа. Обещанных Тейлору сверхдоходов они не приносят, однако рецензии собирают положительные. В 1905 году горячий поклонник «Адриана Седьмого» Роберт Хью Бенсон заводит с Роуфом тесную дружбу, которая быстро переходит в работу над совместной книгой. Чуть позже старый друг Роуфа доктор Эрнст Харди, бывший директор школы Грэнтэм в Линкольншире, где Роуф работал в 1884–1886 годах, приглашает его в Оксфорд, предлагает жилье и оплачиваемую секретарскую работу. Роуф живет в колледже Иисуса, читает для Харди студенческие экзаменационные работы, совершенствуется в латыни и едва ли не в каждом письме возмущается пристрастием студентов к разорванным инфинитивам. Оксфорд ему нравится:



> Я называю его городом вечной юности. Все, что не жизнь, здесь серое и древнее; непритязательные колледжи, сады и солнечная река. И повсюду музыка, попеременное пение хоров, простые песни. Знаешь ли ты особый голос, который я называю девственным басом?

Звучный, но сдержанный бас двадцатилетнего мальчика, который не сегодня-завтра лишится невинности?*

В Оксфорде не только много поют, но и много читают. Летом 1906 года Роуфу наносит визит один такой страстный читатель, аспирант колледжа Магдалены Гарри Пири-Гордон. Его любимой книгой была «Хроника дома Борджиа». Двадцатитрехлетний Пири-Гордон принадлежал к богатой уэльской фамилии, роскошно одевался, больше всего на свете интересовался XV веком, только что вернулся из путешествия по Италии, Испании и Северной Африке и, более того, планировал создать светский полумонашеский орден любителей мудрости, члены которого посредством совместных занятий способствовали бы – бескорыстно и беспристрастно – продвижению наук и утверждению человечности. Дружбе не исполнилось и месяца, как Пири-Гордон увез Роуфа в Уэльс – гостить в его родовом поместье.



Везение не оставило Роуфа и там: его искренне полюбили в семействе, его делами живо интересовались, он вызывал восхищение гостей, и даже коты, стоило ему их позвать, мгновенно оставляли все свои занятия, чтобы потереться о его ноги. Устав Ордена Святейшей Софии был написан, Роуф придумал всю атрибутику, от знамен до почтовой бумаги,

---

* Op. cit. P. 192.

а Пири-Гордон нарисовал эскиз полумонашеских одеяний. Оставалось приобрести остров, на котором могла бы расположиться колония бескорыстных ученых. Пока он подыскивался, Пири-Гордон познакомил Роуфа с зачинами нескольких брошенных им романов. Среди них были «Артур Юбера» и «Судьба скитальца», над окончанием которых Роуф ожесточенно трудился в последние годы своей жизни в Венеции.



«Артур Юбера» представляет собой альтернативную историю жизни Артура I (1187–1203), герцога Бретани из династии Плантагенетов. В реальной жизни Артура взял в плен его брат Иоанн Безземельный и заключил в замке Фалез под надзором Юбера де Бурга, одного из самых влиятельных баронов. Де Бург получил приказ ослепить и кастрировать Артура, однако не выполнил его. Впоследствии Артура перевезли в Руан, где в конце концов и убили. В романе Корво-Пири-Гордона состарившийся де Бург, напротив, рассказывает, как бежал с Артуром из замка, участвовал в Крестовом походе, вернулся в Англию, где в одном сражении им удалось убить Иоанна Безземельного и его сына Генри (короля Генриха III). Артур стал королем Англии и умер в преклонном возрасте, довольный результатами своего правления.

Второй роман, задуманный Пири-Гордоном и дописанный Роуфом, тоже представляет собой историческую фантазию, о чем сви-

детельствует и его полное название: «Судьбы скитальца: Папирус с хроникой некоторых событий, имевших место в одной из прежних жизней г-на Николаса Краббе, воспроизведенный Просперо и Калибаном». Николас Краббе путешествует во времени, чтобы обнаружить, что Одиссей – это он сам. В этих двух книгах Роуф в гораздо меньшей степени, чем в собственных романах, идентифицируется с главными героями, хотя порой и ставит их в ситуации из собственной жизни.



За летом, проведенном в Уэльсе, последовал еще один учебный год в Оксфорде, а за ним – возвращение к Пири-Гордонам. Хозяева путешествовали за границей, и Роуф, принятый в их имении как постоянный гость, мог работать в свое удовольствие. Мать Гарри Пири-Гордона прислала ему в качестве рождественского подарка египетский крест, анх, с изображением луны и краба (которые Роуф считал своими символами), а Чертон Тейлор, еще не проигравший суд по делу полковника Томаса (он бесконечно откладывался в связи с длительными деловыми поездками ответчика), согласился выплатить Роуфу еще сто фунтов в счет будущих доходов и под залог страховки на случай смерти. Единственной неприятностью была мысль о том, что бесконечных идиллий не бывает.

Конец этой положил суд. В январе 1907 года он вынес приговор в пользу полковника Томаса, лишив Роуфа надежд на финансовое

благополучие. В сентябре того же года Роуф познакомился с профессором Ричардом Докинзом, который – еще через год – увезет его навсегда в Венецию. Нищенствующему Роуфу гостеприимство Пири-Гордонов быстро встало поперек горла. Он впал в истерику, последствия которой не заставили себя ждать. Роуф вступает в ожесточенные препирательства с Хью Бенсоном по поводу авторства их совместного романа, лишается какой-либо поддержки от уставшего уже Тейлора и вскоре узнает от Пири-Гордонов, что дом в Уэльсе на время их зимних путешествий по теплым странам предполагается полностью закрыть.



Ничего не оставалось, как уезжать в Венецию. За пять лет, которые Роуф там проведет, Хью Бенсон превратится в его воображении в клеветника, искренний и бескорыстный Пири-Гордон – в сообщника злодеев из «Барнард и Тейлор», а последние – в заговорщиков, решивших уморить своего клиента голодом, чтобы получить сумму, на которую была застрахована его жизнь.

Остается добавить, что когда в самом конце 1910 года последний благодетель Роуфа Джастес Саржент обратился к Чертону Тейлору с предложением уступить ему права на сочинения Роуфа, Тейлор охотно продал их за 53 фунта 10 шиллингов – на возврат выплаченных Роуфу сотен он уже не надеялся. Общение же с ним, пусть даже эпистолярное, было, по сло-

вам одного из знакомых Роуфа, «серией экспериментов по демонологии»*.

Первый биограф Роуфа А. Дж. А. Симонс так описал свои впечатления от прочтения «Венецианских писем»: «Передо мной был невольный отчет о последовательном разрушении души». То же можно сказать и о жизни автора этих писем: смерть в Венеции в 1913 году была финалом катастрофического существования, разрушавшего с течением времени проявившиеся в ранних текстах Роуфа свободу фантазии, легкость фразы и причудливый, но мягкий юмор. С годами поэзия переродилась в его текстах в изощренную механику поношений и ругани, что в полной мере отразилось в последнем романе Роуфа «Жажда и поиск целого». Автобиографический текст о жизни в Венеции, где выведены все встреченные им на протяжении нескольких лет люди, испортил ему отношения с местным английским обществом, лишил крова над головой и создал репутацию клеветника. Этот шедевр невероятной наблюдательности и злоязычия побудил Уистана Одена назвать Роуфа «величайшим мастером хулы в английском языке». Чистое искусство, как ему и полагалось в 1913 году, восторжествовало над моралью, природой и обществом. Вероятно, это была его последняя в истории победа.



* Op. cit. P. 31.

В двадцатые годы фигура Роуфа стала культовой для поколения, пережившего Первую мировую войну. Неудачник, потерпевший полный крах раньше, чем это стало всеобщей долей, но сумевший взять над ним реванш, убежав от жизни в свободную стихию романа и претворив безнадежность реального положения в энергичный поток ругани, вызывал у людей XX века нечто вроде ностальгии. На фоне монотонно клацающей челюстями истории этот затейливый опыт бодро огрызающегося пораженчества с каждым годом кажется все более завидным и недосягаемым.



*Ольга Серебряная*

Переводчик приносит благодарность Владимиру Лукьянчуку за помощь с венецианской историей и топографией и ценные редакторские замечания.

# ТО, ЧТО РАССКАЗАЛ МНЕ ТОТО

## О Сан-Пьетро и Сан-Паоло

Давным-давно, сэр, жители Рима решили построить две церкви – одну в честь Сан-Пьетро на Монте Ватикано, а другую – в честь Сан-Паоло за городскими стенами. И святые, бывало, все свободное время сидели на одном из райских балконов и смотрели за работой строителей; потому что каждый очень беспокоился за свою церковь. Сан-Пьетро хотелось, чтобы его церковь закончили раньше, чем церковь Сан-Паоло, так что каждый вечер, как только стемнеет, он оставлял ключи от рая на крыльце и просил своего брата, Сан-Андреа, присмотреть за вратами, пока он отойдет за угол на минуту-другую. А сам спускался в церковь Сан-Паоло и разбирал все, что строители положили за день; если же были какие-нибудь резные украшения или колонны или что-нибудь такое, что ему нравилось, он забирал их к себе в церковь, а дыры на их месте заделывал так искусно, что никто ничего не замечал. Так что у строителей церкви Сан-Пьетро дело шло споро, а у строителей церкви Сан-Паоло вовсе не двигалось.

Так продолжалось довольно долго, и на душе у Сан-Паоло день ото дня становилось все неспокойнее, и есть ему не хотелось, и ничего его не радовало. Санта-Чечилия хотела развлечь его своими новыми песнями, но он только разозлился, потому что сказал же, что жена да учится в безмолвии, со всякою покорностью[1].

48 Как-то раз, наблюдая с балкона за строительством, он увидел, как в его церковь вносят две желтые колонны самого редкого и ценного дерева, присланные из далекой страны, названия которой я не знаю. Сан-Паоло был так восхищен, что спустился к вратам и обратился к Сан-Пьетро: «Скажи мне, будь добр, видал ли ты колонны прекраснее этих?» Но Сан-Пьетро сказал только, что колонны и впрямь симпатичные, и попросил Сан-Паоло отойти, чтобы он мог запереть врата, а то понабегут еще всякие негодные души.

А вечером, сэр, когда стемнело, Сан-Пьетро спустился на землю, выкрал эти две желтые колонны и поставил их в собственной церкви. Утром Сан-Паоло, который всю ночь только и думал, что о своих новых колоннах, отслужил литургию по образцу Великой пятницы, потому что она короче, и поспешил на балкон – насладиться видом своей церкви с прекрасными желтыми колоннами. Увидев, что их там уже нет, он расстроился, удалился в тень, присел и задумался, что же теперь делать. После долгих размышлений он убедился, что его

ограбили, и, зная, что украв однажды, вор не остановится, пока его не поймают, решил всю ночь наблюдать за своей церковью, чтобы узнать, кто же похитил колонны.

Днем строители церкви Сан-Паоло установили еще две желтые колонны, две колонны из порфира и сверх того две зеленые. Сан-Паоло восхищенно взирал со своего балкона, радуясь их изяществу, потому что знал, что перед такой красой вор не устоит и поймать его не составит труда.



После «Аве Мария» он познакомился с одним из ангелов, как раз надевавшим доспехи в вахтенной – перед тем, как заступить на один из караульных постов вокруг Града Божьего, где они днем и ночью несут дежурство. Эти ангелы, сэр, в сто локтей ростом, и Сан-Паоло попросил того, что дежурил неподалеку от врат, спрятать его под своими крыльями – тогда он обнаружил бы вора, а его самого никто бы не заметил. Ангел ответил, что рад стараться; Сан-Паоло ведь был римский гражданин, и на небе его уважали; так что когда наступила ночь, Сан-Паоло спрятался под покровом ангельских перьев.

Тут он увидел, как Сан-Пьетро выходит из врат рая, и свет, из которого состоят тела святых, последовал за ним, поэтому в окутавшей землю тьме Сан-Паоло было видно все, что тот делал. Он взял новые желтые колонны, обе колонны красного порфира и подхватил еще и зеленые – это как вам, сэр, поднять

шесть кистей; он направился к своему храму на Монте Ватикано и установил их там. А затем заделал места, из которых вынул колонны, чтобы никто ничего не заметил, и вернулся на небо.

Сан-Паоло встретил его у ворот и обвинил в воровстве, но Сан-Пьетро ответил заносчиво, что он правитель всех апостолов и потому имеет право на лучшие колонны для своей церкви. Сан-Паоло ответил, что однажды он уже имел случай лично противостать Сан-Пьетро, потому что он подвергался нареканию (это было в Антиохии, сэр)[2]; после чего разговор пошел на повышенных тонах, и под конец этой ссоры святые так раскричались, что Падре Этерно, восседавший на громадном белом троне, послал Сан-Микеле-Арканжело привести к Нему спорщиков.

И тогда Сан-Паоло сказал:

– O, Re dei secoli, immortale et invisibile![*] Граждане Рима строят сейчас две церкви – одну в мою честь, а другую – в честь Сан-Пьетро. Я давно уже заметил, что строительство моей церкви, кажется, совсем не продвигается, тогда как у Сан-Пьетро церковь уже почти готова. Позавчера (а сегодня у нас суббота), в церкви моей установили две желтые колонны, красоты необычайной, *о Синьор Иддио*[†], однако ночью их

---

* О царь веков, нетленный и невидимый! (*ит.*) – формула из послания апостола Павла к Тимофею (1: 17).

† O Signor Iddio – Господь Бог (*ит.*).

кто-то украл. Вчера же установлены были целых шесть колонн – две желтых, две зеленых и еще две из порфира. Сегодня я решил посмотреть, не украдут ли и их, и увидел, как Сан-Пьетро сошел вниз и установил эти самые колонны в своей церкви на Монте Ватикано.

Тогда Падре Этерно обратился к Сан-Пьетро и спросил, не желает ли тот что-то сказать.

И Сан-Пьетро ответил: 

– O Re del Cielo*! Я давно научился не отрицать того, об истинности чего La Sua Divina Maestà† и так знает; я признаю, что взял колонны, и не только их, из церкви Сан-Паоло и установил в собственной церкви. Тем не менее, мне хотелось бы указать, что никакого воровства здесь не было. O Dio Omnipotente‡, Вы соизволили сделать меня главой коллегии апостолов, хранителем ключей от рая и главой Вашей церкви на земле, так подобает ли церквам, которые люди строят в мою честь, быть менее величественными, чем те, что они создают в честь Сан-Паоло? Поэтому когда я брал колонны, по поводу которых Сан-Паоло затеял этот жалкий спор, я был в своем праве – в праве, принадлежащем мне по рангу, который Вы, lo Splendore Immortale della Sua Maestà§, милостиво соблаговолили мне даровать.

* О Царь Небесный (*ит.*).

† Ваше Божественное Величество (*ит.*).

‡ Бог всемогущий (*ит.*).

§ О бессмертное великолепие Вашего Величества! (*ит.*).

Только эта защита не удовлетворила Падре Этерно. Он заявил, что сама секретность, с которой осуществлял свои замыслы Сан-Пьетро, доказывает, что он знал, что поступает так, как поступать не должно, и что, кроме того, несправедливо было отнимать у людей, строящих церковь Сан-Паоло, изящные вещицы, на которые они потратились, чтобы воз-
52 дать Сан-Паоло честь. И Он предостерег Сан-Пьетро от повторения подобных вещей.

На следующий день была *феста,* и строители не работали; в понедельник же они установили в церкви Сан-Паоло несколько лазуритовых и малахитовых плит, и ночью Сан-Пьетро, которому в смелости и дерзости нет равных среди людей, имел наглость забрать эти плиты и установить в собственной церкви – прямо на глазах у Сан-Паоло, который наблюдал за его работой, стоя у врат рая. Когда он вернулся, Сан-Паоло уже успел пожаловаться Падре Этерно, и Сан-Пьетро опять отругали и предупредили, что если он будет упорствовать в своем непослушании, от наказания его не спасут ни высокий чин, ни польза, какую обычно он приносит, ни хорошее поведение.

На следующий день, во вторник, в церкви Сан-Паоло установили чудесный *балдахино* из яшмы и лилового гранита, подарок турецкого султана, а ночью Сан-Пьетро спустился, как обычно, на землю и утащил его к себе. В третий раз Сан-Паоло пожаловался Падре

Этерно, и тогда созвали к Нему весь Небесный суд, и был оглашен приговор.

Падре Этерно сказал, – и голос его, сэр, звучал как раскаты грома – что Сан-Пьетро повинен в том, что, ослушавшись указания Бога и движимый тщеславием, присваивал собственность Сан-Паоло и переносил ее в собственную церковь на Монте Ватикано; и что вследствие его действий церковь Сан-Паоло никак не могли закончить; постановлялось же, что до конца времен великая церковь Сан-Пьетро в Риме так никогда и не будет закончена. А кроме того, добавил Падре Этерно, чтобы не поощрять доносчиков и ябедников, церковь Сан-Паоло за городскими стенами, хоть и будет закончена, обречена на разрушение и разорение, и сколько раз будут ее отстраивать, столько же раз будет она разрушаться.



И вы сами видите, сэр, что церковь Сан-Паоло то и дело горит или взрывается[3], а храм Сан-Пьетро строители так до сих пор и не покинули.

## О лилиях Сан-Луиджи

54 Вы знаете, сэр, что Сан-Себастьяно и Сан-Панкрацио всегда были большими друзьями[4]. Еще в этом мире они часто вместе озорничали, потому что страсть как любили поиздеваться над язычниками, предававшими христиан смерти.

Потом, когда пришел их черед, они с радостью приняли мученичество; Сан-Панкрацио погиб в лапах дикого зверя в римском Колизее, а в Сан-Себастьяно вонзили столько стрел, сколько у ежа иголок, когда же выяснилось, что от этого он не умер, забили его дубинами. А потом оба обрели жизнь небесную на веки вечные.

Теперь я должен рассказать, как они выглядят, чтобы вы узнали их, когда встретите. Во-первых, нужно понимать, что святые на небесах всегда молоды; то есть если вы уже состаритесь, когда жизнь ваша в этом мире подойдет к концу, вы просто закроете глаза, ангел перенесет вас в рай, и когда вы снова их откроете, будете опять в самом расцвете сил, и таким навсегда останетесь; а если вы умираете молодым, возраст ваш не меняется, и вы на-

всегда остаетесь в том возрасте, в каком умерли. Это если вы умираете святым, или мучеником (что лучше), – а это, понятно, при желании всегда можно сделать. Но даже если предположить, что вам лучше сперва побыть немного в чистилище, то если вы не обижали Мадонну, она придет и заберет вас в первую же субботу после смерти, и вы попадете на небо.

И тело ваше тоже изменится, и вы не будете больше подвержены боли или болезням. И да, конечно, тело ваше будет плотью, на вид точно такой же, как эта, но только новая эта плоть не из праха земного, а из божественного огня, поэтому куда бы святые ни шли, они светятся, как звезды.



Ну так вот. Сан-Себастьяно было восемнадцать, когда он попал на небо, и он навсегда остался восемнадцатилетним; Сан-Панкрацио же было четырнадцать и так навсегда четырнадцать и осталось; были они такими же радостными, озорными и дерзкими, как и в этом мире, так что когда выясняется, что кого-нибудь из святых разыграли, там всегда говорят: «Вакх тебя побери! Опять эти мальчишки!»

Мальчишек на небесах, понятное дело, много, но я вам сейчас рассказываю про этих двух – Сан-Себастьяно и Сан-Панкрацио, да еще о третьем, которого звали Сан-Луиджи[5]; и об ангеле Сан-Себастьяно, которого звали Себастьяньчиком – Себастьянелло.

Нужно знать, что Сан-Луиджи был совсем не такой, как Сан-Себастьяно и Сан-Панкра-

цио. Он, конечно, не был, как они, мучеником, но все же он прекрасный святой, и, думается мне, что ведет он себя так скованно, потому что на небе он всего ничего и еще пока не освоился. Все время, знаете ли, ходит, устремив взгляд в землю, и никакого нет в нем веселья. Он, видите ли, был иезуит; а ничего такого в мире не было и через много столетий после

того, как Сан-Себастьяно и Сан-Панкрацио взошли святыми на небо. Когда он только появился, Сан-Себастьяно и Сан-Панкрацио думали, что он такой же мальчишка, как и они сами, и что он присоединится к их играм; им очень хотелось с ним познакомиться и оказать радушный прием. Так что как только хор грянул Iste Confessor[6], они побежали к вратам, чтобы с ним подружиться. Сан-Луиджи, в сутане и стихаре, с лилией в руке, медленно шел под аркой, устремив глаза в землю, и когда Сан-Себастьяно и Сан-Панкрацио, взявшись за руки, подошли к нему сказать, как они рады его видеть, он робко взглянул на них и произнес: «Большое спасибо», но вид Сан-Себастьяно так его поразил, что он вспыхнул и снова потупил взгляд, а после избегал по возможности встречи с ними.

Видите ли, сэр, Сан-Себастьяно был совсем голый: кроме нимба и стрелы, ничего на нем не было, потому что поставив его к столбу перед тем, как метать стрелы, язычники сорвали с него всю одежду – в таком виде он и попал на небеса. А если не верите, можете, когда по-

желаете, посмотреть, как он нарисован в Дуомо[7]. Но он был такой прекрасный и мускулистый, такой прямой и сильный, и кожа у него была такая белая и чистая, а волосы такие золотистые, что никому до сих пор и в голову не приходило, что он голый. Но Сан-Луиджи вид его показался наимерзейшим, и всякий раз, когда они встречались, его как будто охватывала дрожь, только происходило это нечасто, потому что он почти все время проводил, читая молитвы, в часовне.



Сан-Себастьяно, наверное, это и впрямь казалось грубоватым, и Сан-Панкрацио был, конечно, согласен со своим другом; при всем их благодушии и нежелании создавать неприятности они не могли не чувствовать обиды, когда этот новенький – а худшего имени они так для него и не придумали – воротил от них нос только потому, что нрав у них был веселее и свободнее, чем у него.

Как-то летом стояла сильная жара, и двое святых отправились понырять в прелестном пруду с холодной водой, под водопадом; утомившись, они улеглись на берегу, свесили ноги в воду и стали ждать, когда солнце подсушит им нимбы.

Тут к ним незаметно подкрался Сан-Луиджи – в руках у него был старый стихарь; он подошел к Сан-Себастьяно и предложил ему этот стихарь, а сам усердно прикрывал лицо лилией, пока говорил. Сан-Себастьяно не шелохнулся и ни слова не сказал, а веселые его

глаза со смехом глядели на Сан-Луиджи из зелени травы. Сан-Луиджи повторил свое предложение из-за лилии, умоляя Сан-Себастьяно накинуть стихарь – просто чтобы прикрыть твои бедные ноги, добавил он. Сан-Себастьяно ответил, что не находит свои ноги сколько-нибудь неподобающими, ноги как ноги, насколько он понимает, потому что такими их сотворил Падре Этерно, а Он все всегда делает хорошо. Тогда Сан-Луиджи предложил стихарь Сан-Панкрацио, который тоже был голый, потому что купался, но тот поблагодарил и ответил, рассмеявшись, что у него есть своя и очень хорошая одежда, в которую он облачится, как только обсохнет – тут он указал на прекрасную тунику белой шерсти с широкой пурпурной полосой по нижнему переднему краю, на золотую буллу[8] и сандалии красной кожи с выложенным жемчугом полумесяцем у самых пальцев – он ведь был знатным, сэр, и, кроме того, свободным римским гражданином. Сан-Луиджи сказал, что туника коротковата, но все же лучше, чем ничего, а затем обратился к Сан-Себастьяно и стал упрашивать его надеть стихарь.



И тут из высокой травы показалась прекрасная рука Сан-Себастьяно и схватила стихарь – да так неожиданно, что Сан-Луиджи упал на колени и лилия его растрепалась; пока он приводил себя в порядок, Сан-Себастьяно свернул из стихаря мячик, кинул его Сан-Панкрацио, а тот вернул его обратно; святые

не без удовольствия стали перекидывать мяч друг другу, а Сан-Луиджи все это время негодовал, уверяя, что совсем не для того принес им стихарь, и умолял их немедленно оставить это легкомыслие. Но игра их уже так увлекла, что они бегали вдоль берега, норовя метнуть подальше. И тут Сан-Себастьяно так ловко подхватил особенно сложную подачу, что возвращая ее, пошатнулся и рухнул вверх ногами в пруд. На точности удара это сказалось не лучшим образом, ибо мяч полетел не туда, куда он имел в виду его отправить, то есть не к Сан-Панкрацио, а прямо в лицо Сан-Луиджи. Тот все еще прикрывал лицо лилией, которая, соответственно, попала под удар и сломалась, все лепестки разлетелись; это так его расстроило, что двое друзей – а Сан-Себастьяно тут же подплыл к берегу и выбрался из воды – попытались его утешить, обещая мигом достать ему такую же.



Но Сан-Луиджи сказал, что другая не годится, потому что эти лилии он берет только с посвященных ему алтарей в дольнем мире, другие-де ему не подходят, а сейчас их там нет, потому что *фесста* его[9] только завтра, а до того никто не понесет лилий к его алтарю.

Услышав это, Сан-Себастьяно и Сан-Панкрацио покатились со смеху, и хохотали так громко, что Падре Этерно, прогуливавшийся в прохладе по саду, отправил одного из херувимов со своего Нимба узнать, что там происходит.

Сан-Панкрацио мигом запрыгнул в свою тунику и надел на шею буллу, а Сан-Себастьяно зашнуровал ему сандалии; и когда из-за деревьев к ним вышел Suprema Maestà e Grandezza*, оба стояли по стойке смирно. Вы, конечно, знаете, сэр, что в этом мире Сан-Себастьяно служил в личной охране императора; он и обучил Сан-Панкрацио всем военным приемам.

60 Сан-Себастьяно смело взглянул в Лицо Богу и сказал:

– O Signor Iddio Altissimo†, мы смеялись над Луиджи, потому что он отказался от райских лилий, предпочтя им ту гадость, какую возлагают на его алтари в дольнем мире.

Сан-Луиджи не на шутку разозлился, услышав, что его лилии называют гадостью, и Падре Этерно заявил, что это слово, несомненно, не следовало употреблять, если у Сан-Себастьяно не было на то серьезных оснований.

Тогда Сан-Панкрацио объяснил, что Сан-Себастьяно, конечно же, не имел в виду высказываться о самих лилиях, поскольку не подобает выступать против творений Падре Этерно; а назвал он их гадкими, потому что люди, приносящие лилии на алтари Сан-Луиджи, добывают их недостойным способом, а Сан-Себастьяно кивнул и заверил, что так оно и есть.

Эти слова еще больше разозлили Сан-Луиджи, и гнев его был столь праведен и непод-

---

* Высочайшее Могущество и Величество (*ит.*).

† О Всевышний Господь Бог (*ит.*).

делен, что Сан-Себастьяно убедился в полном неведении Сан-Луиджи относительно низких проделок людей, находящихся под его покровительством; поэтому, сказал он, если *Дивина Маэстá* соблаговолит, они с Сан-Панкрацио покажут Сан-Луиджи, откуда берутся лилии. Падре Этерно был только рад проявить милость, снизойдя к их просьбе, и последовал дальше, потому что знал, что такому мальчику, как Сан-Себастьяно, во всем можно довериться.



Тогда Сан-Себастьяно сказал, что если Сан-Луиджи готов мириться с компанией Сан-Панкрацио, то он предложил бы этой самой ночью совершить небольшую *джиту*[*] в дольний мир, потому что раз завтра будет его праздник, все мальчишки будут добывать лилии для его алтарей, и для начала пригласил его заглянуть по ту сторону небесного вала.

Трое святых взошли на золотую стену и увидели под ногами вертящийся в космосе мир. Сан-Себастьяно заметил, что к полуночи они окажутся как раз над белым городком, теснящимся на склоне далекой горы. Городок, сказал он, называется Гензано, и у князя Франческо Сфорца Чезарини есть там дворец с самыми прекрасными в мире садами, где в это время года наверняка будет полно лилий[10].

Сан-Луиджи ответил, что перед выходом ему хотелось бы прочитать все молитвы, воз-

---

* Gita – вылазка, экскурсия (*ит.*).

нести хвалы и подготовить утреннюю медитацию, так что он встретился бы с Сан-Себастьяно и Сан-Панкрацио незадолго до полуночи.

Вы знаете, сэр, что на небе нет ночи, то есть лучше сказать, что там никогда не темнеет, поэтому когда Сан-Луиджи пошел искать Сан-Себастьяно и Сан-Панкрацио, он нашел их в саду у самых врат, где они держали скакалку для Святой Агнессы[11] и ее подруг; но Сан-Вито[12] и Сан-Венанцио[13], которым как раз наскучило играть в морру[14], с удовольствием их сменили, и можно было отправляться в путь.



Сан-Себастьяно подозвал своего ангела, Себастьянелло, и сказал, что они готовы.

Мне давно надо было объяснить, что на вид Себастьянелло был копия Сан-Себастьяно, только стрелы у него не было, зато были крылья – они росли прямо из рук и цвета были того же, что и тело, лишь слегка белели ближе к кончикам перьев. Только он, конечно же, был гигантский, как и все ангелы – сколько именно ярдов ростом, сказать не могу, потому что сам точно не знаю.

Трое святых взобрались на него следующим образом: Сан-Панкрацио встал ему на левую стопу и обвил рукой ногу, чтобы не упасть, Сан-Себастьяно – на правую, и тоже обвил его ногу для устойчивости; Сан-Луиджи тоже встал на правую стопу Себастьянелло рядом с Сан-Себастьяно, и тот другой рукой обнял его за талию. Когда все были готовы, ангел

махнул крылами, оторвался от золотой стены, потом замер без движения, полностью расправив крылья, и стал плавно, однако быстро, падать на землю.

Надо вам сказать, что они все сделались невидимыми, и так всегда бывает, когда святые спускаются в этот мир, если не объявится рядом кто-нибудь столь добродетельный, что удостоится лицезрения богов. Приземлившись в саду у магнолии, они оставили там ангела, а сами присели неподалеку от грядок с лилиями. Их, как вы понимаете, никто не видел, и они стали ждать, опершись о край фонтана, а Сан-Луиджи вынул четки, чтобы скоротать время.



И вот в сад тихонько вошли три или четыре человека и остановились в тени голубой гортензии. Старший, судя по всему, давал указания остальным, и потом они разделились, разбредясь по разным частям сада.

– Кто были эти люди? – спросил Сан-Луиджи.

– Скажи ему, Бастьяно, – шепнул Сан-Панкрацио.

– Садовники, – пробормотал Сан-Себастьяно. – В ночь с двадцатого на двадцать первое июня им ложиться не приходится.

– Я полагаю, они будут срезать лилии для мальчиков, которые за ними придут? – спросил Сан-Луиджи.

Сан-Себастьяно и Сан-Панкрацио чуть не задохнулись от хохота, а потом Сан-Себас-

тьяно сказал, что если Сан-Луиджи проявит терпение, он увидит то, что ему следует увидеть.

Садовники разошлись и спрятались в кустах сирени, некоторое время все было тихо.

Вскоре в саду появились шесть мальчишек-оборванцев – осторожно ступая в темноте, они направлялись к грядкам с лилиями. Стоило им там оказаться, как садовники выскочили из-за кустов и набросились на них с громкими криками, после чего мальчишки бросились наутек в разные стороны – совсем не туда, откуда пришли. Садовники кинулись за ними, но те бежали так быстро, что вскоре скрылись из виду. Но стоило им исчезнуть, как из темноты совершенно бесшумно появились еще двадцать или тридцать оборванцев, которые стали проворно срезать в снопы цветущие лилии. Вскоре на грядке не осталось ни одного цветка, мальчишки схватили добычу и растворились во тьме.



Минутой позже вернулись садовники, громко сокрушаясь, что им не удалось поймать воров, но увидев грядки, на которых только что цвели лилии, они воздели руки к небу, умоляя святую Мадонну проявить к ним милость. А главный садовник разрыдался, потому что не сомневался, что князь теперь уж точно отправит его в тюрьму.

А трое святых так и сидели у фонтана.

Сан-Луиджи охватила дрожь; но будучи, как вы знаете, совершенно невинным, он не по-

нял того, что увидел, и молил своих спутников объяснить, что же произошло.

Поэтому Сан-Себастьяно объяснил ему, что мальчишки в этом мире сущие дьяволята, причем очень хитрые. Сначала они отправили в сад шестерых самых быстрых, потому что знали, что садовники будут настороже. Эти шестеро должны были увлечь садовников в погоню и водить их, пока другие не придут и не срежут подчистую никем не охраняемые грядки с лилиями. Так оно и случилось.



Это очень опечалило Сан-Луиджи, главным же образом то, что садовники потеряют свои места. Поэтому он спросил Сан-Луиджи, нельзя ли для них что-нибудь сделать.

На что Сан-Себастьяно ответил, что они будут довольны и даже весьма счастливы, если Сан-Луиджи явит себя садовникам – тем более, что люди они были вполне почтенные и к тому же благочестивые, никто из них не ругался и не сквернословил.

Но Сан-Луиджи был столь скромен, что не желал являться им в одиночку – он простер руки, подавая одну Сан-Себастьяно, а другую Сан-Панкрацио, и сказал:

– Друзья мои, – если вы позволите мне так вас называть, – дорогой Бастьяно, дорогой Панкрацио, вы оба были так добры ко мне, давайте же вместе явимся садовникам и вернем им обратно все эти лилии.

Они позвали Себастьянелло, снова взобрались ему на стопы и вокруг них заструился

серебристый свет; он был ярче лунного, и садовники увидели в центре этого сияния, у куста магнолии, огромного ангела, и перед ним стояли, обнявшись, трое святых: Сан-Луиджи посередине, Сан-Себастьяно справа и Сан-Панкрацио слева. Садовники пали на колени и возблагодарили небо за это видение, а потом, когда ангел расправил свои крыла и поднялся

над землей, Сан-Луиджи осенил сад крестным знамением. А садовники стояли и смотрели в изумлении, пока все это сияние не превратилось в крошечную звездочку – так трое святых вернулись вместе с Себастьянелло на небо.

А когда они исчезли, садовники увидели, что грядки были опять полны лилий, да таких красивых, каких они еще никогда не видели. Когда же воришки принесли украденные цветы в Церковь Сан-Луиджи на Виа Ливия[15], они обернулись сплошными палками да грязной сорной травой.

А трое святых стали после этого лучшими друзьями, потому что Сан-Себастьяно и Сан-Панкрацио не может не приводить в восторг странная невинность Сан-Луиджи, как, впрочем, и странный обет, за исполнение которого он и попал на небо; так что они всегда рады ему услужить, потому что живут там дольше, чем он, и хорошо знают порядки этого благословенного места; а Сан-Луиджи ходит теперь только с райскими лилиями, и нет для него большего счастья, чем выбирать лучшие ветви золотой пальмы для двух своих друзей-му-

чеников[16]; беспечный нрав Сан-Панкрацио его больше не смущает, как не смущает его и то, что Сан-Себастьяно разгуливает голым и совершенно этого не стыдится.

Да и зачем ему стыдиться?

## Каприз херувима

68 Когда вам посчастливится, сэр, лицезреть Падре Этерно восседающим на троне, то уверяю вас, что по крайней мере глаза ваши насладятся видом многих прекрасных лиц, тоже там присутствующих.

Это, как вы знаете, ангелы; их там девять рядов[17]. Формой все эти ряды напоминают яйцо с заостренными концами – ровно как этот золотой перстень у вас на пальце. Тех, кто в первом ряду, зовут серафимами, а тех, кто во втором – херувимами. На вид они довольно красивы, вам будет любопытно на них поглядеть. Ни рук, ни ног, как у других ангелов, у них нет, это просто головы, как у мальчишек. Глаза у них темные, как тени в ручье, где вы рыбачили в прошлый четверг, когда сквозь деревья проглядывало солнце. Кожа, уж поверьте, цветом и яркостью не уступает голубым каменьям, которые надевает иногда синьора герцогиня[18], а волосы струятся волнами, как море у Ардеи[19]. Ушей у них нет, но в том месте, где у обычного мальчишки были бы уши, у них крылья – формой как у бекаса, а цветом синие, как небо на рассвете. Они порхают и пламене-

ют в вечности, несут, сменяя друг друга, дозор во втором круге Высшего Чина и охлаждают благоуханный воздух нежным трепетом своего оперенья.

Как-то раз довелось кому-то из херувимов услышать о развлечениях, которыми томят себя люди на земле, и они смиренно попросили у Падре Этерно позволения устроить после дежурства короткую *джиту* на землю, чтобы поиграть там с каким-нибудь мелким бесом. И Падре Этерно, Который всегда позволит поступить, как тебе хочется, если знает, что из этого будет извлечен урок, перекрестился и сказал: «†[20] Разрешаю».



На следующий день Сан-Микеле Арканжело унес на землю огромное множество этих красавцев, синих райских пташек – думаю, их было девяносто пять миллионов, хотя не хотелось бы говорить наверняка, потому что я точно не знаю, и они расселись по веткам в саду палаццо Сфорца Чезарини, в том городке за озером.

Оставив их там, Сан-Микеле Арканжело во второй раз отправился в преисподнюю. В первый раз, как вы знаете, он побывал там, чтобы сковать Диавола и погрузить его в огонь на веки вечные – после того, как победил его воинство в страшной схватке[21]. Когда он спускался вниз по раскаленным камням, языки пламени, в котором горели бесы, вздымались ввысь, но, столкнувшись с холодным воздухом небес, исходившим от Сан-Микеле Арканже-

ло, изгибались, и поднявшись еще, образовали над его головой нечто вроде огненно-желтой триумфальной арки.

Добравшись до врат, где следует оставить надежду, он крикнул, что у Отца небесного, Царя богов и людей есть повод воспользоваться услугами бесенка по имени Эскмай Дави. Верховный дьявол яростно загремел цепями,
70 потому что обязан был повиноваться, и заставил мерзкого демона восстать из лужицы кипящей серы и обрести телесную форму.

По лицу или по фигуре вы решили бы, что перед вами мальчик лет примерно четырнадцати, только глаза у него горели, как раскаленные угли. А если бы вы увидели его руки, то решили бы, что перед вами летучая мышь, потому что от них отходили крылья из шипов с натянутой на них кожей. Да, были у него еще отвратительные рога, выглядывавшие из-под волос, только волосы были не волосы, а змеи; а от талии до самых ног тело у него было козлиное и все сплошь алое. Но не того алого цвета, что был мундир на английском солдате, которого я однажды встретил у ворот Пия[22] в Риме. Вы поймете, что я имею в виду, только если я скажу, что это был цвет древесных углей, почти уже угасших, которые вновь накаляются и вспыхивают, когда начнешь их раздувать. От копыт до рогов он был самым что ни на есть скверным и отвратительным; но никому и в голову бы не пришло его бояться – ни святому, ни ангелу, ни прос-

тому человеку вроде вас, сэр, пока не оставила его Мадонна, потому что мерзость его была очевидна; к тому же он был прозрачный, как стекло, и внутри у него болталось грязное сердечко – цветом чернее чернил.

Сан-Микеле Арканжело, который умеет обращаться со всеми, особенно же с такими мартышками, вонзил копье прямо ему в живот – ровно как Джанетта насаживает вальдшнепа на вертел – и, подняв копье перед собой, потому что с такой нечисти глаз лучше не спускать, понес извивающегося и корчащегося бесенка в мир. Пламя, как и раньше, взметнулось ввысь и окружило великого архангела, не подпалив, однако, ни перышка и не оставив на белейшей его коже ни одного ожога, потому что не могло пробить лед его чистоты; впрочем, при виде пламени бесенок бился и брыкался – наверное, как брыкался бы я, если бы вы, сэр, стегали меня голого за непослушание не стеблями лилий, как вы обычно делаете, а раскаленными докрасна железными прутьями.



Так они и пришли в сад княжий; избавив бесенка от его столь неудобного положения, Сан-Микеле Арканжело, который командует на небесах целыми армиями и оттого большой любитель солдат, спустился на полчаса в город, чтобы осмотреть казармы.

Оказавшись на свободе, бесенок не поверил собственному счастью и, гадая, какой будет следующая пытка, несколько минут так усердно тер глаза, что из них посыпались ис-

кры. Херувимы же тем временем сидели на деревьях, не говоря ни слова, и глядели что было мочи, потому что никогда ничего подобного не видели.

А когда ничего плохого с бесенком не случилось, он собрал все мужество, какое у него было, и воровато огляделся. Первое, что он заметил, был фонтан у магнолии; черти прекрасно знают, что такое вода, хоть она и встречается в их местах так редко, что одна капля стоит там больше, чем все богатства этого мира, поэтому бесенок для начала засунул в фонтан голову, чтобы притушить жгучую боль, которая всегда его мучает. А херувимы так и сидели молча и только глядели во все глаза.



Фонтан же этот, сэр, довольно глубокий – вы знаете, ведь и сами не раз ныряли в него, когда солнце стояло во Льве[23]. Бесенок исчез под водой, но не прошло и минуты, как голова с перекошенным от боли лицом показалась на поверхности, а вокруг поднялись клубы пара и раздалось страшное шипение; он заголосил и стал скорее карабкаться наружу.

Очутившись на траве, он запрыгал, перескакивая с места на место, замахал крыльями, выжал воду из волосатых ног, ударил кулаком по голой груди и стал кататься по земле, завывая и подскакивая, пока херувимы не засмеялись от радости – да так сильно, что повалились с деревьев и запорхали вокруг бесенка, ведь на такое веселье они даже и не рассчитывали.

А причину всего этого понять просто, если только вдуматься. Видите ли, одно из терзаний, которое приходится переносить бесам и проклятым, – быть вечно разочарованными; их желания никогда не исполняются; все их планы, с каким бы тщанием они их ни строили, всегда рушатся; все договоренности расстраиваются в самый последний момент, и все идет по закону подлости. В общем, когда эта гнусь прыгнула в холодную воду, вода от жара адского пламени закипела, а Дыхание Бога ее еще слегка подогрело, так что вместо того, чтобы охладиться, бесенок изрядно обварился.



Херувимы же, когда вдоволь насмеялись, стали внимательно изучать это странное для них зрелище: они увидели громадные куски обожженной кожи, свисавшей клочьями и струпьями у него на шее, на боках, на спине и на животе, увидели потрескавшиеся и покоробившиеся перепонки у него на крыльях, увидели, как начинают слоиться у него копыта; они наверняка бы ему посочувствовали, только вот печалиться по поводу бесенка дело неподобающее. Поэтому они ничего не сказали, а так и парили в воздухе, не сводя с него невинных своих глаз.

Бесенок тоже на них посмотрел и с присущим ему нахальством спросил, на кого это они, черт подери, уставились.

Они ответили, что хотели бы с ним поиграть, что просят его еще немножко поозорничать, а потом рассказать им что-нибудь

веселое, и еще объяснить, откуда он взялся и чем он там занимается и как ему там нравится и для чего у него внутри эта мерзкая клякса в форме сердца и еще много чего.

Бесенок же заявил, что с ним приключилась беда и что он не собирается рвать глотку, пытаясь докричаться до парящих в небе синих пташек, так что если им хочется услышать ответы на свои вопросы, то пусть спустятся пониже, потому что сам он весь охвачен болью.



И херувимы очень заинтересовались, где могла быть эта самая боль, которой бесенок, как он говорит, весь охвачен, и что вообще за штука такая эта боль. А так как им было любопытно и очень хотелось это узнать, они спускались все ниже и ниже, пока не слетелись кругом над самой его головой.

И тут они вдруг почуяли страшную вонь и закричали друг другу: «От него несет – несет грехом!» Но все же им очень хотелось развлечься, и они решили на некоторое время смириться с таким неудобством.

Бесенок же был все равно недоволен; но сообразив, что для игр эти ребята вполне подходят, постарался произвести хорошее впечатление. Он плюхнулся на живот, подложил ладони под подбородок и пригласил херувимов спуститься, расположиться вокруг него и послушать истории, каких они еще никогда не слышали.

Херувимы спустились еще ниже, но садиться все равно не стали.

И потом еще много чего произошло.

Но в какой-то момент херувимы почувствовали, что никакого желания играть с этим дьяволом у них больше нет, и одним взмахом крыл, от которого раздался звук, подобный тому сильному аккорду, который вы, сэр, берете, когда начинаете по вечерам играть на китарроне[24], они перенеслись обратно в рай, а под бесенком тем временем разверзлась земля, и оттуда высунулись красные языки пламени, похожие на лапы с когтями. Они схватили его за талию, да так сжали, что лицо у него надулось, глаза, как у краба, вытаращились, груди набухли, как тыквы, плечи и руки стали как сосиски, талия оказалась как у Донны Лины[25], кожа на волосатых бедрах надулась, как резина на колесах, и лопнула, а сам он плюхнулся назад в свою лужицу кипящей серы.



Когда зазвонили «Аве Мария»[26], и вся эта компания херувимов заступила на службу в Нимбе, Падре Этерно уловил на их лицах обиду и оскорбленные чувства. И когда Его Величество соблаговолил поинтересоваться, в чем дело, херувимы ответили, что бесенок, с которым Он разрешил им поиграть, был очень груб, и что у них нет никакого желания еще раз с ним встречаться; потому что они просили его немножко поозорничать, а потом рассказать им что-нибудь веселое, и еще объяснить, откуда он взялся и чем он там занимается и как ему там нравится и для чего у не-

го внутри эта мерзкая клякса в форме сердца и так далее, и он сказал, что с радостью ответит на все эти вопросы и поиграет с ними, если они спустятся и сядут вокруг него на траве; но в ответ им пришлось сказать, что сесть они не могут, и бесенок спросил, почему; они же ответили вежливо, что садиться им не на что, и тогда бесенок подскочил высоко над землей,
76 где до того лежал, раскинув ноги в разные стороны, перевернулся вверх ногами, захохотал, стал издеваться и глумиться над ними, потому что он мог, чего они не могли, и проделал над ними много других отвратительных фокусов, чем сильно их оскорбил; так что они заскучали и вернулись обратно в Рай.

Они добавили, что больше не желают связываться с такими типами и попросили прощения за проявленное в этот раз своеволие.

А Падре Этерно улыбнулся, и от этой Улыбки свет Небесный засиял, как радуга, и зазвучала такая прекрасная музыка, что я, наверное, умру, когда ее услышу, и Он перекрестился и сказал: «Хорошо, дети Мои, да благословит вас Бог. Benedicat vos omnipotens Deus † Pater et † Filius et † Spiritus Sanctus»*.

---

* Да благословит вас Господь всемогущий, Бог Отец, Сын и Святой Дух (*лат.*).

# О прекрасной Беатриче и мамаше Сан-Пьетро

– Сэр, только не сердитесь на меня, я ведь так ее люблю! Что я могу поделать, когда она такая милая и всегда такая хорошая, веселая, терпеливая? Вчера вечером, когда мы встретились у лодочного сарая, я обнял ее и попросил поцеловать меня, и она, сэр, поцеловала! И тогда я сказал ей, что очень ее люблю, и она сказала, что тоже меня любит. А я сказал, что когда вырасту, женюсь на ней, и когда заглянул ей в глаза, они были полны слез, так что я знаю, что и она меня любит, только ей стыдно, что она такая бедная и что мамаша у нее такая ведьма. Но я-то не против, что она бедная – эта голубка? Macché![*] Потому что когда она обвивает меня нежными своими руками, и я чувствую ее дыхание у себя на волосах, когда целую ее в губы, и в шею, и в грудь, я знаю, что это Беатриче, ее тело и ее душа, этого я хочу, об этом пекусь, и что мне до ее рваной одежды! 

Тото[27] спрыгнул с дерева и стоял теперь передо мной; пока он ораторствовал, его гибкое юное тело было натянуто, как струна:

* Нет, конечно! (*ит.*).

– Разве Ваше превосходительство не говорили мне, что я силен, как бык, и разве не в радость мне будет трудиться в поте лица, чтобы девочка моя была счастлива, богата и величава, как солнце? Вы думаете, я спускаю все, что вы мне платите, в кабаке да в томболу[28]? Вы же знаете, что нет. Я всегда откладывал, а теперь буду откладывать больше, и через год
78 или два попрошу у вас разрешения жениться на ней. Нет, я не хочу уезжать, не стремлюсь вас бросить. Пусть Дьявол унесет меня в преисподнюю и поджарит там на самом страшном огне, если охватит меня такое желание. К тому же Беатриче ни в чем Вашему превосходительству не помешает; вы ее и не увидите, если не захотите, даже и не узнаете, что рядом с вами живет этот райский цветок, этот ангел. Уверяю вас, Беатриче питает к вам огромное уважение; и если только вы будете так добры и окажете нам милость, позволив осчастливить друг друга, для нее будет большой честью и радостью служить вам, как я служу, или помогать мне в этой службе. К тому же, сэр, Вы же так любите *фритто*. А Беатриче готовит такое *ригалье*[29], что вы, если попробуете, скажете, что оно спустилось прямиком с небес; я это знаю наверняка, потому что сам пробовал.

Он бросился на землю и стал целовать мне сначала руки, а потом ноги, заплакал и вообще устроил дикую сцену.

Я приказал ему подняться и прекратить этот детский лепет. Заявил, что мне все равно,

как он себя ведет, и спросил, был ли я когда-нибудь с ним груб и отказывал ли в чем-нибудь, что представлялось мне разумным.

Он поклялся, что я святой, сошедший прямо с небес, что я всегда таким был и навсегда останусь, потому что по-другому я просто не могу, и уже собирался снова упасть на колени, но я не позволил, а сказал, что пусть он лучше покажет мне ее, а то по такому зною я от его трескотни совсем растаю.



– Сказать по правде, сэр, – ответил он, – я всегда знал, что вы сжалитесь над нами, когда узнаете, как сильно мы друг друга любим. И когда вы застали нас прошлой ночью, я сказал Беатриче, что теперь должен обо всем вам рассказать, потому что был уверен, что если вас не обманывать, а я никогда этого не делал, то бояться нечего; и я сказал ей, что вы, несомненно, захотите ее увидеть, чтобы дать ей наставление, потому что она моя подруга, а она сказала, что это слишком высокая для нее честь. Тут я почувствовал, как она дрожит у меня на груди, долго ее целовал и сказал, что она должна быть храброй, как я; и, сэр, поскольку вы так добры, что желаете ее видеть, я позволил себе ее привести. Она здесь.

Я всегда восхищался сообразительностью этого юноши, поэтому последнее заявление меня не удивило.

– Где же? – спросил я.

– Я спрятал ее за деревом, сэр, – и он указал на большой дуб метрах в двадцати от нас.

Я не выдержал и рассмеялся над его хитроумием, и моя благорасположенность, я полагаю, его воодушевила. В его ясных глазах не осталось ни следа нерешительности, сомнений и неопределенности, а лицо озарилось абсурдной улыбкой – довольной и предвкушающей еще большую похвалу.

– Так я ее приведу, сэр?

80 Я кивнул. Я уже имел опыт по части его любовных дел, но здесь явно открывался новый этап, и я подумал, что нужно быть готовым *ко всему*. Он отошел и исчез за дубом. Послышалось легкое шуршание, минута-другая явно ушла на поцелуи. Потом он снова показался из-за дерева, увлекая свое сокровище за руку. Повторяю, я был готов *ко всему*, но должен признаться, что от этой картины у меня перехватило дыхание. Ко мне приближались не мальчик с девочкой, а два мальчика[30] – так, по крайней мере, мне показалось. Они подошли и встали у гамака, в котором я лежал. Тото ведь был шестнадцатилетний красавец, шельмец (discolo), родом из Абруццо[31], фигурой едва ли не копия челлиниевского Персея[32], со смуглой, гладкой, как персик, кожей, под которой течет настоящая красная кровь; благороден, как бог. Была у него одна слабость – он любил воткнуть в волнистые волосы над левым ухом матово-белую розу, и от одного только цвета этой розы на фоне его раскрасневшихся, как сейчас, щек сердце переполнялось благодарностью.

Здесь, у озера, в жаркие летние дни я обыкновенно просил его одеваться в белое. Шелковая расстегнутая рубашка с закатанными рукавами, рукавами открывала широкую загорелую грудь и гибкие руки, в коротких бриджах удобнее было грести. (Под его командой было полдюжины таких же, как он; обязанности их сводились к тому, чтобы таскать мои книги, инструменты для ловли насекомых и фотоаппарат, а также служить мне в моих бесцельных летних блужданиях по Альбанским горам[33] или на восточном побережье.) Мнимому мальчику, которого он звал Беатриче, на вид было лет четырнадцать, и прелесть его была еще более изысканной. Вместо уверенной, почти величественной независимости, с которой держался он, в ней была ничуть не менее поразительная тихая нежность. Шелковистые ее волосы были острижены коротко, как у Тото, а рубашка застегнута под самое горло. Ростом она была ему примерно по плечо; и пока она стояла передо мной с дрожащими коленками, лицо ее то заливалось розовым, то снова бледнело. Они были настолько прелестны в этой пронизанной солнечными бликами тени на фоне голубого озера, что я не мог отказать себе в удовольствии задержать их еще на несколько минут. Такие картины встречаются не каждый день. Он положил руку ей на плечо, а она обняла его за талию и слегка прислонилась к нему. Он же все это время не спускал с меня глаз.

– Продолжай, Тото, – обратился я. – Что ты хотел сказать?

– Видите ли, сэр, я подумал, что если Беатриче будет жить с нами – со мной, я имею в виду, – то было бы удобнее одеть ее так же, как нас, потому что тогда она сможет служить вам с нами на равных, и люди ничего не заподозрят.

82 Я тут же поразился, насколько он, как всегда, был прав; потому что, уж поверьте мне на слово, любой принял бы эту девочку за славного мальчишку, слегка округлого, на манер флорентийского Аполлино, но не более того.

– Так что я взял у Гвидо чистую одежду и принес ее сюда рано утром, потом привел Беатриче, дал ей переодеться и спрятал ее за деревом, потому что знал, что вы будете бранить меня из-за нее, когда спуститесь сюда с газетами; и я решил все вам рассказать, чтобы вы поняли, что наше с ней счастье – всецело в ваших руках. Я только хотел, чтобы вы увидели ее в этой одежде, чтобы сразу же поняли, что не будет никаких неприятностей, если вы позволите нам любить друг друга.

Все это звучало вполне здраво, но даже если бы это было не так, злобствовать в тот момент было все равно бесполезно, поэтому я предоставил их друг другу и заявил, что не буду вмешиваться в их дела, если они не будут мне докучать. Они поцеловали мне руку, а я поцеловал Беатриче в лоб, в щеки и в губы, отчего Тото возгордился, как павлин. Потом

я приказал увести ее, отправить в нормальной одежде домой и явиться ко мне через полчаса.

Ничего неестественного во всем этом не было; я не собирался серчать, разыгрывать из себя оскобленного хозяина или пытаться испортить идиллию, преисполненную очарования и новизны. Кроме того, в жизни у меня было более чем достаточно поводов, чтобы убедиться в бесплодности попыток оторвать самца от его самки.



Поэтому когда Тото снова предстал передо мной, я не стал говорить ничего обескураживающего или ennuyant*, а просто напомнил, что ему следует быть уверенным, что он крепко любит эту девушку – настолько, что любовь эта позволит ему с гордостью прожить с ней всю жизнь: с ней и для нее и для нее одной. Я сказал ему, что он очень молод, что, конечно же, не его вина, но что если бы он послушался моего совета, то не стал бы спешить. Он заявил, что я говорю мудрые вещи и что он послушается меня, как послушался бы Мадонну дель Портоне[34] во всей ее славе, если бы она сошла на землю и стала здесь и сейчас его поучать; сказал, что знает Беатриче с самого детства и что всегда любил ее больше, чем ее сестер, и любил как-то иначе, если я только понимаю, о чем он. Вчера ночью, когда он держал ее в объятьях и сказал ей, что знает, что она желает ему добра, он вдруг ощутил себя та-

* Наводящего уныние (*фр.*).

ким сильным, а она была такой нежной и так его влекла, что он вдруг понял, что никому ее не отдаст, что за нее готов кому угодно задать изрядную *бастонатуру*[*] и вырвать ее из когтей этой гнусной скаредной ведьмы, этой ее мамаши, которая ничего ей не позволяет, держит взаперти, когда бывает какая-нибудь феста, и – боже праведный! – даже иногда бьет,
84 просто потому что завидует, что она красивая, нежная и веселая, как молодой первоцвет.

– За какие грехи досталась ей в мамаши эта старая карга и о чем только думала Мадонна, когда давала своей *беллакучче*[†] такую *доннич-чиолу*[‡] вместо матери! И не то, чтобы Мадоннина была порой невнимательна, но ей ведь за столькими приходится присматривать! Иначе она не дала бы Сан-Пьетро такую мамашу, какая ему досталась.

Здесь я почувствовал возможность переменить тему и заметил, что было бы интересно узнать, что за мамашу дала Мадонна Сан-Пьетро.

– Разве вы не знаете, сэр, что мать у Сан-Пьетро была скареднейшая из женщин – все-то она скопидомничала, всю жизнь копила, неделями держала Сан-Пьетро и двух его сестер (монахиню и еще одну, о которой я вам потом как-нибудь расскажу) на одних картофельных

---

* Bastonatura – взбучка (*ит.*).

† Bellacuccia – маленькая красавица (*ит.*).

‡ Donnicciuola – жалкое подобие женщины (*ит.*).

очистках и сырных обрезках. Что же до любви к ближнему и милосердия, то, как мне кажется, она вообще не знала, что это такое, хотя я, конечно, не уверен; в общем, все, что было хорошего в Сан-Пьетро, явно не от нее. Повзрослев, он стал, как вы знаете, рыбаком, потому что когда *Сантиссимо Сальваторе** понадобился *Санто Падре*†, чтобы возглавить Церковь, Он пошел к морю и выбрал Сан-Пьетро, потому что знал, что Сан-Пьетро рыбак и поэтому сможет снести все испытания и будет ловить души людей[35] и нести их в Рай, как некогда ловил рыбу, чтобы снести ее на рынок. Так Сан-Пьетро попал в Рим, где и правил много лет. Но наконец язычники решили, что всех христиан надо бы поубивать. Христиане же подумали, что хотя сами они готовы без всяких возражений умереть, будет очень жаль терять такого хорошего папу, как Сан-Пьетро, – тем более, что его избрал и послал им Сам *Синьор Иддио*. Поэтому они убедили Сан-Пьетро бежать под покровом ночи и укрыться на некоторое время в пустынном месте за городскими вратами. Пройдя немного по Аппиевой дороге[36] – а ночь была и впрямь очень темная, – он заметил прямо перед собой сероватое свечение, и в свечении этом явился Сам Сантиссимо; Сан-Пьетро очень удивился, потому что *Ла Суа Маэстá* шел в сторону Рима. И Сан-Пьетро



* Святейший Спаситель (*ит.*).

† Святой отец (*ит.*).

спросил: «Господь, куда же ты идешь?» Лицо у Сантиссимо опечалилось, и Он сказал: «Иду в Рим, чтобы меня там снова распяли». И тут Сан-Пьетро понял, что поступает неблагородно, что негоже бежать и скрываться; пастух не бросает овец, когда появляются волки – если этот пастух, конечно, стоит хоть *байокко*[37].

Тогда Сан-Пьетро повернул назад и сам
86 явился в Рим, где и был распят с превеликой радостью меж двух столбов в Цирке Нерона[38]; однако он не желал, чтобы его распяли, как Сантиссимо, потому что хотел искупить грех своего побега, поэтому молил, чтобы его распяли вверх ногами. Язычники сказали, что, мол, пожалуйста, если ему так нравится, им-то самим все равно. Больше Сан-Пьетро шуму не поднимал, а просто отправился прямиком на небо. И, конечно, как только он туда попал, ангел выдал ему новую ризу, тиару и ключи[39], а Падре Этерно поставил его охранять врата; это очень большая честь, но он ее заслужил, раз уже и в этом мире занимал такой высокий пост. Так вот, через некоторое время его мамаша тоже покинула этот мир, но в рай ее не пустили, а отправили за скаредность и мелочность в ад. Сан-Пьетро это было совсем не по душе, и когда другие святые подтрунивали над ним по этому поводу, он начинал злиться. В конце концов он пошел к Падре Этерно и заявил, что негоже человеку его положения переживать такое бесчестье; и Падре Этерно, Который так благ и пре-

исполнен такого сострадания и милосердия, что готов сделать для тебя все что угодно, если это пойдет твоей душе на пользу, сказал, что Ему жаль Сан-Пьетро и что он вполне понимает его положение. Он намекнул, что, быть может, в случае с его мамашей решение было поспешным, и приказал ее Ангелу-хранителю принести книгу, в которой записаны все деяния ее жизни, хорошие и плохие.



– Итак, – сказал Падре Этерно. – Сейчас Мы внимательно пролистаем этот том, и если найдем, что она совершила хотя бы один благой поступок, Мы добавим к нему все заслуги сына, ее и Нашего, дабы избавить ее от вечных мук.

Тогда Ангел стал читать по книге и выяснил, что за всю жизнь она совершила лишь один благой поступок: однажды страждущая от голода нищенка попросила у нее, per l'Amore di Dio*, какой-нибудь еды, и та бросила ей ботву от луковицы, которую в этот момент чистила себе на ужин.

Тогда Падре Этерно приказал Ангелу-хранителю Сан-Пьетриной мамаши взять эту луковую ботву и держать ее над преисподней, чтобы если случится ей вместе с другими проклятыми душами подняться на поверхность кипящей лавы, можно было бы вытянуть ее на Небо, когда она ухватится за эту ботву.

Ангел сделал, как ему приказали, то есть подлетел к преисподней с луковой ботвой в ру-

* Христа ради (*ит.*).

ке и стал парить над ней в воздухе; из горнила взметнулся столп пламени, жарившиеся на огне души вывернуло наизнанку, как пасту в медной кастрюле, и на поверхности вдруг показалась мамаша Сан-Пьетро, простирая в отчаянии руки; увидев луковую ботву, она тут же за нее ухватилась – такая она была жадная, и Ангел стал подниматься, унося ее вверх

на Небо.

Но когда другие проклятые души увидели, что мамаша Сан-Пьетро от них улетает, им тоже захотелось сбежать, и они стали хвататься за подол ее платья в надежде избавиться от вечной муки. Ангел все поднимался и поднимался, мамаша Сан-Пьетро держалась за ботву, множество мучимых душ – за ее юбки, другие – за ноги тех первых, и еще больше – за ноги этих других; тут любой бы подумал, что ад таким манером в одночасье опустеет. Ангел же поднимался все выше, а вслед за ним, ухватившись за луковую ботву, поднималась вся эта вереница, и луковый хвост всех их выдерживал – настолько велика сила даже одного доброго поступка. Но тут мамаша Сан-Пьетро обнаружила, что происходит, увидела, какое множество спасается из ада вместе с ней, и ей это не понравилось; а поскольку была женщиной до жути себялюбивой и неуживчивой, она начала брыкаться и толкаться, а потом ухватилась за ботву зубами, чтобы освободившимися руками скинуть вниз всех державшихся за ее юбки. Действовала

она так яростно, что в конце концов откусила ботву и обрушилась назад в огнедышащую преисподнюю[40].

– Видите, сэр, как полезно быть добрым к другим и не вмешиваться в их дела, если дела эти не мешают вашим собственным.

Услышав от Тото такую мораль, я рассмеялся.

## О ереси фра Серафико

90 Одного из братьев Тото звали Николой, и он собирался стать священником. Ему исполнилось девятнадцать, и внешне он был очень похож на Тото, за одним примечательным исключением: в глазах у него не было огня. Вел он себя любопытно: тощий, неловкий, не от мира сего – полная противоположность Тото, обладавшего свободой и обаянием молодого дикаря-кутилы. Не знаю, откуда у священников, к которым я, конечно же, испытываю глубочайшее почтение, эта привычка пробираться крадучись вдоль стены, как бы сообщая подобострастным раболепием своей осанки, что они примут за благо, если их кто-нибудь пнет, но именно такая у них привычка. Я видел, как этот Никола приходил украдкой во время летних каникул, но не помню, чтобы мы обменялись с ним хотя бы парой слов, кроме «Здравствуйте» и «До свидания», когда он приходил здороваться и прощаться. Как-то утром вскоре после его приезда я спросил Тото, что за беда приключилась с его братом, потому что на этот раз он показался мне еще более загнанным, сгорбленным

и опущенным, еще более жалким и униженным, чем обычно.

– У Колы, сэр, должен вам сказать, очень чувствительное сердце; любую неприятность он воспринимает куда серьезнее, чем я. Я, конечно, сказал бы, что все это не важно, и поискал бы, чем отвлечься, но Кола будет обдумывать свое горе до тех пор, пока оно не превзойдет все реальные масштабы; до еды не дотронется, все ему будет неинтересно, будет желать смерти или с досадой говорить, что лучше бы ему было не рождаться. И на этот раз, думаю, что-то у него случилось в школе – потерял, наверное, подвязку, и когда гулял на улице с *камерата*[*], у него спустился чулок; с тех пор он, видимо, столько об этом думал, что сам поверил, что согрешил против шестой заповеди[41], обнажив свою персону столь неприличным образом. Но если вы меня отпустите, я у него спрошу – вон, он стоит со своими четками за *эмиссарио*[†].



Тото убежал, а я ненадолго задремал.

Когда я проснулся, он спускался по ступеням, прикрываясь от солнца листом ревеня.

– Уверен, сэр, вы изумитесь, когда я расскажу, что стряслось с Колой, – сказал он. – Он страшно на меня разозлился, потому что я не выдержал и засмеялся; сказал, что гореть мне в аду, раз я потешаюсь над духовенством –

---

* Camerata – товарищи, соученики.

† Emissario – сточная труба.

так и сказал, «над духовенством», а сам-то всего лишь субдиакон[42], а я его брат, который знает его как облупленного и помнит все, что он когда-либо сделал! И что Гельтруда сделала, тоже![43] Я-то сам уверен, что быть священником – прямой дар Небес, потому что помню, что Кола раньше, как и я, был совсем не прочь поразвлечься, но с тех пор, как пошел в семинарию,
92 ни на одну юбку не посмотрит – вернее, не посмотрит ни одну ее обладательницу, потому что только на юбки он и смотрит. Надо было видеть, как плакала наша мамочка, когда он приехал домой, потому что он лишь склонился к ее руке, даже не прикоснулся к ней губами, как будто она синьора дукесса, а не мать, которой хочется взять его на руки! Но нынешняя его печаль, сэр, вот о чем. Вы, должно быть, знаете, что в семинарии ученикам полагается проповедовать другим *кьериккетти** в трапезной, во время ужина. Это чтобы потренироваться произносить проповеди. Закончив речь, ты садишься на свое место, а если есть нужда сделать какие-то замечания по поводу того, что ты сказал, профессора тебе об этом скажут. И вот как раз вечером перед отъездом домой настала очередь Колы читать эту проповедь; он говорит, что когда сочинял ее, вложил туда все свое сердце. Он выучил ее наизусть, а за кафедрой повторил без единой ошибки, с жестами и телодвижениями, которые заранее отре-

---

* Chierichetti – церковные служки (*ит.*).

петировал перед зеркалом. Когда он закончил, его похвалил ректор, а потом еще два или три профессора. Когда же очередь дошла до *декано*[44], а это ведь просто старший студент, тот заявил, что школа должна гордиться, что произвела *абатино*[45], который так умен, что в первой же проповеди измыслил и провозгласил шестнадцать новых, доселе неслыханных ересей. И Кола, вместо того, чтобы разозлиться на этого противного завистливого фанфарона с его шуточками, берет всю вину на себя и доходит до самого жалкого состояния. Я сказал ему, что в ересях, пожелай он в этом поупражняться, ничего сложного нет, потому что ошибиться – ничуть не сложнее, чем поесть, а вот держаться верного пути действительно трудно. Но он говорит, что он жалкий грешник и что это все его вина, потому что он не в полной мере отвечает своему призванию. Что же до ересей, сэр, то я вам расскажу, как в Риме одного монаха обвинили в том, что он проповедует ересь, и тогда вы поймете, что если тебя обвиняют в изобретении ересей, это далеко не всегда означает, что ты действительно в этом повинен.



Ну так вот, жил некогда в Риме монах, звали его Фра Серафико. В миру он был из князей Монте Корвино[46], но примерно в том же возрасте, что и Кола, изумил окружающих, отказавшись от титула, богатств и поместья и подавшись в сыновья Сан-Франческо[47]. Фратричелли в этом ордене никак не могли взять

в толк, зачем молодому человеку отказываться вот так от всех своих привилегий ради бритой головы и босоногой нищенской жизни. Фра Серафико же – при том, что намерения у него были самые лучшие – хорошего впечатления на остальную братию не произвел, потому что сильно отличался от них манерами. Без платочка в кармане он чувствовал себя совершенно несчастным. Так что настоятели далеко не сразу убедились в истинности его призвания, он же исполнял все свои обязанности с усердием и прилежанием, но чувствовал такую робость – от того, что все вокруг было так странно – что послушники прозвали его Немым[48].



Так оно и продолжалось, пока не закончилось его послушничество и он не облачился в рясу и не принес обет.

Через день после этого Настоятель, чтобы посильнее его унизить, приказал ему подготовить проповедь и прочитать ее в тот же вечер перед всей общиной. Фра Серафико молча выслушал приказ, поцеловал землю у ног Фра Гвардиано и удалился к себе в келью, а когда настал вечер, поднялся за кафедру.

И тут, сэр, произошла любопытная вещь: Фра Серафико читал свою проповедь, и пока он ее читал, лица у братьев разгорелись от изумления, а у Фра Гвардиано к концу проповеди глаза чуть не вылезли из орбит. Когда он кончил, воцарилась тишина, братья же переглядывались и кивали. Казалось, они сами то-

го не зная оказали гостеприимство ангелу[49], ведь этот Немой, как они его звали, оказался настоящим Златоустом. И братья несказанно обрадовались, потому что хоть все они и были мужами добрыми и очень святыми, настоящего проповедника среди них тогда не было, а они прекрасно понимали, что это стыд и позор, когда в ордене, который только и должен, что проповедовать, нет человека, умеющего это делать, и вот, наконец, обнаружился выход из затруднения: «Определенно, – сказали они, – этот Серафико говорит словами самого Сан-Паоло, и язык у него ангельский». И после этого он каждый день вызывал *фервори-ни*[*] в монастырской церкви, пока слава о нем не распространилась по всему городу и Папа Сильвио[50] не назначил его, наконец, проповедовать в Великий пост в церкви Сан-Карло аль Корсо[51].



Вы, конечно же, сэр, прекрасно знаете, что дьяволу всегда противно, если дела Господни идут легко, как вода из открытого крана, и Вам также известно, что дьявол только и ждет, как бы расстроить добрые дела, когда они, казалось бы, достигли своего расцвета. Так что он отправился к одному иезуитишке по имени Тонто Папагалло[52] – и не мне вам, конечно, говорить, что иезуитов уж никак не назовешь лучшими друзьями францисканцев – и внушил ему злую мысль, что не-

* Fervorini – приливы любви и энтузиазма (*ит.*).

гоже иезуитам уступить францисканцам в искусстве проповеди, а потому неплохо было бы поймать Фра Серафико на какой-нибудь ереси. Так вышло, что Падре Тонто медитация в то утро не удалась[53], потому что он позволил глазам своим задержаться на каменных ангелах, сидевших, свесивши прекрасные свои ноги, над арками вокруг всей абсиды, и мысли
96 его отвлеклись на все эти штуки, отчего любой хороший священник бежал бы как от дьявола, явись он ему собственной персоной. Так что душа его была плодородной пашней, и стоило дьяволу явиться со своим предложением, как семя тут же проросло, а к утру росток этот уже цвел полным цветом, потому что Падре Тонто направился в церковь Сан-Карло послушать великого проповедника; и когда он увидел огромное множество людей, внимавших золотым словам с такой напряженностью, что если б случилось в тот момент землетрясение, ни один, я уверен, даже бы не моргнул; когда услышал вздохи, исторгнутые из груди грешников, и увидел слезы, текущие по щекам женщин, то позавидовал способностям Фра Серафико, и стал слушать проповедь, чтобы поймать его на ереси. Пока он оглядывался по сторонам, он, конечно же, не внимал золотым словам проповедника, и первое предложение, долетевшее до его ушей, когда он и в самом деле стал прислушиваться, было такое: «Не увенчивается, если незаконно будет подвизаться».

Падре Тонто вскочил и выбежал из церкви. Он был доволен, потому что сразу же услышал ересь. «Не увенчивается, надо думать, короной славы, которой коронуются навеки святые на небесах, – сказал он, – если незаконно будет подвизаться – то есть, скажем, как мученики в Колизее[54]. Тпру-у-у, дорогой Серафико! А как же тогда быть со святыми епископами, исповедниками, непорочными девами, кающимися грешниками и вдовами, которых Святая Церковь приобщила к лику святых? Они ведь не были мучениками, не сражались со зверями, как Сан-Паоло» (места, сэр, точно назвать не могу[55]). «Если бы я был Папой, Серафиконе мио*, я бы завтра же утром сжег тело твое на Кампо деи Фиори[56], а душа твоя отправилась бы гореть в ад на веки вечные». И с этими словами на устах (и другими, весьма похожими) он побежал в Сант-Уффицио[57], где и приложил все свое усердие к нечестью.



А у Падре Тонто была в Риме прекрасная репутация, человек он был необычайно уважаемый. К тому же обвинение его представлялось весьма обоснованным. Так что за Фра Серафико послали и спросили: «Говорил ли ты в своей проповеди в церкви Сан-Карло аль Корсо во второй великопостный понедельник, что не увенчивается никто, если незаконно будет подвизаться?» И Фра Серафико ответил, что спрашивавший, а это был не кто

---

* Seraficone mio – Серафиконище мой (*ит.*).

иной, как сам Великий Инквизитор, говорил как по книге с большими буквами и серебряными застежками, потому что нет никаких сомнений, что именно эти слова он и произнес. Великий Инквизитор отметил, что исповедаться в грехе – благо для души и указал Фра Серафико на страшную ересь, в коей тот был повинен, поскольку произнес слова, которые, если вообще что-то значат, могут значить только одно: *невозможно попасть на небо, не приняв мученичества*. Он сказал Фра Серафико, что раз уж тот проповедовал эту ересь всему Риму, нужно будет исправить дело прямо на месте преступления, иначе тело его сожгут в ближайший же праздник на Кампо деи Фиори, чтобы искупить грех и заодно преподнести урок тем, кто чувствует в себе призвание подобно ему проповедовать ересь. И Фра Серафико ответил, что хотел бы жить и умереть добрым и послушным сыном Святой Матери-Церкви и во всем следовать ее суждению, поэтому он с радостью публично покается в ереси в любое время и в любом месте, какое его высокопреосвященство, руководствуясь мудростью своей, изволит ему назначить.



На следующий день был выпущен специальный манифест, призывающий римлян в церковь Сан-Карло аль Корсо присутствовать при позоре и бесчестье Фра Серафико; а поскольку человек он был прославленный, в церкви собралась вся городская знать и самые заслуженные люди. Папа Сильвио воссе-

дал на троне, по правую руку от него сидел князь Колонна, а по левую – князь Орсини[58]. Собрались пятьдесят кардиналов в алых мантиях, десятки пурпурно-зеленых епископов[59], серые братья, братья белые и черные[60], сотни монахов, тьма князей и простолюдинов. Когда они все расселись, появился Фра Серафико – меж двух служителей Сант-Уффицио с закрытыми, как им полагается, лицами; сначала он пал ниц пред Маэстá в дарохранительнице и у ног папы Сильвио, затем поклонился в пояс священной коллегии[61] и прелатам, а перед остальными склонил голову; тогда только подвели его к кафедре, с которой он проповедовал свою ересь. Там он начал свою речь такими словами:



– Святейший отец, ваши преосвященства и ваши преподобия, преподобные мои братья, светлейшие князья, дорогие дети мои во Христе. Сегодня я предстал перед вами по обвинению в гнусной, чудовищной ереси, которую я проповедовал с этой кафедры в первый великопостный понедельник. Ересь эта выражается словами «Не увенчивается, если незаконно будет подвизаться». Признаю открыто и вслух заявляю перед вами, что я действительно, на самом деле произнес эти самые слова. Но прежде чем отречься от ереси, в них содержащейся, и слезно раскаяться в злодеянии, мной совершенном, молю вас, возлюбленные дети мои во Христе, светлейшие князья, преподобные мои братья, ваши преосвященства

и преподобия, и припадаю к ногам Вашим, святейший отец, с просьбой дать мне всего несколько минут, чтобы я поведал о видении, посетившем меня во сне этой ночью, кою я провел, во благо души моей, в нежнейшем лоне Сант-Уффицио.

Лицо Фра Серафико, пока он все это говорил, сияло такой неземной красотой, манеры
100 его были столь изящны, а в золотом его голосе слышалась такая чарующая музыка, что папа Сильвио, перекрестившись, удовлетворил его просьбу. И брат продолжил:

– Приснилось мне, что я стою у барьера пред Вечным Судией, и что некий иезуит по имени Падре Тонто Папагалло обвинил меня, будто я в первый великопостный понедельник проповедовал ересь с кафедры церкви Сан-Карло аль Корсо, и ересь эта заключалась в словах: «Не увенчивается, если незаконно будет подвизаться». И пока я стоял в ожидании вечного суда, к барьеру явился сам Беато Падре Франческо[62] и встал рядом со мной. Судия дел человеческих бросил на меня взгляд, преисполненный гнева и ярости, и спросил, сознаюсь ли я в своем преступлении; и я, жалкий человек, не мог не признать в присутствии Того, Кому все на свете известно, даже наисокровеннейшие сердечные тайны, что, конечно же, так оно есть. Тогда Падре Этерно, Который хоть и нагоняет на грешников такой страх, что даже представить себе невозможно, но справедливость Которого столь прозрач-

на, остра и прямолинейна, что по сравнению с ней даже хрусталь земной покажется мутным, как грязь, алмаз – тупым, как гранит, а кратчайшее расстояние между двумя точками – перекрученным, как змеиный хвост, – так вот этот честный Судия спросил меня – меня, который есмь лишь червь земной, могу ли я сказать что-либо в свое оправдание.

И я, охваченный с ног до головы смущением из-за многочисленных грехов моих, ответил: «О Клементиссимо Синьор Иддио*, преступление свое я признал, а в оправдание могу только сказать, что когда готовил проповедь, взял эти слова из сочинений Сан-Грегорио[63]». 101

Судия дел человеческих приказал моему ангелу все это записать, а меня соизволил спросить, могу ли я сказать, в каком из сочинений Сан-Грегорио можно обнаружить эту ересь. «О Падре Челесте Иддио†, – отвечал я. – Ересь эта обнаруживается в 37-м Наставлении Сан-Грегорио на 14-ю главу Евангелия Сан-Луки». Тут я закрыл лицо руками и стал ждать страшного приговора, Беато Падре Франческо гладил меня в утешение по плечу, сияя своими святыми стигматами, а Падре Этерно, мягко обращаясь к Суду Небесному, сказал: «Дети мои, этого братца обвиняют в проповеди ереси, но ересь эта, как он говорит, по-

* O Clementissimo Signor Iddio – О снисходительнейший Господь (*ит.*).

† O Padre Celeste Iddio – О Отец Небесный (*ит.*).

черпнута из сочинений Сан-Грегорио. В таком случае, как вы понимаете, еретиком выходит не этот братец, а Сан-Грегорио, который пусть поэтому изволит предстать перед Судом, ибо мы намерены расследовать это дело до самого конца». И тут Ангел-хранитель забрал Сан-Грегорио, сидевшего на троне среди Учителей Церкви[64], принес его к барьеру и по-

ставил рядом со мной и Беато Сан-Франческо, который прошептал мне на ухо: «Не унывай, братец, и надейся на лучшее!» А Падре Этерно сказал: «Сан-Грегорио, этот братец предстал пред Нашим судом, обвиненный в том, что в первый великопостный понедельник проповедовал ересь в церкви Сан-Карло аль Корсо, и ересь эта заключалась в следующих словах: «Не увенчивается, если незаконно будет подвизаться». Мы допросили его, и он утверждает, что взял эти слова из написанного тобой 37-го Наставления на 14-ю главу Евангелия Сан-Луки. Мы требуем поэтому, чтобы ты сказал, во-первых, признаешь ли, что написал эти слова, и, во-вторых, если ты их действительно написал, что можешь предложить в свое оправдание?» И Сан-Грегорио открыл книгу своих сочинений, которую он, конечно же, всегда носит с собой, и стал с тревогой листать. Минуту спустя он воззрился на Бога с улыбкой и сказал: «О Дио, Падре делле мизерикордиа*, наш братец прав, ибо я нашел это мес-

* O Dio, Padre delle misericordie – О Боже, отец всемилосердный (*ит.*).

то, и когда я его прочитаю, ты найдешь ответ на оба вопроса, которые изволил передо мной поставить». И Сан-Грегорио прочитал из сочинения своего следующие слова: «Но великой награды не удостоиться иначе, чем через великие труды, поэтому лучший из проповедников, Сан-Паоло, и говорит: «Не увенчивается, если незаконно будет подвизаться». Величие награды, следовательно, может доставлять усладу для ума, однако не отменяет обязанности за нее бороться». – «Хм-м-м, – сказал Падре Этерно, – это становится интересным; ибо похоже, дети мои, что братец почерпнул ересь у Сан-Грегорио, а Сан-Грегорио, в свою очередь, взял ее у Сан-Паоло, на которого за нее, судя по всему, и ложится ответственность. Зовите Сан-Паоло».



И семь архангелов затрубили в трубы и призвали Сан-Паоло, заседавшего в это время в Апостольской Коллегии[65], и когда тот явился в Суд, Ангел-хранитель подвел его к барьеру, где он и встал рядом с Сан-Грегорио (с тем самым, сэр, что обратил Англию в христианство[66], придумал хорал[67] и видел Сан-Микеле Арканджело на Моле[68]), с Беато Падре Франческо и со мной, грешником. «Значит так, Сан-Паоло, – сказал Падре Этерно. – Вот этого серого братца обвинили, что он проповедовал ересь в первый великопостный понедельник в церкви Сан-Карло аль Корсо, и ересь эта заключалась в словах «Не увенчивается, если незаконно будет подвизаться». Он же сообщил

Нам, что взял эти слова из 37-го Наставления на 14-ю главу Евангелия Сан-Луки, сочиненного Сан-Грегорио. Мы допросили Сан-Грегорио, и он указал Нам, что действительно употребил именно эти слова, как и сказал Наш братец; Сан-Грегорио, однако, утверждает, что это не его слова, а твои. Суд поэтому желал бы знать, правду ли говорит Сан-Грегорио». И тогда Ангел-хранитель вручил Сан-Паоло книгу, в которой содержались все сочиненные им послания, и освежив память, великий апостол ответил: «О Принчипио ди о́ни ко́за*, нет сомнений, что братец и Сан-Грегорио говорят правду, ибо в моем втором послании к Сан-Тимотео, глава 2, стих 5, обнаруживаю следующие слова: «Если же кто и подвизается, не увенчивается, если незаконно будет подвизаться». «Что ж, – сказал Падре Этерно. – Не возмутительно ли, что ты, Сан-Паоло, вот так легко распространяешь ереси, вводя в заблуждение людей всех времен! Сан-Грегорио, положившись на твой авторитет, проповедует ересь в свой век, а тысячу лет спустя наш братец, невинно полагая, что авторитет столь возвышенных людей, как Апостол Язычников и Апостол Англии, непререкаем, вновь проповедует ту же ересь. Видишь теперь, что нельзя знать, к чему приведет раз сказанная ложь». – «Но дослушайте меня, – заявил Сан-Паоло, человек очень храбрый, – потому что я осмелюсь доло-



* O Principio di ogni cosa – О Первопричина всего! (*ит.*).

жить Ла Суа Маэстá, что написанное мной второе послание к Сан-Тимотео Ваша земная Церковь включила с список Канонических книг, а это означает, что когда я писал сие послание, на меня снизошла Третья Ипостась Маэстá Коэтерна делл'Адорабиле Тринитá* и я находился поэтому под божественной защитой от проповеди ошибки в какой бы то ни было форме!» – «Ну разумеется, – ответил Падре Этерно. – Слова, сказанные тобой, Сан-Паоло, во втором послании к Сан-Тимотео, сказаны не человеком, но Самим Богом, и дело, стало быть, в том, что этот наш братец, взявший эти слова у Сан-Грегорио, взявшего их у тебя, который писал их по божественному наитию, может быть повинен в ереси, только если ошибся сам Бог. И по милости какого негодяя, – продолжал с негодованием Падре Этерно, – хотелось бы знать, мы вынуждены тратить Свое Время на это нелепое и лишенное всяких оснований обвинение против Нашего братца?» Кто-то сказал, что произошло все это стараниями иезуита по имени Падре Тонто Папагалло, на что Падре Этерно фыркнул и спросил: «Иезуит? И кто же это такой, скажите на милость?»



Тогда Мадонна шепнула, что иезуиты – сыновья Сант-Игнацио Лойолы. «И где же этот Сант-Игнацио Лойола?» – спросил Падре Этерно. А Сант-Игнацио, видевший, к чему идет

* Maestà Coeterna dell'Adorabile Trinità – Ее Величества Равновечной Всепочитаемой Святой Троицы (*ит.*).

дело, и какую низкую комедию ломает его сын, спрятался в кустах, сделав вид, что читает свои молитвы. Вскоре его, однако, нашли и ввели в Суд, где Падре Этерно спросил, о чем тот думает, когда позволяет своим духовным детям так себя вести. И Сант-Игнацио тяжко вздохнул и сказал: «О Потенце Инфинита*, всю жизнь я пытался научить их не лезть

в чужие дела, но они меня так и не послушали».

Такой мне приснился сон, Святейший Отец, ваши преосвященства и преподобия, преподобные мои братья, светлейшие князья и возлюбленные дети мои во Христе; и раз уж вы так любезно все это выслушали, не буду далее откладывать публичное мое покаяние в ереси, которую я, как говорит обвинение, проповедовал в первый великопостный понедельник в церкви Сан-Карло аль Корсо.

Но папа Сильвио поднялся со своего трона, а вслед за ним поднялись и кардиналы, епископы, князья и простолюдины, и все они громогласно воскликнули: «Evviva, evviva, Bocca d'Oro, evviva, evviva»†.

---

* O Potenza Infinita – О Всемогущество! (*ит.*).

† Да здравствует Златоуст, да здравствует (*ит.*).

## О том, как иные христиане любят друг друга

– Отличная история, Тото, – сказал я. Хотелось бы знать, откуда ты ее знаешь. 

– Ее рассказал мне, сэр, капуцин Фра Леоне, – ответил он. – Мне не то чтобы не хотелось, чтобы вы думали, будто капуцины[69] и францисканцы – одно и то же, вовсе нет. Вы, конечно, и сами все понимаете, но то, что они с нахальством бронзы выдают себя за францисканцев[70], потому что столетья прошли после того, как Сан-Франческо основал свой Орден Меньших Братьев, а о капуцинах никто и не слыхивал. Да и орден им сделали только из-за суетного человека Симона Какого-тотам[71], который об одежде думал больше, чем это полезно для души, и считал, что рукава, которые вполне годились Сан-Франческо, и круглый капюшон, какой носил этот небесный святой, его понятиям красоты не соответствуют, по каковому поводу придумал себе коричневое облачение вместо серого с прямыми рукавами без карманов, не скрывавшими очертаний его рук, и новый капюшон – не круглый, а заостренный, как тот участок кожи у меня между лопатками. А поскольку падких до все-

го нового всегда более чем достаточно, он собрал столько последователей, желавших одеваться, как он, что Падре Этерно предпочел позволить им эти вольности, чтобы не превращать их всех в противников Святой Матери Церкви, заставляя повиноваться тому, чему они не желали повиноваться; дело-то ведь яйца выеденного не стоило.

108 Я сказал, что все это мне известно, но что я, тем не менее, не верю, будто монахи – францисканцы, шарлатаны-капуцины или даже иезуиты – могут быть настолько завистливыми и подозрительными, как это следует из его рассказа о Фра Серафико.

– Сейчас я вам докажу, – заявил Тото, – как сильно вы ошибаетесь. Позволю себе заметить, что в каждом ордене есть два рода людей – святые и грешники, и святые, конечно же, всегда любят друг друга, как Франческо и Доменико, но грешники, отдавшие себя на растерзание демону ада, изгоняющему всякую любовь из сердец своих невольников и наполняющему их неугасимым пламенем ненависти, – грешники, напротив, ненавидят друг друга ненавистью смертельной, как яд гадюки; они только тем и заняты, что измышляют, как бы им опорочить своих врагов, грешников из других орденов. Расскажу вам правдивую историю, которой сам был свидетель, как капуцины – только не спрашивайте меня, где именно находится их монастырь, – устроили так, чтобы навлечь страшный

позор на иезуитов, живущих с ними по соседству.

Так вот, прямо за монастырем капуцинов, о котором идет речь, стоял домик, где я жил с отцом, матерью, братьями и сестрами; место это очень пустынное. В некотором отдалении – на расстоянии примерно пяти «Отче наш», пяти «Аве Мария» и пяти «Слава в вышних Богу» – стоял еще один дом, и оттуда были видны три или четыре усадьбы, не больше, потому что, как я сказал, место очень пустынное. Милях в шести оттуда в горах располагалась, однако, большая коллегия иезуитов, и если кто-нибудь из иезуитов умирал, то его по обычаю хоронили на церковном погосте в монастыре капуцинов. И вот в этом самом доме поселился человек – еще не старый, но уже и не молодой, а как раз посередине, и поскольку ему было очень одиноко, он оказывал внимание всем женщинам, приезжавшим в знаменитый монастырь капуцинов и проходившим мимо его дома, а наше дело было угадать, на которой из них он все-таки женится. Была среди них одна, на которой, как считали эти капуцины, ему следовало бы жениться, но она жила далеко, в большом городе; и тогда один из братьев написал ее приходскому священнику и спросил, как поступить, на что священник ответил, что да, ее следует как можно скорее выдать замуж; и вскоре после этого почтенный господин женился на ней и привез ее к себе в дом в пустынном месте, о котором я вам рас-

сказываю. Некоторое время они жили там тихо-мирно, но тут почтенному господину понадобилось на несколько недель отлучиться по делам. Он уехал, а жена осталась, и в доме никого больше не было, кроме служанки.

Как-то глубокой ночью в дверь домика, где я жил с отцом, матерью, сестрами и братьями, постучали, и я услышал этот стук, потому
110 что собирался в ту ночь полакомиться фруктами в саду у капуцинов. Я спустился в одной рубашке, а поскольку об этом никто не должен был знать, я скатал рубашку и оставил ее под скамейкой на крыльце, сейчас объясню, почему; у меня было два соображения: во-первых, ночь была очень дождливая, и если бы мать утром обнаружила, что рубашка у меня мокрая, она бы догадалась, что ночью я не спал, а проказничал, рассказала бы все отцу, и на завтрак я бы ничего, кроме палки, не получил; а во-вторых, я подумал, что если дьявольское беспокойство вдруг заставит какого-нибудь капуцина выглянуть из окна, то при виде голого мальчишки, бегающего по саду или в церковном дворе, он решит, что это просто бедная душа сбежала из чистилища, и прочитав De Profundis[72], снова уляжется спать[73]. Я как раз крался по двору голым под теплым ливнем, когда в нашу дверь постучали, и я спрятался за дерево и стал ждать. Наверху в комнате отца открылось окно, он спросил, в чем дело, и голос служанки почтенного господина ответил, что синьоре Пуччи вне-

запно стало плохо, поэтому не может ли моя мать, как добрая христианка, прийти ей на помощь. Голос у служанки был очень хриплый, я же решил, что стоя за деревом больше ничего интересного не услышу, поэтому убежал к капуцинам и вдоволь наелся там персиков. Вернувшись домой, я вытерся насухо тряпкой, вынул рубашку из-под скамейки на крыльце и пошел спать. Утром, когда я проснулся, кормить нас было некому, потому что отец уже ушел на работу, а мать помогала жене почтенного господина, так что я был доволен, что ночью неплохо наелся. Матери не было весь день, всю следующую ночь и еще один день; не стоит, наверное, и говорить, что я стал думать, что там происходят странные вещи, о которых мне следовало бы знать; я стал смотреть: постою там, подожду здесь, тут спрошу об одном, там о другом, а ночью, когда отец уложил меня спать, я поднялся, оставил рубашку на крыльце, как раньше, но уже не потому, что шел дождь, а потому что мне так нравилось, плюс второе соображение, и стал слоняться – голый, счастливый, свободный (здесь он вскинул руки и совершенно неописуемым образом изогнулся всем телом), прячась в кустах и за деревьями, между домом моего отца, домом почтенного господина и церковным двором в капуцинском монастыре; той ночью я увидел много любопытного; и из всего этого, а также из ответов на разные мои вопросы и всякого другого, о чем я либо знал, либо ви-

дел собственными глазами, мне удалось выяснить, что там была за тайна.

Тут нужно вам рассказать, что неделей раньше на церковном погосте в монастыре похоронили священника из коллегии иезуитов, о которой я вам говорил; звали его Падре Гульельмо Сиретто, и супруга почтенного господина питала к этому священнику глубо-
112 чайшее уважение и сделала его своим исповедником. Он и в самом деле был святым, перед которым все преклонялись, потому что *Синьор Иддио* дал ему прожить шестьдесят семь лет, дабы он мог преумножить свершенные в течение этой долгой жизни добрые дела. Это обстоятельство следует вам запомнить, потому что теперь я перехожу к другой части истории.

После того, как служанка почтенного господина сообщила моему отцу, что ее хозяйка больна, моя мать встала и без промедления отправилась в дом к страждущей. Там она обнаружила, что синьора Пуччи лежит на полу в страшной боли, и поскольку сама была женщина, с первого взгляда поняла, в чем дело.

Служанка же почтенного господина, которая привела мою мать, была пьяна и потому бесполезна. Мать моя, лучшая из женщин, каких только видел свет, устроила синьору Пуччи как можно удобнее в ее положении, отправилась в конюшню, запрягла в повозку лошадь, съездила за три мили в ближайший город и к рассвету привезла оттуда доктора.

Больную уложили в кровать, и доктор сказал моей матери, что делать в его отсутствие: он-де должен вернуться домой, чтобы отдохнуть, потому что утром у него пациенты, но после обеда он снова заглянет, и тогда, быть может, что-нибудь уже произойдет. Моя мать сказала ему, что ни при каких условиях не останется одна в доме с синьорой Пуччи, потому что почувствовала, что произойдет нечто невероятное. Доктор ответил, что он не останется, потому что не может, но что если мать моя не поможет больной, та может умереть. Мать мою, однако, ничто не могло убедить, и в конце концов она одержала верх: доктор остался, они просидели всю ночь у кровати больной, и на следующее утро в полдень в этом доме на свет появился ребенок; синьора Пуччи была так потрясена, что и в самом деле чуть не умерла, что же до ребенка, то он испустил дух, не проведя в этом мире и получаса.



Тогда больная дошла до полного безумия и стала кричать в бреду, что нельзя допустить, чтобы почтенный господин, ее муж, узнал, что в доме появился ребенок, поэтому моя мать отправилась к *фра гвардиано* этих капуцинов и рассказала ему все, что знала: как она сама крестила ребенка и нарекла его Анджело, когда поняла, что он вот-вот умрет, и что поэтому его нужно похоронить на церковном погосте; и как его мать, синьора Пуччи, потребовала, чтобы все это было произведено в тайне и что положить его следует в могилу

Падре Гульельмо, о котором я вам уже рассказал и который был так свят, что любой счел бы за счастье лежать с ним в одной могиле. *Фра гвардиано* ответил, что нет ничего проще, и наказал моей матери положить мертвого младенца в коробку и принести ее в полночь под плащом к могиле Падре Гульельмо. Как ей сказали, так она и сделала: уложила

мертвого младенца Анджело в деревянную коробку из-под риса, вырезала на крышке крест, чтобы Сан-Микеле Арканджело знал, что внутри христианин, и в полночь принесла коробку к могиле Падре Гульельмо. И конечно же, нет нужды говорить вам, что в кроне кедра прямо у нее над головой прятался голый мальчик: он лежал лицом вниз на толстой ветке, обняв ее руками и ногами, и глядел прямо в могилу. Тут из монастыря вышли Фра Джованни, Фра Лоренцо, Фра Себастьяно и Фра Гульельмо. И если бы я не помнил все это время, что голый мальчишка – не из тех вещей, без которых не обойтись на полуночных похоронах, я бы рассмеялся, потому что братья, вывалившие из монастыря без свечей, то и дело падали, натыкаясь на могильные кресты, и говорили вещи, какие в молитвах обычно не говорят. Они принесли две лопаты и ведро святой воды; добравшись до могилы отца-иезуита, Фра Себастьяно и Фра Гульельмо вырыли яму фута в три. Мать моя достала из-под плаща коробку и отдала им, они опустили ее в землю и, побрызгав святой водой, засыпали яму и по-

старались, насколько это было возможно в сумраке, придать могиле прежний вид; после чего, так и не сказав вслух ни слова, вернулись в монастырь.

Мать моя пошла в дом синьоры Пуччи, и голый мальчишка последовал за ней. Еще с часок я бегал туда-сюда от дома почтенного господина к монастырю, но обнаружив, что ничего не происходит, отправился спать.



К вечеру этого дня мать вернулась домой, сказала, что доктор нашел для синьоры Пуччи сиделку и что муж ее, почтенный господин, тоже скоро вернется, так что делать ей там больше нечего. Потом она свалилась в изнеможении, потому что устала до смерти, но отдохнув несколько дней, в течение которых мы с сестрами и братьями следили за порядком в доме, поправилась.

Вот и вся история, сэр.

Думаю, вам понятно, что этими капуцинами, если они, конечно, не самые круглые идиоты на земле, хотя, вполне вероятно, так оно и есть, двигала зависть к отцам-иезуитам – оттого они и составили заговор, из которого когда-нибудь может произойти большой скандал. Нужно понимать, что с рождением ребенка Анджело в семье почтенного господина они ничего не могли поделать, и я их за это не виню. Можно понять, что когда младенец Анджело родился и умер христианином, им ничего не оставалось, как похоронить его у себя на погосте, причем похоронить тайно, чтобы

уберечь синьору Пуччи от позора; но нужно понять и то, что на этом погосте были многие ярды пустой земли, на которых покойному христианскому младенцу Анджело можно было тайно устроить отдельную могилу, и с их стороны было последней гнусностью подложить этого младенца в могилу к иезуиту, потому что если ее откроют, а это может
116 случиться в любой момент – Бог знает, когда и почему, но это весьма и весьма вероятно – сыновья Сант-Игнацио Лойолы будут покрыты большим позором и получат на свою репутацию несмываемое пятно.

Я сказал, что прекрасно это понимаю.

Так заканчивается шестая из сорока девяти Историй, Которые Мне Рассказал Тото[74], где содержатся повествования о делах высоких и величественных, как то: о благородной армии мучеников, обо всей небесной братии и прочих разнообразных легендах, историях и деяниях, упомянутых по ходу дела. К написанию трудов этих я приступил по завету и просьбе особого моего покровителя Джона Лейна[75] и закончил их в Corbicastra in Aria* в праздник Святого благоразумного разбойника Дисмаса[76] в год от рождества Господа Нашего M VIIJC XC VIIJ[77] и на LXI году правления Королевы Виктории. Писано Бароном Корво, отпечатано для Джона Лейна

---

* Воздушном Замке Корво (*лат.*).

в издательстве Кембриджского университета, Масс., компанией Джон Уилсон и Сын в августе M VIIJC XC VIIJ.

# ТРИ ВЕНЕЦИАНСКИЕ ИСТОРИИ[78]

## Могильник на севере лагуны
(Νεκύων ἀμενενά κάρηνα[79])

Доводилось ли вам когда-нибудь видеть, как из пустых глазниц черепов выползают змеи? Разумеется, не на изображениях преисподней, рожденных церковной фантазией, как тот же «Страшный Суд» – восхитительная мозаика в базилике на острове Торчелло[80], а в действительности? Я видел. Зрелище омерзительное, но вместе с тем торжественное. 

Могу только догадываться, чего на самом деле хотел от меня профессор древнегреческого. Он был из породы людей, которых я, вслед за Аристотелем, называю «фусидулами», то есть рабами по природе – существами, начисто лишенными способности совершить благородное (т. е. свободное) действие или помочь другим, такие действия совершающим[81]. Он был из числа тех отвратительных рыхлых хлюпиков, курносых, рыжих, конопатых, вечно небритых, щетинистых, у которых зубы цвета сенигалльского[82] сыра, а грудная клетка отсутствует напрочь. Речь его была лихорадочным клекотом придушенного Панча со взвизгами и гневным притопыванием на людных пьяццах – когда ему случалось обнаружить,

что он дал уличной проститутке полпенни вместо фартинга[83] или когда над какой-нибудь из его многочисленных поз (эрастианством[84], например) начинали снисходительно, но откровенно смеяться. Я сказал «позы»: в нем, как и во всех преисполненных таинственности выпускниках Кембриджа, и в самом деле не было ничего, кроме позёрства, пока он по-

просту не превращался в дикаря. Однако он был лучшим в мире знатоком греческой археологии. Habet haec res panem[85]. И мозги его время от времени пригождались.

В течение целого месяца мы бороздили лагуну к северу от Венеции на моей баркете. Мы так часто ходили по всем основным каналам – как, впрочем, и по каналам помельче, не отмеченных швартовыми столбами – в Сантеразмо, Трепорти, Маццорбо, Бурано и Торчелло[86], что стали предметом интереса военных властей, которые предостерегли нас от фотографирования фортов. Мы и не собирались фотографировать их форты. Я на самом деле прилагал отчаянные усилия, чтобы дописать «Грезы де Бурга»[87]. Но внимание профессора привлек Байколо, мой второй гондольер – жеманный тигр, прекраснейший венецианский *то́зо* – богатырь, крупнее и сильнее которого и представить себе невозможно. Профессор клялся, что тот – вылитый Агий со статуи Лисиппа в Дельфах[88], и желал анатомически сфотографировать его при свете яркого солнца на фоне беленой стены. Когда

знаешь лагуну, знаешь и то, что такую стену, надежно скрытую от посторонних глаз, найти нелегко. По всем основным каналам снуют пароходы и моторные лодки. Мелкие каналы – вечные прибежища рыбаков. Стены, которые удается обнаружить – чаще всего темно-красные, ими огорожены виноградники со сворой тявкающих щенков и злющих собак. Где бы я ни останавливал баркету, стоило мне склониться к камере, чтобы навести на резкость, как Байколо начинал шептать в ужасе: «*Сьори,* здесь же люди!» и моментально прикрывался своим широким гондольерским поясом. В конце концов я рассвирепел и заорал: «Я не буду работать тайком и украдкой! Давайте найдем подходящее место и вежливо попросим у *парона** позволить нам провести полчаса в уединении за стенами его виноградника». – «О бог мой, нет!» – завизжал фусидол. – «Тогда нам следует уйти в открытую лагуну и там поискать заброшенные развалины», – заключил я и поднялся, чтобы окинуть взглядом просторы лагуны, сиявшие в золотом свете дня.



Мы шли по широкому каналу, который вытекает из заболоченной мели на севере Торчелло и, коснувшись Бурано, выводит к Трепорти, и где-то совсем вдали я углядел слепящую яркую полосу белого, парившую над собственным отражением в покачивавшейся синеве

* Хозяина (*ит.*).

лагунных вод. Похоже, это был обнесенный стеной остров, притом совершенно уединенный. «Вон там ваша беленая стена», – заявил я. Но было уже четыре часа вечера, а нам еще предстояло пройти на веслах отделявшие нас от Венеции семь миль, так что мы отложили поездку на следующий день.

После этого мы четыре раза в разные дни

предпринимали попытки добраться до этой стены. Она неизменно от нас ускользала. Мелкие каналы, которые, казалось, вели к ней напрямик, всегда заканчивались тупиками. Каналы покрупнее водили кругами вокруг нее. Однажды, когда прилив превратил лагуну в громадное сияющее зеркало, мы отважились выйти из каналов и пройти прямо по мелководью. С самыми прискорбными последствиями: восемь часов, проведенные в грязной трясине в ожидании прилива, превратили фусидола в мокрого маньяка с бессвязными речами и заставили мою любимую Waterman Fountain Pen (вопреки бахвальству рекламных объявлений) пролиться чернильными слезами прямо на прекрасную страницу моей рукописи. Не стоит и говорить, что все это время мы исступленно, до полного изнеможения ругались. Мою раздраженность легко объяснить. В эти славные дни, выпавшие на конец августа, я предпочел бы просто сидеть в своей баркете, которую мои гребцы направляли бы, куда мне вздумается, и писать свою книгу – пока мне самому не захочется по-

грести, искупаться, поесть или вздремнуть – и так далее, и тому подобное, снова и снова. Фусидол вполне мог бы удовлетвориться тем, чтобы, сидя рядом со мной, держать корректуру своих греческих диалектологических гранок и в остальном поступать, как я. Ничто не мешало ему фотографировать, сколько душе угодно. Он знал, как это делается. Оба моих гондольера не имели ничего против. Оба могли бы позировать Джамбеллини или Карпаччо[89] – и я готов даже поклясться, что Байколо в одной из прежних своих жизней и вправду им позировал, в чем вы сами можете убедиться, заглянув в любое время в Академию изящных искусств, если мне не верите. Так нет же, этот бессмысленный Фусидол сам никогда не знал, чего ему хочется, и другим не давал подсказать – и сам со своей работой не справлялся, и другим не давал сделать эту работу за него. Так что известное мое терпение внезапно лопнуло: последовали громкие вопли, обильно приукрашенные едкими замечаниями и градом неприятных вопросов. Nemo nostrum solide natus est[90].



О да, дома мы помирились – после нескольких часов ночных рыданий, позерства и жестикулирования на пороге моей спальни, и через два дня я мирно отправил его в Англию восьмичасовым поездом. (Боже, как же он меня утомил!) Из-за обилия багажа мы вместе поехали на станцию в наемной *поппе*[91] – просто чтобы показать, что не таим друг на друга

зла. Моя баркета ждала меня; Байколо и Каичо ликовали, готовые к проделкам. Покончив с рыжим профессором, я заявил им многозначительно: «Пройдем, прошу вас, в наше удовольствие кратчайшим путем боковыми каналами в сторону Рио дель Палаццо Реале: у меня есть дело на Вознесенских рядах[92]». – «Нет ничего проще», – отвечали Байколо и Каичо.



В Венеции, насколько мне известно, скорость не ограничена, если ты не мешаешь другим судам. Можно плестись, нестись, скользить, вежливо и на безопасном расстоянии пропуская вперед всех вышестоящих на гондолах и требуя прохода от всех судов рангом ниже баркеты. Но мою баркету о трех веслах еще никому не удалось обогнать – даже арапчонку Герцогини Мадридской на моторном баркасе «Ондарроа»[93].

Онгания[94], книготорговец на Вознесенских рядах, дал мне (в обмен на известную сумму) пару составленных итальянским Адмиралтейством морских карт лагуны – от Чозы[95] на юге до Венеции и от Венеции до большой земли на севере. На второй мне вскоре удалось найти то, что требовалось, – путь по каналам к острову с беленой стеной.

Начинался прилив. Мальчишки засияли от радости, когда я заявил, что мы пойдем туда, где еще никогда не были, и что поездка займет у нас целый день, а то и два.

– Но, Сьор – а как же еда и питье? – вкрадчиво осведомился Байколо, лакомый до роскоши.

Я ответил, что все это, вместе с ночлегом, мы получим на Бурано, и его сомнения погасли во вспыхнувшей, словно солнце, вышедшее из-за туч, ослепительной белозубой улыбке его алых губ и сузившихся зеленовато-голубых глаз; обратив на весло всю силу своих гибких мышц, он вытолкал нашу баркету из мелкой речушки, пройдя под балконом «Бучинторо»[96] в залив Сан-Марко.



Стоял отменный, по-сентябрьски мягкий летний день. Чтобы изобразить его на полотне, вы бы первым делом вытащили банку кобальтовой сини и крепко задумались над возможностями золотисто-желтого кадмия. Все, что не сияло, было голубым: небо напоминало исполинский бирюзовый купол, вода – живой аквамарин, блики – колокольчики, васильки, высаженные прямо в трепещущий животворный свет, а тени на ней были как сапфиры и лазурит. Ах, что за прелесть эти сумрачные, бодрящие каналы – Рио делла Каноника, Рио Санта-Мария Формоза и Сан-Ладзаро дей Мендиканти с развернутым на него Сан-Дзаниполо[97] – с их чистой и прозрачной, тенистой прохладой и внезапными вспышками пламенеющего света! Тут сила мышц и тугих жил, тут мощь богатырской груди венецианца (едва прикрытой ошметками тряпья, обносками и всякой заскорузлой рванью) приводила в движение арестантские баржи, рыбацкие баркасы и шаланды, сухогрузы, шлюпки «Синего креста»[98], ялики с художниками и ком-

мивояжерами, пролетающие (чудовищное кощунство!) перед моей быстроходной баркетой, над которой реет флажок с красным крестом Св. Георгия Английского и кумачовый с золотом стяг – vessillo – местного гребного клуба «Бучинторо». Кое-как миновав Городскую лечебницу и сухие доки «Фасси», мы, наконец, вырываемся на просторы северной лагуны.



Здесь течение было нам в помощь; Сан-Микеле[99] мы оставили справа, а Мурано с его стекольными горнами[100] – слева, и выйдя на открытый простор мимо Дацио[101] и островов Сан-Джакомо-ин-Палюдо и Мадонна-дель-Монте, мы налегли на весла и понеслись, удовольствия ради, наперегонки с теплым пахнущим морем ветром и поднимающимся приливом – пока не подошли к Маццорбо[102].

Здесь я бросил грести и, отложив весло, удалился под тень холстинного навеса на баркете, чтобы изучить по карте дальнейший маршрут.

– Хотелось бы сначала попасть в альберго* на Бурано, – заявил я Байколо.

Он извлек из борта свою уключину, переставил весло в мою, и дальше пошел неторопливо в прозрачном полуденном зное.

Главный канал Бурано битком набит лодками местных обитателей: галантно адресуясь к владельцам преграждавших нам путь судов посредством таких слов, как «черномазый»

---

* Albergo – гостиница, постоялый двор (*ит.*).

или «эй, там!» (которые произносились и воспринимались с невообразимым обоюдным пониманием и учтивостью), мы, благодаря ловкости правившего с кормы Каичо и упорству Байколо, «мутившего воду», стоя на носу баркеты, лихо проскользнули по каналу без единой царапины и пришвартовались у чистенького постоялого двора под громким названием «Альберго ди Рома», то бишь «Отель „Рим“». Здесь мы отобедали пастой с бобами, виноградом с множеством сыров и выпили немного хорошего вина (*бьянко дольче*), потакая склонностям Каичо. Я тут же договорился насчет вечера: сказал, что мы вернемся к ужину и переночуем здесь же: мне понравилось место и его *парон* – хозяин, посетители тоже имели вид артистический и не вызывали особого отвращения.



Мы не мешкая отправились дальше, до прибытия парохода из Венеции, который привозит туристов, чтобы они в течение часа отбивались от наемных приставал Йезурума, навязывающих им свои кружева[103], равно как и от неизбывного надувательства аборигенов, после чего в безумной спешке за двадцать минут осмотрели бы несравненное великолепие двух базилик, высоченную *кампаниле*[104], музеи и Чёртов мост[105] на почти пустынном теперь Торчелло, прародителе Венеции. Мы гребли в золотом великолепии послеполуденного солнца, уходя от Бурано на север плавными изгибами просторного глубокого канала, на ко-

тором не наблюдалось швартовых столбов, и, оставляя Торчелло слева, взяли курс на северо-восток. По всей видимости, слева по курсу мы оставляли и далекий остров с беленой стеной: мальчишки занервничали. Полагаю, я единственный англичанин в Венеции, который никогда, ни при каких условиях не позволяет гондольерам указывать, каким путем
130 лучше идти. По-собачьи упертый Каичо хотел уже было проявить *препотенца*[*], но холодный взгляд агатовых глаз и беспощадный взмах картой заставил его спешно пробормотать: «Все хорошо – все хорошо – хозяин-то он!» (имея в виду меня).

– Давай! – закричал я. – *Преми*[†]*!* – мы резко взяли налево и, пройдя между песчаными отмелями, расцвеченными лимонеумом и морским укропом, вошли в узкий канал, который, после многих изгибов, привел нас к еще одному повороту; за ним мы и оказались в раю – в том виде, в каком он, вероятно, мне обещан, и это всего-то в двух милях от Торчелло.

Мы причалили к берегу у подножия беленой стены. Она оказалась довольно прочной, тянулась метров сто пятьдесят в каждую сторону, возвышаясь на зеленом острове метра на два над уровнем полной воды. За беленой стеной были, судя по всему, сплошные заросли кустарника. Мы воткнули в прибрежный ил

---

* Prepotenza – самоуправство (*ит.*).

† Premi – жми! (*ит.*).

два весла, привязали к ним баркету, подтянув ее к берегу, и высадились для обследования.

Каичо мигом кинулся к стене и забрался на нее, как кот.

– Сьор, здесь, право же, ничего, кроме зелени, нет, – сообщил он сверху.

Я приказал ему спуститься; мы взяли вправо и повернули за угол, продолжая обследовать внешнюю сторону стены. Сверху на дальнем конце этой стены обнаружился на карнизе ржавый крест, а рядом с ним – брешь, через которую можно было проникнуть вовнутрь. Я забрался первым, мальчишки последовали за мной.



Земля за стеной была весьма неровной – я бы даже сказал, бугристой; она поднималась по сравнению с уровнем острова почти что на всю высоту стены в виде огромных, длинных, изогнутых насыпей, прерываемых огромными, длинными, изогнутыми рвами, причем все это было густо покрыто буйными зарослями кустов и трав и представляло собой нечто вроде венецианской версии джунглей. Однако прямо перед тем местом, откуда мы вошли, имелось нечто вроде просвета, жалкое подобие тропинки, остатки заброшенной столетия назад дорожки. Взобравшись на первую насыпь, я зашагал вдоль этой дорожки.

Ступая со всей осторожностью, я вдруг почувствовал, что земля подо мною хрустит, потрескивает и очень странно шуршит. Я оглянулся и бросил взгляд на мальчиков, следовавших за мной: рты у них раскрылись

от изумления, лица были мертвенно-бледными. Я пошел дальше. Поверхность земли, казалось, была рыхлой и густо усеянной обломками, оставшихся от вязанок очень старых, побелевших на солнце палок – палок, некоторые из которых имели на конце шишки и – силы небесные! – были хрупкими и часто переломанными. Я сделал, пожалуй, не более десяти
132 шагов по этой кривой тропе, когда вдруг увидел с высоты оголившийся склон соседней неровной насыпи. Верхний слой земли осыпался или, быть может, его размыло дождем. Я стоял, уставившись на груду наваленных друг на друга целых и сломанных человеческих скелетов – мужских, как я сразу же понял, взглянув на кости таза. *Две длинные черные змеи выскользнули, извиваясь, из глазниц черепов, лежащих прямо у моих ног, и уползли в кусты.*

Что ж, мне выпало совершить непредумышленное открытие, от которого может хватить паралич. Я услыхал, что сзади кто-то сделал резкое, порывистое движение.

– Помолимся за упокой души этих несчастных, всеми позабытых и заброшенных душ. Requiem aeternam dona eis, Domine*, – неожиданно затянул я.

– Et lux perpetua luceat eis†, – набожно откликнулся Байколо.

---

* Покой вечный даруй им, Господи (*лат.*) – первая строка одного из стихов заупокойной католической мессы.

† И вечный свет воссияет им (*лат.*).

– O Mariavirgine![*] – выдохнул Каичо.

Но я не дал им удрать, трусливо поджав хвосты; они шли за мной по пятам, вцепившись друг другу в одежду.

Я продолжил обследование. Углубиться можно было не более чем на тридцать метров; далее призрак какой-никакой, но тропинки полностью терялся в буйных непроницаемых джунглях. Но куда только ни проникал наш взгляд, мы видели те же неровные длинные насыпи, которые от любого прикосновения ноги обнаруживали свое содержимое – они состояли из сотен (по самым скромным оценкам) человеческих останков. А со всех сторон нависала та же ужасающая адская тишина, наполненная жуткими шорохами, и те же неестественно буйные заросли зелени, пустившие корни в человеческом прахе.



Мы возвратились по своим же следам, выбрались наружу и, повернув за угол, пошли вдоль следующей, третьей стены. На дальнем ее конце тоже имелся пролом, впрочем не столь значительный, как предыдущий, и мы воспользовались им для нового вторжения. Здесь мы увидели столько насыпей, столько скорбных громоздящихся друг на друга куч скелетов, столько скалящихся в улыбке раздробленных черепов, столько вымытых дождями, высушенных ветром и выгоревших на солнце бедренных костей и лопаток, сколько я не ви-

---

* Пресвятая Богородице! (*лат.*).

дел за всю свою жизнь в самых страшных снах; они были собраны, накиданы безо всякого разбора, как попало в ужасающие кучи, которые скорбно показывали себя, взывая с упреком к торжественному мерцанию неба, соленому морскому воздуху и слепящему бескрайнему свету.

– Что бы это могло быть? – спросил я, ни к кому не обращаясь, когда мы поспешно выкарабкались наружу и зашагали вдоль четвертой стены, выходящей на узкий канал и простирающиеся за ним на многие мили болота и топи.



– Sior, mi no eo gnente de gnente – сэр, я ничего ни о чем не знаю, – отрезал Каичо безо всякого интереса, демонстрируя истинно венецианское бесстыдство в отношении своего положительного, при всей его перегруженности отрицаниями, невежества.

У четвертого угла я обнаружил еще один ржавый железный крест – такой же, как на втором углу, только этот валялся у подножия стены вместе с обломком карниза, к которому он был припаян свинцом. Конечно, мне захотелось поставить его на место, однако лет, вероятно, за двадцать это место настолько заросло плющом, что мне ничего не оставалось, как поднять священный символ и поставить его на виду прямо на траве – там, куда он упал.

Мы снова оказались у беленой стороны – остальные три были желтовато-красными – и вышли на солнце, приближаясь к месту

нашей высадки. Здесь берег был шире, как будто бы устроили специальную террасу, и я медленно бродил по нему, пытаясь понять, что же я только что увидел. Мне явно предстояло обратиться с расспросами к старейшему и всю жизнь прожившему вблизи этого места автохтону. Затем, к вящему своему недоумению, я внезапно заметил две каменные плиты, врезанные в беленую стену прямо посередине. Судя по выбитой на них геральдике и надписям, они относились к восемнадцатому веку. Одна объявляла все находящееся за четырехугольной стеной кладбищем, а другая превозносила заслуги каких-то сиятельных – Illustrissimi – особ Светлейшей республики[106].



Мы вернулись в баркету. Мальчики мгновенно уснули: один улегся в тени на корме, другой – в носовой части, я же, забравшись под холстинный навес, развернул свои карты и принялся обдумывать это негаданное открытие.

На карте лагуны мой остров-могильник (о котором понятия не имел ни один из англичан, которых я когда-либо встречал в Венеции) со всей определенностью обозначен как Сант-Ариано[107]. Ближайший из находящихся в поле зрения островов располагался в четверти мили в направлении ост-норд-ост, – на нем был виноградник с живописным старым домом и шлюзом, преграждающим путь воде; карта именует его Сантакристина[108]. Мой остров, очевидно, был кладбищем. Об этом со всей яс-

ностью говорили надписи на стене. Но что это за кладбище такое? – заклинал я именем Бога и Святого Фоки, покровителя могильщиков[109]. Ведь жуткая мешанина переломанных человеческих костей, которую я лицезрел, не была погребением – кости были просто навалены поверх могил восемнадцатого века чудовищными беспорядочными грядами. Их единственный саван был соткан за долгие-долгие годы из залетевших сюда по счастливой случайности атомов благодатной пыли, принесенной ветрами небесными (более сострадательными, чем люди). И сквозь все это прорастали кусты и пышно расцветала, никого не стесняясь, сорная трава.



– Как называется заваленный костями остров прямо за Торчелло? – спросил я вечером после обеда у толстого *парона* нашего *альберго* в Бурано.

Он позвал своего *баркожуоло*[*], потому что сам он был из Фриули[110] и поэтому не знал и знать не хотел венецианской лагуны.

– Чо, Бепи, – говорит он ему. – Этот Сьор Инглезе хотел бы знать, как называется заваленный костями остров сразу за Торчелло?

– Он называется, Сьор, Санта-Кристина.

– Да нет же, нет, – застонал я. – Санта-Кристина это следующий остров, который с виноградником.

– Sissiorsì[†], – с важным видом соглашается Бепи.

---

* Barcojuolo – лодочник (*ит.*).

† Так точно, сударь (*ит.*).

– Но тогда как называется остров, заваленный костями? – спрашиваю я снова.

– Тоже Санта-Кристина, тоже, – клятвенно заверяет Бепи.

Я сдержался и не сразу стал рвать на себе волосы – по крайней мере, не в ту же минуту. В чем меня нельзя обвинить, так это в излишней поспешности: на самом деле мои терпение и выдержка, которыми я превосхожу самого Иова, обыкновенно принимают за слабохарактерность и застенчивость. Немыслимо, чтобы два острова, совершенно отделенные друг от друга, носили одно и то же имя. Обуздав ярость, я расстелил на столе карту и показал два острова, один из которых носил имя Сантариано, а другой – Сантакристина. Все, кто был на постоялом дворе – художники, писатели, модели и местные завсегдатаи – чиновники, рыбаки, *синдако**, смаковавшие там свои скромные вечерние дозы спиртного, столпились у моего стола и, тупо уставившись на карту, пустились судачить о чуде, на ней зафиксированном. Никто не знал и никогда не слышал ни о каком Сант-Ариано: оба острова назывались Санта-Кристина, в мою карту закралась ошибка; мой заваленный костями остров (кто-то из них, должно быть, заметил) был заброшенным в незапамятные времена кладбищем, где поселились духи отвратительных сиплых шептунов (bisbigliatori) – прокля-



* Sindaco – мэр (*ит.*).

тое это место всякому доброму христианину следует обходить стороной. Тут кто-то показал пальцами рога, остальные перекрестились.

Но я настаивал, желая знать (per gentilezza*), чьи жалкие кости свалены там с такой жестокостью. Но об этом никто не хотел говорить ни слова. На самом деле я думаю, что они не могли ответить по самой простой причине:

никто из них ни разу даже не попытался дать себе труд и выяснить обстоятельства. Кружево, рыба, любовь (или то, что они называют «любовью»), pajanche (то бишь деньги), pojenta (то бишь еда и питье), да время от времени кинематограф – вот чем постоянно озабочен буранский интеллект. Толпа рассеялась; степенно попрощавшись, люди вернулись к своим напиткам, картам и шашкам.

Минут через двадцать синдако, Сьор Бон, чью учтивость мне хотелось бы отметить особо, подвел ко мне (очень тихо и не без некоторой таинственности) трясущегося, уцелевшего с незапамятной древности рыболова – из носу течет, на глазу бельмо, вместо суставов сплошные шишки, – которого он представил как старого бедолагу с малой толикой сведений. Я тотчас распорядился принести ему поллитра темного терпкого вина и приготовился слушать дурацкие небылицы, которыми здесь неизменно потчуют незнакомцев в порядке гостеприимства.

---

* Бога ради! (*ит.*).

– Сьор, – заговорил он, – перво-наперво тот остров, который Ваше благородие изволили видеть, был общим кладбищем для всех здешних островов к северу от Мурано. Но когда мы устроили кладбище поближе сюда на Маццорбо, то старое забросили, и оно превратилось в обиталище сов и призраков. А когда мы по воле Господа освободили Италию[111], после этого правительство приказало нам пойти на большую землю и очистить поля сражений от трупов этой срамной неметчины, этих пьянчуг и шутов гороховых, и убрать их немедленно с глаз долой, чтобы честным крестьянам на виноградниках *терра фирма*[112] не досаждал их вид и гнилостный дух. И тогда, скажу я вам, из нас набрали целый полк, который год, а то и больше должен был трудиться в поте лица, перевозя их на *бурки, пеате, топо*[113] и прочих разных судах, которые предоставило нам правительство из Венецианского Арсенала. И мы брали этих проклятых *тедéски**, а их были тысячи и тысячи, и все вонючие, и скидывали их на наше заброшенное кладбище – ну и плевались же мы, прости Господи! Но клянусь вам, Сьор, последними негодяями, которые не дали бы им упокоения на освященной земле, нам быть не хотелось!



Всю ночь мне снилось, как длинные черные змеи струились, поблескивая изгибами, из пустых глазниц австрийских черепов. Уф! Они и сейчас у меня перед глазами.

---

* Tedeschi – немцы (*ит.*).

## О низвержении в канал

140 Заявляю категорически, что в мои привычки это не входит. До сих пор со мной это случилось лишь однажды, и я не горю желанием проделать это еще раз по собственной воле.

Все гондольеры и большинство родительниц сталкивают своих детишек в канал задолго до того, как те достигнут сознательного возраста, – чтобы научить их плавать. Ибо несмотря на предупреждения Divieto di nuoto, то есть «Купаться запрещено», от которых, стараниями городских властей, не избавлен ни один угол, людям, не умеющим плавать, в Венеции делать нечего – если верить местной Gazzettino[114], что ни неделя сообщающей о *дисграции* или несчастном случае, постигшем очередного беднягу-сквернавца – povero diavolo che di soddisfare ad un naturale bisogno, – который для удовлетворения естественной потребности пристраивается на самой кромке канала и падает вниз, чтобы в лучшем случае выйти из воды мокрым как курица, а в худшем – когда он пьян, на улице полночь и кругом ни души – стать кормом для рыб. Соответственно, плавают тут все поголовно. Когда,

бывает, выпадает теплый летний вечер и ты на гондоле изо всех сил пробираешься к Большому каналу, уличные мальчишки обязательно спрыгнут где-нибудь со сходней и мелкими розовыми креветками, резвясь и шаля в воде, проплывут с тобой часть пути. На глубоких каналах довольно взрослые уже парни, juventes vegeto corpore viridi et robusto* будут эффектно нырять с мостов – к вящему восхищению кузин и сестер своих приятелей. А стоит оказаться в каком-нибудь мелководном канале, как непременно увидишь почтенную мать многочисленного семейства, которая нимало не смущаясь, безмятежно бродит в ночной рубашке в поисках прохлады среди крабов, по шею в воде, спустившись по сходням у задней двери, выходящей прямо в канал. Однако строго говоря за первые два года, проведенные здесь, я видел, помимо себя, всего лишь еще пятерых человек, случайно низвергнувшихся в канал, – при том, что не меньше пяти дней в неделю я полностью провожу на воде.



Первым был баловень судьбы (хоть и пьяница) – старик-багорщик, который как-то ночью свалился в воду у самой станции, начал истошно взывать к устрицам – Ostreghe! (так, вкладывая в слово тайный смысл, обычно чертыхаются венецианцы[115]) – и наотрез отказывался вылезать, пока кто-нибудь не поставит ему еще стаканчик (bicchierino). Толпа, нате-

* Юноши, крепкие телом, свежие и сильные (*лат.*).

шившись вдоволь, рассеялась: вольно человеку барахтаться в воде, пусть себе барахтается на здоровье; сам я тоже в скором времени удалился.

Второй случай произошел с моим молодым гондольером по имени Ринальдо Галли. Это было в мою первую зиму в Венеции, еще до того, как я сам начал осваивать (из нужды) тайны

гребного ремесла. Городской общедоступной лечебницей заправляла тогда директриса с ярко выраженными наклонностями к общественно-полезной деятельности, что и привело ее к мысли оживить мертвый сезон, втянув в состязание нашу мореходную школу по части устройства развлечений для заезжих заморских моряков[116], – в результате чего возглавляемое ею богоугодное заведение в городе стали называть не иначе, как «Казино Инглезе»[117]. В этой связи 23 декабря я возил в своей баркете ее, медицинскую сестру и грязного белого пуделя, переносчика всевозможных бактерий, по всем английским кораблям, стоявшим тогда на приколе в бухте Мариттима[118]: дамы желали лично вручить офицерам приглашения на дружеский концерт с пантомимами и легкими закусками, который должен был состояться в Лечебнице в Вечер подарков[119], сразу после Рождества. Погода стояла ветреная – было видно, как вспучивается огромный канал Дзуэкка[120]; мы, однако же, прокладывали себе дорогу без всяких приключений и, объехав чуть ли не двадцать кораблей, расстались

у последнего – грузового парохода, перевозившего уголь. Он стоял на приколе под угольными кучами у входа в Рио Сан-Баседжо[121], откуда я и отчалил к себе в клуб, а директриса с сестрой – пешком через весь город в Дорсодуро, куда их пригласили на чай. До этих пор жаловаться мне было не на что. На следующее утро, в Сочельник, я, как обычно, явился в лечебницу за поручениями. (Обладая поместительной баркетой, страстью к физическим упражнениям на открытом воздухе, бескорыстным желанием быть полезным и самым что ни на есть презрительным отношением к тому, кто и как выглядит, я был у них тем самым матросом, который не просыхал от поручений.) И можно, я полагаю, представить себе ужас, охвативший меня при появлении исстрадавшейся директрисы, потребовавшей незамедлительно вернуть ей ее адского пуделя. Я-то думал, что накануне она забрала его с собой во дворец Пачелло*. У нее же хватило совести полагать, что я еще раз проделал весь путь, наперекор приливу и ветру, для того только, чтобы доставить эту тварь домой, в Английское казино – то есть, прошу прощения, в городскую общедоступную лечебницу – и только потом предался заслуженной праздности в своем клубе. Но как бы то ни было, животное было утрачено, разлученная с этой грелкой для ног директриса – убита горем, и мне до-



* Вымысел Корво. На самом деле госпиталь располагался в «Папском доме» Пия VII на острове Джудекка.

сталась славная миссия: найти и вернуть зверя. Погода стояла самая что ни на есть омерзительная. Канал Дзуэкка скрутило и вспучило, он вел себя крайне заносчиво, но нам пришлось по новой плыть вниз против течения до самого дальнего его конца. Моя баркета явно не страдала от жажды, хотя должен сказать по совести, что в тот день она прошла не одно

море. Я собирался начать расспросы с парохода-угольщика, а после него двигаться дальше: я высадился меж угольных насыпей на причале Рио Сан-Базеджо, оставив своего гондольера Ринальдо у руля баркеты, и стал взбираться на черный от угля пароход, чтобы выяснить, не видели ли они пуделя. Они, черт возьми, его видели! «Вы за собакой, сэр? Мы отчаливаем через пять минут и поэтому только что высадили ее на берег», – рек стюард. Я отблагодарил должным образом за то, что он развлекал бродягу весь вечер, и слез на берег, чтобы начать поиски между угольных пирамид. Конечно, эта тварь тут же откуда-то выскочила, всем своим видом показывая, как она рада меня видеть (ни одна собака не сравнится с пуделем в умении щегольнуть своим идиотизмом); и, конечно же, он был чернее невесты из Песни Песней, nigra sum sed Formosa*, но отнюдь не так красив[122]. Я выругался и взял его на руки, чтобы снести на баркету; и что я вижу? Этот дурень Ринальдо, весь черный как сажа,

---

* Я черна, но прекрасна (*лат.*).

отжимает свою одежду на палубе – он, оказывается, тоже сымпровизировал в этот угольный канал. «Как так?» – спрашиваю. «Ничего ни о чем не знаю – mi no eo gnente de gnente», – таково было полное и безоговорочное признание человека, не ведающего, что творит; мне не оставалось ничего иного, как предположить, что он бросился в канал сдуру. С такого станется – при том, что (будучи венецианцем) он был исключительно высокого мнения о себе. Мне ничего не оставалось, как усадить его на весла, за которыми он хорошенько пропотел, пока мы не вернули переносчика заразы в лечебницу, где я выпросил для Ринальдо стаканчик бренди, а потом отправил домой сушиться.



Третий случай произошел в феврале во время похорон. В нашей общедоступной лечебнице от воспаления легких умер второй инженер парохода «Элсвик Мэнор», и мы похоронили его на Сан-Микеле, расположенном по другую сторону Венеции. Я проследил, чтобы гроб поместили на похоронную гондолу и накрыли британским флагом, после чего (будучи несчастным, пребывающим во мраке невежества папистом и опасаясь, что меня зашикают, если я осмелюсь принять участие в эрастианской панихиде) я встал во главе процессии на своей баркете, а вереница гондол с судовым священником и всякими скорбящими товарищами и капитанами последовала за мной. Мы проследовали по каналу Дзуэкка, минова-

ли залив Сан-Марко и вошли в быстрые воды Рио дель Палаццо. Но как только мы прошли под Мостом Вздохов и должны были повернуть направо, мой мальчишка (на этот раз это был Марколеоне) заорал с кормы у меня за спиной: «Сьор, сьор, не откажите себе в удовольствии, взгляните на рухнувшего в канал гондольера!» Я подтянул баковое весло и обернулся назад.

Как и следовало ожидать, бедствие обрушилось на рулевого первой гондолы с капитанами. Он свалился с кормы в припадке безумия, которое может охватить даже лучших из нас, когда мы слегка жизнерадостны; теперь он плыл, шумно загребая руками, к ступеням мостика Паули[123], а его товарищ, стоявший за рулевым веслом, метался по борту, пытаясь выровнять ход скачущей туда-сюда гондолы. Теперь уже было не важно, папист я или нет: в ту же секунду моя баркета поравнялась с лишившимся половины экипажа судном, на борт которого я и перепрыгнул, взяв на себя, к вящей радости британских капитанов, заботу о рулевом весле на всем нашем пути до кладбища и оставив баркету на попечение Марколеоне, который не спеша следовал за нами.

Четвертый случай имел место в мае. Я всю ночь болтался туда-сюда по Дзаттере[124], всем своим видом показывая, до чего я счастлив быть бездомным и нищим, и разъясняя Ангелам-хранителям Ночи (интересовавшимся моей персоной), что занят изучением эф-

фектов ночных фонарей и белизны рассвета. Темень стояла кромешная. За четверть мили от нас, на другой стороне канала, сквозь сеть дождя, напоминавшего цветом старинное серебро, светились, как нарциссы, пятнышки фонарей, повторявшие удлиненные очертания острова Дзуэкка. Освещение причала Дзаттере, на котором находился я, было не лишено эстетических достоинств. Причал не осквернен электрическими дуговыми лампами. Действия клерикалов-социалистов, которым принадлежит власть в городе, далеко не всегда вступают в конфликт с требованиями вкуса. Незаметных газовых фонарей, дарованных муниципалитетом, было ровно столько, чтобы можно было разглядеть, где кончается суша и начинается вода; трезвый благонамеренный путник при таком освещении никогда бы не угодил в канал. По этому причалу длиной в милю я и ходил взад-вперед, наблюдая, как после часу ночи к Дзуэкке отходят последние кораблики и как разнообразные хмельные личности распевают унылые куплеты, описывающие во всех подробностях судьбу «ragazzine che fanno l'amore»*. И вдруг, примерно через час после того, как все улеглось-успокоилось, из тьмы под мостом над Рио ди Сан-Тровазо[125] выскочил рослый юноша с мертвенно-бледным лицом и стал уверять меня, что только что слышал стон и всплеск,



* Торгующих собой дочурок (*ит.*).

как будто бы от упавшего в воду тела. Я с некоторым интересом выглянул за парапет. «Non solum me numen et implacabile fatum persequitur»*. Выходит, не я один во всем мире находился в безвыходном положении. Но в такой тьме даже и рябь на воде было не увидеть. «Слушай, – сказал я, – ступай и доложи обо всем ночному Ангелу-хранителю». [«Ночной дозор» – частная полиция, организованная одной из городских фирм. Ты платишь этой фирме небольшой взнос, после чего приходишь в совершенно запуганное состояние, потому что твой почтовый ящик наполняется их отчетами, а на дверях и окнах начинают пестреть наклейки, свидетельствующие, что твои защитники по нескольку раз за ночь проверяют на прочность все крючки и задвижки. Кроме того, как я понимаю, ночной дозор фиксирует случаи самоубийств и тому подобное, вызывая дежурных врачей, а также полицию – когда возникает необходимость арестовать распоясавшихся сатиров, пьяниц, паяцев, немчуру и прочих сквернавцев.] Мы отыскали Гуардия Ноттурна и должным образом изложили обстоятельства дела. Не могу представить себе ничего более незаинтересованного, чем его отношение. «Какой-нибудь надравшийся лодочник – *баркажуоло* – решил промочить ноги», – выдал он нам свое мнение;



* Рок беспощадный и боги не мне одному лишь враждебны (*лат.*). Начало последнего стиха в «Сатириконе» Петрония.

хотя, справедливости ради должен признать, что расследовать происшествие он отправился немедленно. Что же до мертвенно-бледного рослого юноши, то случившееся произвело на него такое впечатление, что ум его, похоже, совершенно помутился. Кроме того, он едва держался на ногах от голода. Сам я, будучи в ту ночь в сходном состоянии, с болезненной ясностью понимал ужас, охватывающий цветущего мужчину при виде Господа Бога, который важно, с приводящей в смятение помпой обходит все вокруг и торжественно захлопывает прямо у тебя перед носом все двери, кроме одной – пурпурной, ведущей к самоубийству. Соответственно, меня охватило горячее сочувствие к смятенному юноше, и я начал расстегиваться и развязывать шнурки – на случай, если мне придется прыгать в канал за его трупом. Но для начала я попытался утешить мертвенно-бледного рослого юношу тем немногим, что у меня было: двумя купленными за полпенни булочками («cioppi») и двумя пачками местных сигарет по два пенни за пачку. Известно ли вам, о любезный читатель, как томительно сжимаются от сочувствия все наши внутренности? Он был голоднее волка и успел проглотить два моих черствых, ничем не привлекательных куска хлеба раньше, чем я успел накопить в себе достаточно эгоизма, чтобы воздержаться от излишней щедрости и не отягощать его таким даром. После чего мы минуту или две

постояли на мосту, вглядываясь в темные воды. Выше по Рио ди Сан-Тровазо на бледно-черном фоне вырисовывался темный силуэт старого *скуэро*[*]. И вдруг, как будто ниоткуда, но при этом явно откуда-то рядом послышался сдавленный вдох с обычным для него завершением в виде протяжного стона. Стало жутковато. Я метнулся с моста на *фондамента*[†] по правую сторону мелкого Рио, расстегивая оставшиеся пуговицы и собирая последние крупицы мужества, дабы совершить неприятный, но выдающийся поступок. В это время с моста до меня донесся голос испуганного юноши, он звал меня назад. Мимо него, пошатываясь, тащилось дурное знамение; сгорбленное, как исполинская допотопная улитка, оно поблескивало на свету и оставляло после себя влажную дорожку, усыпанную водорослями. Ночной дозорный обратился к нему, моментально положив конец всем неясностям. Обстоятельства оказались самыми незамысловатыми. Арканджело Дзабайон по прозвищу Бон, 27 лет от роду, «casalirgo», то есть «мешкающий дома» (что в Венеции, судя по всему, считается почетной профессией), сидел с самыми честными намерениями на выходящих к воде ступенях докторского дома у западного схода с моста и случайно рухнул в канал, откуда тут же и выплыл. Но, услышав в непо-

150

---

* Squero – док (*венец.*).

† Fondamenta – набережная (*ит.*).

средственной близости чьи-то голоса и не найдя в себе мужества выслушивать насмешки (что в Венеции, судя по всему, считается уважительной причиной при объяснении многих проступков), он скрылся под мостом и сидел там, пока холод и сырость не выдворили его оттуда. После чего он вылез с намерением бежать домой по адресу Зарытая река у катехуменов[126], – так что «Siori, buona notte»*. Чем, собственно, эта история и завершилась.



Пятый случай произошел в июне. Лето было в самом разгаре, и жертвой оказался английский художник, к которому я был вынужден подрядиться гондольером. Мы вышли в лагуну, собираясь провести там весь день, пообедали в окружении водорослей на острове Сан-Джорджо[127] и затем прошли под железнодорожным мостом, обогнув Фондаменте Нуова[128] и направляясь к Арсеналу. И прямо у этого последнего, не буду писать, где именно (да и проку от этого не было бы никакого, потому что это место полностью уничтожено только что построенным сухим доком для военных судов), мы обнаружили глубокое укромное местечко, которое буквально звало нас искупаться. Я первым бросился в воду, чтобы показать, как следует прыгать с танцующей баркеты и как забираться на нее из воды. После чего прыгнул мой хозяин: жестко шлепнулся животом об воду и стал бултыхаться

* Прощайте, господа, спокойной ночи (*ит.*).

в веселых волнах. Все шло нормально. Когда мы оделись, я взялся за кормовое весло и начал грести: по плану, мы должны были не торопясь вернуться в отель Палаццо Анджело[129], пройдя через Кастелло и Рива Скьявони[130]. Ветер дул мне навстречу, течение яростно работало против меня, продвигались мы очень медленно. У Арсенала стало совсем невмоготу. Я матерился про себя, обливаясь потом. «Греби к тому *пало*, привяжи лодку, передохни», – сказал своей скотине мой сердобольный хозяин. Я с благодарностью подчинился. Он поднялся с канатом в руке, приготовившись обмотать его вокруг указанного столба, когда я к нему подгребу. Я медленно продвигался против течения. Казалось, *пало*[131] уже близко. Баркета коснулась его, и я, прижавшись к нему бортом, медленно скользил вдоль него. Мой *парон* ухватился за столбик, обнял его и начал обвязывать канатом. Pudet referre quoe sequunter*, но внезапно случилась ужасающая катастрофа. Мой хозяин (человек грузный, с осанкой и наружностью викария-эрастианца, который по воскресеньям играет с хулиганами в крикет, а по будням дробит им челюсти) повис на столбе, обняв его обеими руками; лодка ускользала у него из-под ног, и на лице у него появилось такое трогательное выражение невинности и набожности, какого я в жизни не видел ни на одной человечес-

152

* Стыдно признаться, что последовало (*лат.*).

кой физиономии – разве что у отрока Самуила[132]. Колени его подогнулись. Баркету тут же унесло; ветер и прилив, взвизгивая и хохоча, крутили ее на волнах. Мой работодатель надул щеки, закрыл глаза и смиренно плюхнулся в воду. Я, конечно же, подогнал нахальное суденышко к месту его утопления, и когда его голова показалась над водой, велел ему держаться за борт, пока я не выгребу к месту помельче, где он, совсем отяжелевший от мокрых одежд, сможет коснуться дна и взобраться на лодку. Мимо нас прошла еще одна баркета – на веслах сидели братья-миноориты из монастыря Св. Франциска в Пустыни, отнесшиеся к нам с елейной и самой что ни на есть нефранцисканской брезгливостью. Благословенный брат Франциск присоединился бы к нашему веселью; эти даже не предложили дать нам последнее причастие и отслужить соборование. Последовало самое фантастическое переодевание. Я повесил сушиться мокрую одежду своего *парона* на кончик *форколы* и одолжил ему свой запасной свитер (на нем он смотрелся куце и очаровательно décolleté), запасные сандалии (алые с помпейским орнаментом) и свою белую парусиновую шляпу, отсутствие которой сам я возместил обмотанным вокруг головы белым шелковым шейным платком, от чего стал похож на многознающего, но в остальном честного иезуита, который выдает себя за брэнгвиновского разбойника[133] – так, во всяком случае, утверждал мой хозяин.

Не следует, однако, думать, что этот любезный и незлобивый человек разъезжал по венецианским каналам в одном лишь вышеописанном легкомысленном облачении. Помимо моих свитера, сандалий и шляпы, имелась его собственная сухая куртка-ветровка, которой он украсил свой мужественный торс, а также мой старенький «бёрберри»[134] – габардиновый плащ, скромно прикрывший его крупные колени. Облачившись во все это, он потребовал перекусить – уморительная эта трапеза состояла из бутербродов с яйцами и огурцами, красного вина и сигарет, после чего мы повернули и пошли назад вместе с приливом по мелким каналам, ведущим в город от Рио Мендиканти. Путешествие наше то и дело перемежалось усмешками, исходившими от обеих сторон. Мы, понятное дело, представляли собой зрелище ошеломительное, почти карнавальное, однако венецианцы знают, что мы, англичане, на деле люди абсолютно чокнутые (хоть и купаемся в золоте и потому достойны восхищения); но вид нашей баркеты, в которой один сидел в двух плащах, свитере с глубоким вырезом, алых сандалиях и белой парусиновой шляпе, а другой, вырядившись пиратом, изображал из себя гондольера, заставил и их открыть рты. Никто даже не плюнул на нас с моста. Никто не захихикал, когда мы подошли к палаццо, и мой *парон* вынужден был, сверкая розовыми ногами, перепрыгивать через глыбы льда, которыми была нагруже-

на баржа, пришвартовавшаяся у причала его отеля. Все закончилось хорошо, и места своего я не лишился.

Полагаю, что мы, англичане, не склонны винить кого-либо в ситуациях, где никто не повинен. Мой хозяин был из таких. И сам я, конечно же, тоже. Не далее как в ноябре меня выбросил из баркеты мой собственный гондольер, и я его за это не уволил.



Стояла унылая сырая осень, хмурый день клонился к закату. Весь день я писал, сидя в клубе «Бучинторо», и перед тем, как идти домой ужинать, решил встряхнуть себя прогулкой по каналам. Моим гондольером был тогда некий Эмилио Сакрипан (я, естественно, называл его «Эмили») – славный малый, грудь и шея дивной красоты; он смотрелся весьма картинно, стоя на цыпочках на высокой корме моей баркеты. Тем не менее, положиться на этого чертенка-головотяпу было нельзя; он отличался такой неаккуратностью и так часто бывал у меня в опале, что я на полном серьезе заявил, что если он до конца месяца допустит еще какое-нибудь прегрешение, то либо будет порот чисто по-английски, in modo Inglese – так, что две недели не сможет присесть, либо получит уведомление о том, что я в его услугах больше не нуждаюсь. Вследствие чего он пришел в уныние: в его голове не вмещалось, что человек, которого он называл «forester»[135], станет его пороть, но куда больший страх на него наводил собст-

венный отец, который жил на его заработки и, конечно, избил бы его до беспамятства, потеряй он работу. Поэтому в тот хмурый день он вел себя как нельзя лучше. Море было неспокойно. Мы отчалили от клуба, прошли по Гранд-каналу мимо собора Санта-Мария делла Салюте, развернулись у дворца герцогини Мадридской, увешанного красным и желтым штандартами с золотыми флорентийскими лилиями[136], после чего пошли вверх по Рио ди Сан-Вио[137]. [Зачем, кстати, мешать желтую краску с золочением в изображении всех геральдических фигур, если под желтым и так подразумевается Or*? И почему флорентийские лилии, а не лилии Бурбонов? Дон Карлос, совершенно точно, был Бурбон[138].] Дальше, сразу как проходишь эрастианский храм[139], Рио ди Сан-Вио сужается, и над ним нависает мост – только после этого он опять становится вполне сносным каналом с набережными для пешеходов по обоим его берегам. Мы вихрем пронеслись по узкой части канала и под мостом, после чего с нами и приключилось бедствие. Я греб на носу, Эмили рулил на корме, мы шли в обычном для меня темпе – быстром, почти лихорадочном. Внезапно прямо перед нами появилась неповоротливая груженая дровами баржа с двумя моими бывшими гондольерами на веслах, Пьеро Венерандом и Эрменеджильдо Вианелем, кото-

156

* Золото (*фр.*).

рые нашли себе на зиму работу повыгоднее, чем у меня: их взял к себе отец последнего, торговавший дровами. Чтобы избежать столкновения, Эмили, особо не раздумывая, стремительно рванул мою баркету. Я тут же потерял равновесие; и, поскольку мне не нравилась сама идея свалиться с позором и грохотом в лодку и лежать там, раскорячившись, между веслами и *форкола,* я, не поднимая никакого шума, покрепче зажал свою короткую трубку между зубами, изящно нырнул в воду головой вперед, проплыв прямо под надвигавшейся на нас баржей. Еще в воздухе я увидел, что все находившиеся на обеих *фондаменте* воздели руки к небу, и услышал многоголосый рев: «Ara, Ara! O Mariavergine!* Что за прелесть, глядите! Как изощренно этот англичанин собирается утопиться!» Поэтому как только я оказался под водой, я сказал себе, что указанному англичанину следовало бы продемонстрировать этим людям что-нибудь по-настоящему редкостное и правильное – пусть потом трещат об этом до хрипоты. В связи с чем я проплыл под водой ярдов тридцать вверх по каналу, всплыл (под радостные крики публики) в абсолютно неожиданном месте – с невозмутимым, совершенно каменным лицом и неподвижно зажатой трубкой в зубах. Толпа прирастала, гвалт усилился. Я, как лягушка, просто болтался на поверхности, не прояв-



* Глядите, глядите, Богородице Пресвятая! (*ит.*).

ляя никаких эмоций. Эмили, гаденыш, спешил ко мне на баркете в дикой панике, думая о своей почти наверняка потерянной работе. Единственным, на что он надеялся, было мгновенное позорное увольнение прямо на месте. Другие лодочники-*баркажуоли* уже спешили к нам на подмогу, в их числе и обворожительный Пьеро Венеранд, queo de le tre rose su
158 'l capeo[140]; с их помощью я был торжественно извлечен из омута и водворен на собственную лодку – по-прежнему абсолютно невозмутимый, несмотря на потоки воды, низвергавшиеся со всех концов моего одеяния. Я медленно, подчеркнуто неторопливо, протер монокль о лежавшую на сиденье подушку и водрузил его на место. За каждым моим движением следили с напряженным вниманием. Взволнованная преданность Эмилио врезалась мне в память. Я намеренно оглядел все свое окружение удивленным и несколько раздосадованным, сомнамбулическим взглядом, с каким – в отсутствии репортеров – священники проносятся мимо нищих, с протянутой рукой ожидающих подаяния. Потом, будто следуя какому-то ритуалу, я постучал трубкой о борт, чтобы выбить из нее мокрый табак. Казалось, сотни рук протянулись, чтобы прийти мне на помощь. Я вынул из мокрого кармана резиновый кисет и процедил: «У кого сухие руки, проверьте, будьте так добры, загорится ли этот табак». К моему кисету потянулись тысячи сухих рук – такое складывалось впечатле-

ние. «Сделайте одолжение, набейте мне эту трубку», – продолжал я мрачно. «Господи, помилуй! – проорала своему спутнику укутанная в шаль мымра на *фондамента*. – Эти англичане будут пыхтеть своей трубкой всю дорогу от смертного одра до объятий Девы Марии!» Поднялся такой гул, как будто воедино слились миллионы грозных громовых голосов, предрекавших мне в лучшем случае простуду, а в худшем – воспаление легких. «Ха», – фыркнул я в ответ с надменным равнодушием базальтового божка. «У кого сухие руки, сделайте одолжение, угостите спичкой», – снова пробубнил я изможденным монотонным голосом, чем спровоцировал неожиданное пиротехническое представление, потому что каждый счел своим долгом зажечь свою *фьяммифе́ро**. Я выбрал самую длинную, ярче других пламенеющую. Трубка раскурилась. Я взял весло. «Едем же, дражайший», – с кротостью святого обратился я к Эмили. «Нет, ну что за люди эти англичане!» – взвыла толпа, когда я с дьявольской силой налег на весло, чтобы окончательно не околеть, и мы понеслись вверх по Рио, вышли в канал Дзуэкка, обогнули Таможню[141] и вернулись в клуб. Там я принял душ и облачился в сухой костюм, а Эмилио подбодрил меня чашкой кофе и кюрасао. Если бы я позволил, он встал бы на колени прямо с этим подносом.



* Fiammifero – спичка (*ит.*).

## Венецианская учтивость

160 В начале октября я бесцельно бороздил на своей баркете северную лагуну. Погода, к несказанному моему удовольствию, ничем не отличалась от летней, и я, не меняя распорядка, продолжал жить на открытом воздухе, сочиняя для г-на Х его третью книгу. Должен пояснить, что собственная неудержимая энергия, череда обстоятельств и немалое количество крутившихся вокруг меня бессовестных жуликоватых личностей превратили меня в «литературного раба». Я писал (или переписывал) плохие книги других авторов, а именитые издатели с невинным видом печатали созданное мной за подписью бездарностей. Человек должен что-то делать – как минимум, я должен, – и хотя статус раба дает тебе меньше фунта в неделю и самую чудовищную репутацию, на этом можно продержаться до того блаженного дня, когда удастся заполучить возможность для публикации собственных творений – творений прекрасных и совершенных.

Я приехал в Венецию в августе, чтобы провести там шесть безмятежных недель, и почти все это время жил, работал и спал на собствен-

ной баркете. Казалось, если я задержусь еще, мне удастся самым благонравным и добродетельным способом обмануть осень и зиму. Венецианская жизнь подействовала на меня так, что я вновь почувствовал себя двадцатипятилетним – если не считать бесполезного опыта и полезной утраты иллюзий. Кипучую радость энергии и здоровья, физическую способность бодро (и даже весело) противиться усталости, беззаботную, ничем не тревожимую умственную активность, совершенно изумительный аппетит, ночи, наполненные мгновенно наступающим сладким сном без всяких сновидений, как и подобает здоровой юности, – все это (вместе с неописуемым счастьем) я ликуя извлекал из уединения, которое делил лишь с солнцем и морем. Я купался по шесть раз на дню, начиная с рассветом и заканчивая после закатов, в свете которых вся лагуна сияла аметистами и топазами. Признаюсь, строго между нами, что водился за мной и такой грех: я частенько просыпался ночью и бесшумно переваливался за борт, чтобы поплавать часок-другой в ясном свете огромной золотой луны – *пленилунио** – или среди колышущихся на волнах отражений звезд. (О, бог мой, что за райское место эта Венеция!) Когда мне хотелось сменить обстановку и встать на якорь где-нибудь в другом месте, я греб вместе с двумя моими гондольерами; даже патентованным



* Plenilunio – полнолуние (*ит.*).

физкультурникам не известно ничего лучше (для выработки «осанки» и обретения членов и фигуры стройного юноши Диадумена[142]), чем гребля стоя, в венецианском стиле. Это довольно тяжелое занятие, но никакое другое упражнение так не бодрит, как движение, которое ты совершаешь, поднимаясь на цыпочки и забрасывая весло далеко вперед, и ничто
162 не сообщает такую приятную усталость к вечеру, когда вся работа уже сделана. При этом я каждый день писал с легкостью по семь часов к ряду. Есть ли на свете большее счастье?

В один прекрасный день я пополнил запасы провизии на Бурано, и на закате мы отчалили, чтобы найти пристанище на ближайшую ночь. Представьте себе мир сумерек между безоблачным небом и гладью моря – мир, весь состоящий из теплого, текучего, прозрачного гелиотропа, фиалки и лаванды; мир, перехваченный лентами сияющей меди, сплошь усеянной изумрудами; мир, утопающий, с другой стороны, в бездонной синеве глазков на распущенных повсюду павлиньих хвостах; мир, где взошла радужная, как перламутр, луна. В это великолепие мы и вступили втроем на нашей темной баркете, торжественно и бесшумно, как только угасли последние отзвуки Авемарии[143].

Двигаясь на север от Бурано, мы медленно вышли в открытую лагуну и направились на восток, навстречу ночи, к месту, отмеченному пятью *пали,* за которым канал изгибает-

ся в южном направлении. Шли мы не спеша. В вечерней тишине была какая-то святость – столь величавая, что я не решался нарушить ее даже тихим плеском весел. Я был владыкой времени и пространства. За мной не было никаких обязательств. Я мог идти когда и куда захочу, быстро или медленно, далеко или близко. Я решил в пользу близко и медленно. Я решился на большее. Столь невыразимо прекрасным был в тот момент царивший над лагуной покой, что и мне передалось желание отринуть всякую деятельность и просто сидеть без движения, напитываясь впечатлениями. Так приходят мысли – новые и в большинстве своем благородные.



Широкий канал, в который нас отнесло, представляет собой магистраль. Каждый раз, когда я его видел, он пестрел рыбацкими *сандоли**, приходящими сюда с Бурано. Его покой нарушают пароходы, наливные баржи с пресной водой для жителей Бурано, обычные баркасы с самым разным грузом – нарушают не всегда, но часто. Мое желание заключалось в том, чтобы найти где-нибудь поодаль канал поменьше. Мы находились (как я уже сказал) на южной стороне, на уводящей к югу дуге, обозначенной пятью *пали*. Напротив, на противоположном берегу, начинается длинный ряд *пали,* показывающих фарватер, ведущий к Ричевитория в Трепорти[144], и там, у само-

* Sandoli – плоскодонки (*ит.*).

го начала этой линии, я углядел устье канала, который, судя по всему, должен был мне подойти. Мы подгребли ближе и вошли в него. На протяжении двухсот или трехсот метров он шел на северо-восток, после чего изгибался локтем к северо-западу. На вид это был довольно приличный канал метров сорок шириной с заиленными берегами, поросшими морской лавандой, которая поднималась местами на два фута над водой. Мы подплыли к берегу у внутреннего изгиба локтя, воткнули в прибрежный ил пару весел с кормы и с носа и пришвартовались.



Байколо и Каичо достали доску с шашками и сигареты, устроились на *puppe*[*] и принялись, затаив дыхание, за игру; я же тихо сидел, отдыхая душой, пока окончательно не стемнело и высоко в прозрачной синеве не засияла Селена. Тогда они засветили *фанали*[†], установили непромокаемый навес с крыльями и занавесями, покрывавшими всю баркету, и приготовили суп Пармантье[145], который мы съели с вином и полентой. И когда на полу были разложены капковые матрасы, а на них выложены летние спальные мешки, мы в последний раз облегчились через борт, прочитали молитвы и легли спать. Байколо на *прове*[‡], ногами в мою сторону, Каичо – под *puppoй*, причем

---

* Puppa – корма (*венец.*).

† Fanali – фонари (*ит.*).

‡ Prova – носовая часть лодки, судна (*венец.*).

от его ног до моей подушки оставалось еще довольно приличное расстояние. Так мы и спали.

Я встал как только рассвело – небо было охвачено опаловым заревом, мальчики крепко спали. Снял навес, тихо отчалил и забрался на *nynny*, гребя в росистой свежести в поисках подходящего места для утреннего купания. В этом отношении я очень придирчив. Мне нужна глубина – чем глубже, тем лучше; я из тех, кого венецианцы зовут «appassionato per l'aqua»*. Кроме того, я испытываю неистовую антипатию к грязи и водорослям, от соприкосновения с которыми ногти на ногах становятся еще грязнее, чем ногти на руках. А поскольку я близорук от рождения, на глубине я вижу лучше, чем в мелкой воде, – на самом деле, почти так же хорошо, как через вогнутый монокль на суше. Так что я пустил баркету скользить по течению, а сам стал измерять глубину в разных местах канала длинным кормовым веслом – у обоих берегов и посередине. Нигде весло не касалось дна; это означало, что купальня моя была на сей раз больше четырех метров глубиной. Стоит ли говорить, что я издал полный радости утренний вопль, пробудивший ото сна любителя роскоши Байколо, который кинулся варить кофе, и преданного пса Каичо, который взял у меня весло, чтобы держать баркету поблизости от хозяина; после чего я бросился за борт,



* «Водоплавающими» (*ит.*).

чтобы насладиться ясной зеленоватой водой. Боже правый, как восхитительно обволакивает тело Твоя мягкая соленая вода!

Когда я снова поднялся на борт, постели были уже убраны, лодка приготовлена к дневным занятиям, а кофе готов. Я расстелил полотенце на сидении и сел, развалившись, на солнце, чтобы подсохнуть, пока пью кофе. Мальчики ныряли и плавали, вернувшись к своему кофе, когда я заворачивал первую за этот день сигарету.



Потом мы облачились в шорты и майки, снова установили навес, чтобы защититься от припекающего солнца, и я обратился к своим бумагам, задумавшись о том, что мне предстоит написать этим утром. Байколо и Каичо погрузились в свои мелкие дела, принялись наводить глянец на медь и сталь и скоблить весла острыми стеклышками, доводя их до белизны. Но для начала я решил взглянуть на карту лагуны, чтобы найти название восхитительного канала, в котором находился, – канала, обладавшего всеми желательными качествами в том, что касается ширины, глубины и километровой длины, отходящего в северном направлении от дельты у Досса Пиккола[146], ведущего на мой заваленный скелетами остров. Кроме всего прочего, хоть с этого канала и открываются прекрасные виды во все стороны, сам он остается весьма укромным, укрытым – благодаря изгибам – от магистральных путей, при том что находится всего в получасе пути

от Бурано. Словом, это идеальное для лагеря место – уединенное, прелестное, свободное, с находящимися в досягаемости свежим хлебом, водой и салатами. Но на моей карте не было никаких признаков этого канала – разве что карликовый безымянный обрубок у самого устья, расположенный прямо перед первым *пало* основного канала, уходящий примерно на сотню метров на северо-восток, чтобы самым жалким образом затеряться в обширной топи Сентрега[147]. Я был весьма раздосадован.



Я был очень сильно раздосадован, потому что всего неделю назад обнаружил высокий обширный остров, поросший травой (и населенный крысами) к северу от магистрального канала, ведущего из Венеции на большую землю у Сан-Джулиано[148], – он находился неподалеку от этой деревушки, однако начисто отсутствовал на моей официальной карте. Я был, на самом деле, жутко раздосадован, потому что моя последняя находка была, без тени сомнения, длинной, широкой и глубокой, то есть куда более важной, чем бесчисленные мелкие каналы не более десяти метров в ширину и метра (если не меньше) в глубину, которые, тем не менее, были старательно обозначены на той же самой карте. Я изучил карту еще раз, утвердился в своих впечатлениях и понял, что не смогу сегодня написать ни строчки чужой книги.

– Быстрее в Венецию, где я займусь своими делами, а вы сможете по собственному усмот-

рению, *фар фести*[*], предстать перед родителями или сходить в кинематограф, – заявил я своим гондольерам.

В город мы прибыли к обеду. Мальчики разгрузили баркету, поместили вещи в безопасное место и умчались прочь. Я переоделся в свежий костюм и отправился к Вознесенским рядам, чтобы побеспокоить Амадео Онгания

(у которого были куплены карты) неприятным подозрением: не продал ли он мне давно устаревшие карты? Он обратился к официальному списку карт Эстуарио Венето[†], выпущенному Гидрографическим институтом, и указал мне, что моя карта, датированная 1905 годом, считалась на тот момент новейшей. Мне показалось, что мои вежливые инсинуации несколько опечалили его, но когда я рассказал об острове у Сан-Джулиано, не обозначенном на карте, и о канале напротив Палуде делла Сентрега, он стал проявлять интерес. А заинтересованный венецианец (уж поверьте мне) может оказаться крайне интересным – почти таким же интересным, как матрос. В течение короткой беседы меня посвятили в неслыханные и невиданные тайны о капризах лагуны, ее блуждающих берегах и каналах, ежедневно меняющих русло.

– Однако остров и канал, которые нашла Ваша милость, представляются мне постоян-

---

* Far festa – развлечься (*ит.*).

† Estuario Veneto – Венецианский лиман (*ит.*).

ными и значительными, поэтому прошу Вас дать себе труд, зайти в Гидрографический департамент в Арсенале и обсудить эти высокие материи с моим другом комендантом Анджело Франконом, в ведении которого они находятся, – сказал Онгания.

Раз так, то я дошел до Арсенала и обнаружил там высокого крупного коменданта – человека с приятными ясными глазами, сигаретой во рту и самыми спокойными, но в то же время самыми энергичными манерами; такому человеку подобало стать одним из героев ливийской кампании[149] – кем он впоследствии и стал. Из эгоизма и чистой лени я спросил, понимает ли он английский. Он ответил мне по-английски; говорил он свободно и довольно красиво, однако настолько старательно избегал какой-либо выразительности, что все его слова казались разбитыми на слоги, причем каждый слог отделялся от предыдущего запятой.



– Да-, – сказал он. – Я-, по-, ни-, ма-, ю-, анг-, лийс-, кий-, ес-, ли-, вы-, о-, ка-, же-, те-, мне-, честь-, и-, бу-, де-, те-, го-, во-, рить-, мед-, лен, – но, – я-, го-, тов-, и-, от-, ве-, чать-, вам-, по-, анг-, лийс-, ки-, ес-, ли-, вас-, не-, сму-, щает-, мо-, я-, ма-, не-, ра-.

Мы сразу же поладили. Он был *симпатичиссимо*. Я показал паспорт и сообщил, что я английский писатель, что жить и писать предпочитаю на лагуне – во имя здоровья и ради уединения – и что совершенно слу-

чайно сделал два небольших открытия, которые, как считает Онгания, могут оказаться полезными официальным гидрографам. Я развернул перед ним карту и отметил карандашом, где находятся обнаруженные мной канал и остров.

Комендант приказал принести из департамента свою карту. К нашему изумлению, она

оказалась еще старше моей – у него, кажется, было издание 1903 года. Мы обменялись обычными вежливыми соболезнованиями на предмет безобразного пренебрежения, с каким государственные департаменты любой страны мира относятся друг к другу, после чего он тщательно перенес мои любительские карандашные пометы на свою карту и заверил меня, что направит в эти места гидрографическое судно для подтверждения моих данных, замеров и обследований, чтобы следующее издание карты полностью соответствовало действительности.

– Но будьте так добры, скажите мне, сэр, – продолжил он на своем медленном, но твердом английском, – как вам удалось прийти к столь точным суждениям касательно глубины, ширины и длины этого канала?

Я рассмеялся, признался в своем пристрастии к прыжкам в воду и рассказал о замерах, которые выполнял с кормы при помощи длинного весла. После чего мы обменялись любезностями – и расстались. Должен сказать, что обхождение итальянских чиновников, с ко-

торыми мне приходилось встречаться, всегда меня восхищало. Они демонстрируют деловой интерес, но в то же время по-человечески приятны и любезны. Они не делают вид, что тебя не существует, не пытаются осадить или унизить – напротив, проявляют личную заинтересованность. Помню комиссара полиции (мне пришлось свидетельствовать перед ним касательно поведения сомнительного молодого человека, которого подсунул мне эрастианский фиазарх[150] Венеции); услышав, что по роду занятий я писатель, этот комиссар поднялся со своей скамьи и бросился ко мне, чтобы иметь удовольствие пожать мне руку – на том лишь основании, что его многоуважаемый отец (*Поарето!** Мир праху его!) тоже был литератором.



В тот вечер пошел дождь. Торговля стеклом на площади Святого Марка прекратилась, обсерватория Патриаршей семинарии предсказывала несколько дней непогоды. Я отправил своих гондольеров на «каникулы», а сам заперся дома, чтобы продолжить свой жалкий труд, насаживая и поливая (как Павел и Аполлос[151]) то, плоды чего будет пожинать другой.

Через два дня утром я получил записку от коменданта Франкона. Он просил оказать ему честь, приняв его в 18 часов. Я ответил, что буду чрезвычайно рад и приглашал его остаться и отужинать со мной в 19:30. Он ответил второй запиской, настаивая, чтобы я при-

* Poareto – бедняга (*венец.*).

нял его в 18 и сожалея, что отужинать не сможет. Я вздохнул, но согласился.

Он прибыл точно в назначенный час. Мундир его имел вид самый аккуратный и эстетичный, приветствие было блистательным. В его обращении чувствовались та же невозмутимость, важность и благонадежность, что и при нашей первой встрече, однако теперь появилась некоторая властность, какой-то налет формальности.



Он заявил, что его приятная миссия состоит в том, чтобы передать мне благодарность вице-адмирала, командующего портом, за информацию, которую я столь любезно предоставил Гидрографическому департаменту Арсенала. Я расплылся в улыбке.

Затем он подошел к стулу, который я ему предлагал, удобно расположился на нем, стянул прекрасные белые перчатки, а вместе с ними и всякую формальность. Я сел рядом и протянул сигареты.

– Должен просить у вас прощения, сэр, – продолжал он с прежней серьезностью, – что не принял вашего любезного приглашения к ужину. И прошу вас, поверьте тому, что я собираюсь сообщить. Могу ли я рассчитывать, что вы окажете мне такую честь?

Я ответил, что, как святой Ансельм Кентерберийский, привык верить – просто для того, чтобы понимать: credo ut intelligam. Таков наилучший из доступных мне способов избежать ненужной интеллектуальной путаницы.

– Тогда, дорогой сэр, – продолжил он, – вы наверняка знаете, что не следует смешивать долг с развлечениями. Моя миссия была официальной, если вы позволите мне так выразиться.

Я позволил.

– Но кроме того, хоть я и не выгляжу больным, я только что оправился от крайне неприятной болезни. Прошу мне поверить, потому что это и в самом деле так, что доктора посадили меня на диету, которая не дает мне возможности делить с кем-либо трапезу и вообще лишает меня ужина.



Я выразил сочувствие.

В этот момент с его лица испарились последние следы торжественной серьезности. Его отказ – сначала от официальных полномочий, а теперь и от серьезности, которая, тем не менее, была ему очень к лицу, произвел тот же эффект, как если бы он вдруг снял мундир и отстегнул воротничок, вознамерившись провести со мной вечер в непринужденных разговорах и без всяких церемоний. Я тоже поспешил освободить свой тон от ненужных украшательств, которые еще могли быть – по чистой случайности – ему присущи.

– А теперь, дражайший, – неожиданно продолжил он, – я должен сообщить еще кое-что неофициальное и не слишком вежливое. С тобой сейчас разговаривает не комендант Франкон. И даже не тот едва оправившийся от болезни бедняга, который молил прос-

тить ему отказ от твоего вкуснейшего ужина. То, что я скажу тебе, я скажу не как итальянец англичанину, который столь благовоспитан, что готов его выслушать – все сказанное будет сказано не между двумя иностранцами, а между двумя взрослыми людьми, которых связывает большая дружба. Понимаешь? Позволишь ли ты обратиться к тебе в таком

духе? Дорогой мой, твой друг – не комендант Франкон, а сидящий перед тобой друг – говорит тебе следующее – не официально, а в частном порядке, из чистой дружбы. «Дорогой друг, пожалуйста, не меряй больше наши каналы, потому что я очень сильно расстроюсь, если ты попадешь в беду».

– Но, – подскочил я, – разве я допускал какие-то нарушения? Вы, конечно же, понимаете, что у меня не было никакого злого умысла. Кроме того, дорогой друг, мы, англичане, лучшие друзья итальянцев, хотя сами вы избрали себе союзниками безжалостных немцев. Как минимум я вам друг. И когда я совершаю открытия – а такой наблюдательный человек, как я, не может не совершать открытий, – я, естественным образом, дарю их вам. Это ваше право.

Так я, в большом возбуждении, лишь раздразнил его.

– Дорогой мой верный друг, я все это знаю, – продолжал комендант. – К таким мерзким словам, как «нарушение» я даже не прибегаю. Но вся лагуна находится в ведении во-

енных. Ты это знаешь? А знаешь почему? Потому, что Трентино и Венеция-Джулия[152] – они наши, черт побери! Разве не так? Да-а, ты самый настоящий англичанин. Поэтому, дорогой друг, в удаленных частях лагуны, где твой исключительный, выдающийся гений заставляет тебя столь часто бывать и которыми он велит тебе восхищаться, тебе могут с легкостью помешать мерить каналы: к тебе могут пристать по-деревенски грубоватые, но ревностные стражи, и они обязательно поймут тебя неправильно. Представь, как я расстроюсь, услышав, что тебя принудили доставить себе неудобство и специально приехать в Венецию, чтобы давать объяснения тупым чиновникам! Не мне говорить, как опечален будет вице-адмирал. Довольно и того, что меня, твоего друга, безмерно огорчает, расстраивает и приводит в полное отчаяние одна только мысль, что ты можешь оказаться в столь неприятной, столь жалкой ситуации. Дорогой друг, огради мою душу от этого горя. Пообещай мне, что ты не попадешь в эту досадную ситуацию, что никто не поймает тебя за измерением наших каналов.



Я разразился неукротимым хохотом, мы оба поднялись.

– Мне кажется, вы самый изысканный и пленительный народ на земле. Я и сам немножко Макиавелли, поэтому необычайно доволен вашей дружбой, – воскликнул я. – Молю вас, доблестный комендант, передайте вице-

адмиралу заверения в самом глубоком уважении и благодарность за столь незаслуженное признание. И еще молю вас, дорогой друг, примите мою самую искреннюю благодарность за учтивость и деликатность, с которой вы вынесли мне это предупреждение. Обещаю больше не измерять ваши каналы – помимо тех случаев, когда мне – перед прыжком в во-

ду – потребуется предохранить собственную голову от неприятного столкновения с дном. Довольно вам этого?

– Отлично! – заявил комендант Франкон.

# ВЕНЕЦИАНСКИЕ ПИСЬМА[153]

# 1909

**I**[154] 179

[*дата и место не указаны*]

Вторник: хотя мне придется дождаться от тебя адреса, чтобы отправить это письмо.

Пока не забыл: я так и не получил от Кокертона[155] никаких сведений об Э[156]; и мне очень хотелось бы получить флорентийские адреса *в порядке убывания достоинств*.

Самое комичное, что я видел в жизни, произошло, как только ты уехал. Главное я тебе уже описал, теперь добавлю подробности, но прежде должен сказать, что минут через пять после того, как я отправил тебе последнюю открытку, ко мне и вправду пришел тот самый греческий еврей с Корфу[157] (чего он раньше никогда не делал, мы общались исключительно в клубе) и выразил готовность немедленно предоставить мне все без исключения услуги. О том, что требуется, ему рассказал Фаусто, и, судя по всему, ему не терпится устроиться на работу в этом качестве, он об этом слышал, идея пришлась ему по душе,

и (– Что за окаянное положение. Мне только что позвонил мой тифозный приятель[158] – чего ОН раньше никогда не делал – с просьбой встретиться сегодня вечером, потому что его брат Саверио, тринадцатилетний львенок, не прочь прокатиться на моей *сандоло!* Никакие муки Тантала с этим не сравнятся.) – он до смерти напуган методом, распространенным среди его приятелей. Об этом он говорил с очаровательной осторожностью, а его английский (я говорил тебе, что он знает английский) стоит того, чтобы за ним записывать. Я сердечно его поблагодарил, сказал, что мои друзья как раз отлучились в Англию по делам, и посетовал, что сам я не могу предпринять никаких шагов в этом направлении по причине бедности – как минимум пока не могу. Он слегка обиделся, и мне пришлось потратить немало сил, чтобы объяснить ему, что обижаться тут не на что, потому что я имел в виду только то, что привязан к этому дому и что мне просто негде в данный момент его развлекать. Но думаю, ты согласишься, что столь немеркантильный еврей-корфянин стоит того, чтобы им при первой же возможности заняться – хотя бы потому, что это редкость. Однако вернемся к П. & Дж., К. и к маленькому Дж.[159] Зная, что главная их слабость – в тщеславии, я не стал ходить вокруг да около, а просто встретился с каждым по отдельности и каждого задобрил, купив им по белому льняному костюму и джерси с красным шарфом. Я гово-

180

рю о П., его брате Дж. и К. Каждому я объяснил, что за услуги от него требуются. Конечно, они сказали, что именно этого и ожидали. Полагаю, они поняли ваши с Кокертоном намеки, хотя должен сказать, что ничего определенного мне не известно. Они не просто готовы – они были бы счастливы сделать все, что от них требуется. Я сказал, что их будут вызывать по двое и что они получат от меня указания, как только я получу соответствующие инструкции от вас. Все это я проделал, потому что П. было бесполезно брать с собой на Бурано в понедельник[160], хотя он выразил готовность без всяких уговоров, да это было и невозможно в силу того, что я поиздержался на одежду. Потом, в субботу вечером, П. приходит сюда, весь застенчивый и скромный, – якобы чтобы меня поприветствовать. Потребовалась долгая болтовня ни о чем (впрочем, очаровательная), прежде чем он выдавил из себя – точнее, я из него выдавил, в чем, собственно, дело. Его друг Дж. (то есть не его младший брат Дж., прошу заметить) настолько пал духом в связи с тем, что у него не хватило смелости, и так сожалеет по поводу глупого своего поведения в прошлом году, что молит меня о прощении и просит не отказываться от его услуг в дальнейшем – с марта месяца он регулярно упражняется вместе с П. и поэтому не мог бы я проявить доброту и дать ему еще один шанс продемонстрировать свои навыки и свое мастерство. Я с удовольствием согласился, вышел

с ним из дома, купил ему такую же униформу, как и остальным, и сказал, что найму Дж. и П., как только буду в состоянии это сделать. То есть я был в полной готовности и ждал только вестей о вашем прибытии; я бы предоставил вам с Кокертоном отборные экземпляры. Скажу откровенно, я, знаете ли, не мог предпринять ничего относительно себя самого, пока

не выполню своих обязательств. Конечно же, некоторый уклон в рабство восхищения не достоин. Но я твердо уверен, что лучше всего начинать с рабов, дабы воспитать из них разумных и верных слуг. Но вот те на: тут-то и последовали звонок Кокертона, твоя телеграмма, а потом и письмо. Я ничего не предпринимал, пока окончательно не убедился, что вы не вернетесь. Потом из 20 лир (за которые большое спасибо) я забрал себе еще 11,50 в счет купленной одежды, после чего пошел сообщить им, что вас срочно вызвали в Англию, и раздал им оставшиеся 9,50 в качестве утешения по поводу несостоявшейся работы. Известие их опечалило, хотя восприняли они его без капризов – за исключением разве что маленького Дж., к которому я отношусь не лучше, чем его собственный брат П. Ничего более интересного я придумать не мог, потому что на этот раз я не хотел бы никаких сомнений, а с венецианцами всегда лучше договариваться заранее, если хочешь получить то, что выбрал: в решающий момент не одно, так другое обязательно пойдет не так.

Мне страшно жаль, что вы не смогли вернуться и насладиться всем этим, но совсем не жаль, что я всем этим занимался, ведь теперь я знаю, что как только боги дадут мне возможность поехать на недельку на Бурано, я всегда смогу взять с собой П. и Дж. Хотя если бы у меня была отдельная квартира, пусть даже маленькая, можно было бы представить визиты, которые мне наносит грек. А тифозный приятель! А его брат Саверио! Бог мой, подумать только! Теперь буду изо всех сил писать[161]. Пожалуйста, пиши мне часто и совершенно свободно. Я буду исправно отвечать, а твои письма – сжигать. Пожалуйста, с моими поступай так же.



Привет Кокертону. Шепотом: мне отвратителен Джексон[162].

Р.

## 2

*Палаццо Мончениго Корнер, Венеция*
*25 октября 1909 года*

Дорогой Ф.,

Ужасно рад твоему письму: у меня уже появились серьезные опасения, что писать ты не собираешься. Но прежде чем начать, хочу попросить тебя об услуге. Мой гардероб в ужасающем состоянии – не знаю, как протянуть зиму, не замерзая и сохраняя при этом приличный вид. Самые большие трудности – со стир-

кой белых вещей. Поэтому спасением, думаю, была бы пара тёмно-синих шерстяных джерси. Они должны быть *мягкие*, с *высоким воротничком*, и вязка должна идти *перпендикулярными линиями*. Надеюсь, тебе не составит труда добыть пару таких и отправить мне их посылкой. Если да, то на посылке снаружи должно быть разборчиво написано по-английски

и по-итальянски:

ОБРАЗЦЫ. CAMPIONI SENZA VALORE.

Тогда мне не придется платить таможенные сборы, денег на которые у меня нет. С ботинками как-нибудь образуется, они придут из другого источника.

Не представляешь, как мне приятно, что ты заметил (и запомнил) «манеру», в которой П. и Дж. рассказывают свои истории. Я, конечно же, отмечаю любые детали, потому что я художник. Но чрезвычайно редко удается встретить другого человека, столь же восприимчивого к мельчайшим, тонким штришкам, которые на самом деле и сообщают целому особую прелесть и обаяние. Но тем не менее, то, что ты видел, ничто по сравнению с тем, что ты мог бы увидеть, если бы меня не охватило это жуткое беспокойство, а у вас было бы чуть больше времени. Венецианцы, как и все восточные люди (а они и в самом деле люди восточные, как ты знаешь), дико боятся чужих, поэтому всегда нужно время, чтобы заставить их оттаять и дать себе волю. И если

этого удается добиться, они уже ничем себя не стесняют. Именно так и получилось. Я убежден, что вся моя деятельность и все мои старания, предпринятые в последний год, по-настоящему увенчались успехом, только когда вы собирались уезжать. П. и Дж. и все остальные к тому времени хорошо меня знали. Видели меня и в достатке, и в бедности. Уже не боялись и считали меня за своего. Кроме того, они прекрасно поняли, чего я хочу, а также осознали выгоды и удовольствия, которые можно получить, если предоставить мне то, чего я хочу. Лишь две вещи – (такая уж у меня манера, что я подвергаю отношения научному анализу на основании доступных мне данных) – помешали им связаться со мной. Первой была финансовая несостоятельность, не дававшая мне исполнить мою роль, а именно создать удобную возможность и обставить все так, чтобы они не пожалели. Вторая заключалась в какой-то подсознательной неохоте заниматься чем-то особенным, необычным. Потому что венецианцы – рабы Обычая. Больше всех вещей в Природе они страшатся Насмешки – (которая является всего лишь Платой за Исключительность). Но потом появился ты и Кок, и не было никаких сомнений, что у вас те же привычки, вкусы и склонности, что и у меня. Тут им стало очевидно – и П., и Дж., и всем остальным, – что я не исключителен, потому что есть еще как минимум два синьора, похожих на меня. «Значит, – реши-

ли они, – ничего необычного мы делать не будем, а поэтому и Насмешки бояться нечего». Славные бесхитростные создания! Ну и к тому же они получили новую одежду и деньги плюс появилась возможность провести день-другой на Бурано. Таким образом, как мне видится, они в одно мгновение оставили сомнения и решились пуститься во все тяжкие:

они были готовы, им не терпелось, они буквально горели желанием угодить нам и себе самим. Мне лично кажется, что во всей этой интриге самым забавным, но в то же время самым искренним и милым была полная перемена, произошедшая в Джильдо: его пылкое желание отправиться туда же, куда и Питер, и делать там ровно то же, что он; попросту, его полный переход от исполненной достоинства угрюмости к горячей, искрящейся несдержанности. Уверен, не стоит рассказывать, какие танталовы муки я в результате переживаю – ты и сам прекрасно представляешь их степень. Получить предложение о том, к чему я стремился и чего и сейчас страстно желаю, предложение открытое и безоговорочное, но не иметь возможности даже прикоснуться к предложенному. Питер, я знаю, с удовольствием бы поступил ко мне на службу, как только у меня появилась бы такая возможность, и слуга из него вышел бы отличный – усердный и послушный. Мне же ничего другого и не нужно. *Но когда приходится отказывать ему в течение целого года, а теперь отказать*

*еще и Джильдо* – боже, как это горько! Понимаешь ли ты мое положение? Сочувствуешь ли? Надеюсь, что да. И конечно, если тебе придет в голову, как вызволить меня из этого плачевного состояния и снова поставить на ноги, то, ради бога, дай мне знать. В ответ я не просто верну все, чем буду тебе обязан, но и позабочусь о том, чтобы у вас здесь всегда была наготове квартира и прислуга, когда бы и на сколько бы вы ни приехали. Я сильный человек, и мне отвратительно, нестерпимо бросать всю свою мощь на то, чтобы перетереть проклятые цепи невозможности, сковывающие меня в данный момент. И что хуже всего, я настолько измучен, что сам ничего не могу предложить. Такое впечатление, что у меня иссякли идеи на предмет того, как разрешить мои затруднения, и я на самом деле уже не верю, что мне удастся придумать какой-то иной план, нежели чем тот, что я уже предложил, пока я не отдохну хотя бы недельку и не займусь чем-нибудь другим – во Флоренции или на Бурано, где П. или Дж. могли бы оказаться к моим услугам. *Я попросту разбит.* Вдобавок с тех пор, как мы расстались, я получил от жизни еще одну затрещину. Кажется, я рассказывал, что мне порекомендовали нового литературного агента в Лондоне и что я отправил ему серию венецианских эссе и рассказов общей стоимостью в 180 фунтов. И что ты думаешь: теперь он вдруг решил, что ему удобнее провалить все это дело[163], по-

этому вместо 180 фунтов, на которые я мог бы существовать (и которые избавили бы меня от некоторых неловкостей и дали бы мне хоть какой-то шанс), я получаю обратно все, что ему отправил; рукописи снова лежат у меня без всякого применения – просто потому, что сам я не знаю, как извлечь из них выгоду. Кроме того, сильно опасаюсь, что с человеком, у которого я квартирую, дела плохи.
188 Тошно жить с лицемером-святошей, жевать его лицемерную пищу, обильно приправленную патокой ханжества. Но я почти уверен, что вскоре и этого придется лишиться[164]. У него совсем нет пациентов, и он утверждает, что жив одним лишь попечением божьим. Что бы ты испытал, окажись на моем месте, когда женатый человек, семьянин заявляет тебе, что ему нечем платить за дом и страховку? Меня воротит от всего этого, кусок с его стола в горло не лезет. Боже праведный! Вот так я и живу, куда не сунься – со всех сторон тревожные звоночки. Так что ждать от меня чего-нибудь радостного не приходится. N. B. Шли все адреса, какие знаешь. *Адреса Эдуардо я так и не получил.* Помни, что я начну подыскивать жилье, как только смогу выйти на люди в подобающем виде. Пока еще не могу. Вдобавок, сегодня дождь, начинаются холода, и шут его знает, как пережить предстоящую зиму.

ПИШИ ПОЧАЩЕ.

Р.

## 3

*Палаццо Мончениго Корнер*
[*без даты*]

Дорогой Ф.,

Каждый прожитый здесь день меня ранит. Нет, я сейчас говорю о другом, чем всегда. Я как-то коснулся этого в разговоре с тобой, но чем дальше живу, тем яснее понимаю, что не успокоюсь, пока не изложу всего этого письменно; ты волен показывать это письмо всем, кого оно касается. Может, оно послужит толчком, а может, нет. В любом случае, записав, я выкину все это из головы.



(а) Мир жаждет изображений венецианской лагуны кисти Тука[165], а также его портретов средневековых гондольеров, стоящих с веслом на *nonne,* в антураже венецианских каналов.

(б) Но «в Фалмуте у Тука есть все, что он пожелает». Гм! Арнольд из Рэгби[166] полагал, что человеку не следует возглавлять школу больше пятнадцати лет подряд. Вот я думаю, не действует ли тот же самый принцип и в отношении художников. Задерживаясь в одном месте, на одном предмете или типе предметов, они лишают самих себя удовольствия, а мир – сияния славы. Тук обессмертил свое имя благодаря плоти, солнцу и морю Фалмута. Улучшить все это уже невозможно; настаивая, он скорее всего только сделает их хуже. Сам будучи ху-

дожником, я прекрасно понимаю, что Тук собой еще не удовлетворен. Но художник никогда собой не доволен. Ему важно понять, что он уже довольно проработал в соответствии с однажды заведенным порядком; ради себя самого и ради искусства ему следует попробовать другой.

(в) Я бы рекомендовал ему переместиться в Венецию. Никто из англичан не пишет Венецию, не считая разноперого Брэнгвина да оравы людишек в темных очках на носу, которые пишут замешанной на канифоли грязью в равных пропорциях с мылом. О сестрицах Монтальбах[167] я молчу. Единственный художник (итальянец), заслуживающий упоминания и названия «венецианский», это Джузеппе Мити-Дзанетти[168], у которого своя техника – ни акварель, ни масло, что, конечно, замечательно, но его работы – чистая архитектура и атмосферные пейзажи, по большей части вечерние. Из чего следует, что для такого живописца, как Тук, работы тут непочатый край: никто не пишет молодых венецианцев, балансирующих (зрелище уникальное) на высокой корме гондолы, скользящей по бескрайним просторам лагуны в молочной белизне рассвета в тот час, когда все что ни есть на свете озарено лучистым сиянием матери всех жемчужин, высвечивающей своими яркими вспышками крепкую молодую плоть и зажигающей в их глазах блеск цвета морской лазури, красящей перламутром волосы их в переливистом, словно песня, белом свечении,

отражение которого белой патиной стелется по глади вод; никто не пишет молодых венецианцев, балансирующих на высокой корме гондолы, скользящей по бескрайним просторам лагуны в тот час, когда солнце достигло зенита и все, что не охвачено его слепящей лавиной, сверкает голубизной; никто не пишет ни стройный стан юношей, ни их развитую грудь, балансирующую в воздухе как в россыпи аквамаринов яхонтовое с лазуритом море под исполинским бирюзовым куполом небес; никто не пишет молодых венецианцев, балансирующих на высокой корме гондолы, скользящей по бескрайним просторам лагуны в закатном солнце, высвечивающем их богатырскую силу, как бы парящую в воздухе, напоенном ароматом лаванды и гелиотропа, вдоль ускользающей линии горизонта между небом и морем, то сверкающих россыпью ограненных камней – бесчисленных аметистов и бирюзы небесной, то как будто отлитых из горящей меди с крапинами изумрудов и прожилками той настойчивой, броской голубизны, какой отличается незабудка. Никто всего этого не пишет, никто, кроме меня, не замечает. Тук – единственный на свете художник, способный всё это изобразить; а он ничего этого даже не видел. И кто, кроме Тука, может написать *настоящих* средневековых гондольеров в длинных шелковых чулках с затейливыми полосками и с пышно расшитой парчой на развернутых горделиво плечах,

балансирующих на высокой корме в искрящейся тени канала у какого-нибудь прекрасного старого подъезда, о который бьется вода – такого, как у дворца Агнусдио[169], или у Каса Аморе деи Амичи[170], или же у одного из таких подъездов на калле Тедеум[171]? Никто. И он тоже не пишет. Это плохо.

(г) Он хочет участвовать в гонках яхт. Дева
192 Мария, разве не стоит на причале у террасы «Бучинторо» целая вереница гоночных яхт? Не хватает только опытного английского яхтсмена, который приехал бы и распорядился всем этим хозяйством.

(д) Словом, неужели у него здесь не будет еще более *совершенных* и притом *других* тел, форм, солнца, моря, света, тени, возможностей, удовольствий – по сравнению с тем, чем он располагает в Фалмуте? Зачем же тогда ржаветь на севере? Обещаю, что не буду с ним разговаривать.

Теперь я сделал все, что мог, чтобы выкинуть все это из головы.

Р.

## 4

*Палаццо Мончениго Корнер*
*4 ноября* [*1909 года*]

Дорогой Ф.,

Прилагаю то, что написал на прошлой неделе; не стал отправлять в ожидании твоего

ответа. Это просто фрагмент разговора – идея, которую я изложил бы на словах, если бы ты был здесь. Пожалуйста, так к этому и отнесись. Страшно благодарен тебе за шерстяные вещи. Если бы, при всех достоинствах, у них еще была перпендикулярная вязка, рукава подлиннее и воротник повыше, я был бы в совершенном восторге. Пожалуйста, посмотри, сколько они стоят, потому что вполне возможно, что если мне удастся наскрести денег, чтобы протянуть до конца месяца и провести кое-какие переговоры, о которых напишу ниже, все мои трудности разрешатся и я снова буду при деньгах. Кстати, когда посылаешь вещи, письмо, ради всех чертей, шли отдельно. Мне пришлось заплатить за эту посылку 2,65 лиры, а это значит, что с субботы я без табака.



А случилось вот что. Ты помнишь План, который был отправлен Скилсу[172]? За его осуществление взялась контора стряпчих в Лондоне, которая (как мне сообщают) известна своим умением вести не самые обычные дела. Они утверждают, что никаких сложностей быть не должно. Они могут подыскать мне финансового партнера и взять на себя управление моими активами. Теперь вопрос в том, как заставить «Барнарда и Тейлора»[173] отпустить меня. Полагаю, деньги – единственное, что их устроит. Как ты понимаешь, без моего согласия они не имеют ни малейшей возможности заработать на моих вещах ни фартинга, а в согласии в сложившейся ситуации

я им категорически отказываю. Соответственно, я поставил крест на своих книгах[174]. Они хотят их напечатать. Я не дам им этого сделать, пока мне не дадут гарантий, что я получу хотя бы часть прибыли. Поэтому я написал «Барнарду и Тейлору» – жестко, но вежливо, – что готов переместить свои права или, скорее, вызволить их. Тем временем, как ты прекрасно понимаешь, нужно суметь произвести благоприятное впечатление на этих новых людей. Я всегда считал, что никто не будет иметь дело с человеком, который дает понять, что ему это нужно, при том что *все со страстью бросаются с деловыми предложениями к человеку, который всем своим видом показывает, что не желает иметь с ними ничего общего*. Именно такой линии я и придерживаюсь, и если мне придется приостановить общение с ними из-за марок или еще чего-то, я буду громко ругаться. Если все это удачно обернется и я расплачусь с долгами и получу на руки хоть какие-то деньги, я устрою себе месячные каникулы, привезу Питера и Карло в Англию и поселюсь с ними в отеле в Фалмуте, где смогу отблагодарить тебя за гостеприимство самым очаровательным образом. С тех пор я видел их лишь однажды, но они выказывают небывалый энтузиазм. Все это страшно забавно. В последние дни я, в силу обстоятельств, все время сижу дома и едва не довожу себя до слепоты, работая над этой новой книгой. Но прошлые

понедельник и вторник были здесь великолепны. День всех святых и День всех душ[175]. Я отправился по лодочному мосту через лагуну на кладбище Сан-Микеле. Вся Венеция была там – со свечами, цветами и фонарями, все украшали могилы своих покойников. Ты даже представить себе не можешь великолепие этого парка. А что за толпа! Ну вот, я медленно фланировал вдоль тропы, мрачный, печальный, одинокий и все прочее, как вдруг приметил Питера, Карло, Джильдо, Джузеппе и еще четверых (один из которых весьма очаровательный и мне до сих пор не известный, но пока слишком маленький): они тихо стояли, негодники, на порочных своих коленях вокруг могилы одного из своих товарищей и беззвучно молились за упокой его души. В складчину они купили свечей на шесть лир и цветов на четыре; гнусными своими ручонками вырвали они всю прошлогоднюю траву, чтобы могила была красивой и опрятной – просто из любви, откровенно и без какого-либо стыда. Я следил за ними краем глаза, прошел мимо и не стал прерывать их занятий – главным образом от бедности и смущения. Но один из них заметил меня. Я услышал, как кто-то крикнул: «*Ecco'l paron!*» («Смотрите, хозяин!»). И уже через минуту все они бросились ко мне с радостными дружескими приветствиями. Это было пленительно. Никогда не видел ничего подобного глазам Джильдо, ничто не сравнится с белизной его кожи. Кар-

ло с интересом спрашивал о *'l Sior Volpe'* (имея в виду тебя[176] – именно так я им тебя представил, потому что максимум, на что способны их венецианские языки, это переделать Фокса в Focassa). Потом мы вернулись к могиле, и они с наивной гордостью показали мне свою работу; я ее, конечно же, похвалил. Еще час мы гуляли по кладбищу, любуясь другими мо-
196 гилами; в это время то один, то другой приближался ко мне (каждый нашел для этого повод!), чтобы спросить с глазу на глаз: «Сьор, когда же мы поедем на Бурано с ночевкой?» О боже! Ну что за комедия! Если бы вы только пришли ко мне сразу же, как приехали в Венецию! Или я сам не был бы скован по рукам и ногам!

Достал ли ты флорентийский адрес? А адрес Эдуардо? Последний начинает напоминать миссис Гаррис[177]. Письмо получилось бестолковое. Но у меня нет возможности куда-либо выходить. *Пуппарин* совершенно бесполезна: дырявая, как решето, надо было отдать ее в *скуэро* на починку много месяцев назад. Я не уплатил свой годовой взнос в «Бучинторо», поэтому не хочу там показываться. Из-за чего сижу на своей лестничной площадке и пишу, сколько хватает сил. Возможность вот так поговорить с кем-то – настоящий подарок судьбы (правда, не единственный в моем случае). Пожалуйста, держи меня в курсе всех дел.

Твой, Р.

## 5

*Четверг*
[*вероятно, ближе к концу ноября 1909 года*]

Дорогой Ч.,

Спасибо за письмо от 20-го. Адреса получил, но не могу найти на карте Виа Никколини. Рядом с чем она расположена? Я передам фотографии П. и К., по две каждому, когда их увижу. Снимок на лодке, если не возражаешь, оставлю себе на память об этом славном дне. Касательно того, что имел в виду К., то я думаю, что именно это он и имел в виду. [Спрос] всегда был огромным, и с весны, когда он перестал служить у меня, для него начался тот период жизни, когда это занятие стало играть более значимую роль в личной экономике. Но что забавнее всего, – (кстати, прошу тебя, никогда, ни при каких обстоятельствах не показывай мои письма Николсону[278] и не пересказывай ему новостей обо мне. Он *опасен*.) – *Оказывается, я прекрасно знаю Эдуардо Болка*; я был знаком с ним целый год, но даже отдаленно не подозревал о его увлечениях. Он член клуба «Бучинторо» и постоянно бывал там весной и в начале лета, когда я (не имея иного пристанища) днем подремывал в клубе, *набираясь сил, чтобы затем всю ночь рыскать в своей пуппарин по лагуне*. Э. чрезвычайно мне нравился, и я был готов на все, чтобы с ним сойтись. Но дальше *«Бонджорно»* и обмена улыбками,

смысл которых мне понятен только теперь, дело не шло. Сейчас мне совершенно ясно, что он торчал там только для того, чтобы дать мне шанс воспользоваться случаем. Объясняю, почему я так думаю. Мне всегда казалось забавным, что каждый раз он садился читать газеты в той же комнате, что и я; сидел, читал и перечитывал; и я спрашивал себя, что у него на уме на самом деле. В один прекрасный

день я с удивлением выяснил, что он внимательно следит за всем, что я говорю и делаю. Я устроил Фаусто очередную взбучку за невычищенную лодку. Свой многоречивый спич о злостном безделье и манкировании обязанностями я произнес по-итальянски, а главная уловка венецианцев, когда их распекает англичанин, состоит в том, чтобы сделать вид, будто этого англичанина и понять-то затруднительно. Соответственно, Фаусто зевнул и заявил: «*Mi no go capio*», что по-венециански значит «не разумею». Не успел я обозвать его прожорливым, как венецианский голубь, поповским отродьем и повторить свою тираду в переводе с итальянского на венецианский, как Болк (не отрываясь от газеты) обрушил на Фаусто целую канонаду: «Все ты прекрасно понял, все, что сказал этот милорд, все до единого слова. А сказал-то он, что ты, парень, дрянь, петрушка-дурак и хитрая, подлая лисица». Из чего, конечно же, следует, что он, хоть и сидел в другом конце комнаты, испытывал неподдельный дружеский интерес к моим делам…

Представь, как не терпелось мне продолжить знакомство с ним…

Но как раз перед вашим приездом с ним в клубе случилась неприятность: он оказался одним из пятерых человек, повредивших лодки, и должен был выплатить свою долю в порядке возмещения убытков. Я видел это объявление. Трое внесли деньги, а двое Болков так и не заплатили. (С братом я не знаком.) *После чего Эдуардо прекратил ходить в клуб.* Поэтому, вероятно, он и стал так часто бывать на Лидо. В общем, на прошлой неделе я отправил ему открытку (в конверте) на тот адрес, что ты мне прислал, сообщая, что я хотел бы с ним встретиться, чтобы передать сообщение от его *американского* приятеля, остановившегося в «Гранде». Но ответа я так и не получил, и как найти его, не знаю. Может, он в отъезде, может, испугался (хотя это вряд ли), а может, адрес был неполным. Последнее вероятнее всего, потому что ты не прислал мне *номер дома*: Via 22 Marzo значит «улица 22 марта», а 22 марта – день какой-то очередной победы венецианцев над австрийцами[179]. Если мне удастся его найти, я, наверное, скажу, что наш с ним общий друг передает привет и желает узнать, нашел ли он работу, и если ему хочется ответить, то я готов перевести его письмо на *американский* и отправить по адресу. Конечно, не исключено, что я столкнусь с ним где-нибудь на улице. Тогда скажу то же самое. *Но ни на что большее я в данный момент не спо-*

*собен*. И вот почему. Переговоры, о которых я говорил в прошлом письме, закончились неудачей, я опять в том же безвыходном положении и вынужден начинать все с начала. Я нашел адвокатскую контору, которая была готова рассмотреть мои дела с тем, чтобы принять на себя мои активы и обязательства. Их удовлетворило то, что я сам смог им показать,
200 и они назначили день, в который мои нынешние агенты и Пири-Гордон[180] должны были представить то, что имеется у них. Я написал П-Г и своим нынешним агентам с просьбой встретиться с представителями этой конторы, но они ответили только через день после назначенной даты. Соответственно, люди в этой новой конторе испугались и, естественно, заявили, что сделка отменяется. Что, конечно же, в высшей степени неприятно. Бессмысленно надеяться хоть на какую-то удачу, пока я не возьму все дела в свои руки. Но все осталось, где было, никакой выгоды от этого никому нет (что признают и мои нынешние агенты, не жалеющие проклятий в мой адрес), пока я не сниму эмбарго, которое наложил на публикацию своих работ. А я категорически отказываюсь это делать, как уже писал, пока не получу назад свои рукописи или не передам их тем, кто сможет заняться ими должным образом. Бардака в этом деле и так уже достаточно. А получить рукописи обратно можно, только если я найду, кому их передать, оплачу стоимость передачи и высвобо-

жу от других дел, скажем, месяца три, чтобы их доработать. *Для этого мне нужны деньги.* Я тайно разослал по журналам рассказы (общей стоимостью 80 фунтов) – на них никто не имеет никаких прав, плюс у меня на две трети готова новая книга, которая называется «Жажда и поиск целого», *которую я тоже могу продать самостоятельно.* А пока не высказать, какой последней скотиной и ничтожеством я себя чувствую, принимая денежный перевод, который ты любезно прислал. Надеюсь, он предназначался мне? Дай бог, чтобы так, потому что не знаю, как бы я без него выжил. Последние две недели были настоящим Адом. Табака нет, Альпы покрыты снегом, один день с Адриатики дует бора, а другой день ветер со стороны Альп приносит совершенно убийственный холод. И мне приходится жить и работать на *открытой лестничной площадке* дворца, одна сторона которого никогда не видит солнца, в окружении *каменных* полов, стен, потолков и лестниц, без возможности уединиться (лестница, на которой я живу, предназначена для слуг) и *без какой-либо возможности обогреться*. Я даже ни разу не видел огня. И одеяло у меня одно и очень тонкое. Дорогой мой, *я буквально гибну от холода и голода*. Доктора надо ценить. Если бы он не оказал мне гостеприимства, я был бы сейчас на улице, а это конец всем моим надеждам. Но видишь ли, было бы невежливым просить у не-

го чего-то еще. Кроме того, даже если бы я попросил, он бы просто возмутился, а я бы ничего не получил. Он думает, что трудности следует приветствовать, потому что они укрепляют и учат нас терпению. И ведь действительно учат, в каком-то смысле он прав. – НО – правда и то, что я занят долгой и сложной работой, требующей знаний, упорства, сосредоточенности и *непрестанного труда, причем на предельной скорости.* Всеми этими качествами я обладаю, равно как и волей вкупе с самым искренним желанием употребить их. *Но у меня получается делать лишь половину того, что я мог бы, потому что, как я уже говорил, я гибну от холода и голода.* Мне нужна нормальная одежда, тепло, свет, а также говядина с вином. (Благодаря тебе я сегодня тайком насытился последними, и теперь мне есть что курить!) Кроме того, мне нужна еще куча других вещей, и один бог знает, как мне удастся их достать. Но в любом случае, пока я не получу какой-то приличной Суммы, с которой можно было бы работать, остается мириться с нынешней нищетой. Если бы я познакомился с тобой раньше! Видишь ли, *в нынешнем моем состоянии я могу разгуливать по городу, согреваясь ходьбой и развлекаясь по ходу дела. Но когда так болтаешься, совершенно невозможно работать. А мне хочется работать, я должен закончить книгу…* Да, пришли мне, пожалуйста, эти признания. Мне чрезвычайно хочется их увидеть. Объясню, почему, и это

даст мне возможность рассказать, что я имел в виду по поводу Николсона. Ты, конечно, понимаешь, что я наизусть знаю все книги, древние и новые, по этому вопросу; и я всегда говорил, что новые вульгарны, приторны и лишены всякого вкуса, потому что написаны любителями. Я говорил, кроме того, что мог бы написать две книги (как минимум две), в которых была бы *сногсшибательная история,* причем *изложенная художественно, с невиданной доселе живостью и прямотой*. Такие книги, если издать их частным образом в Париже или Антверпене, моментально разошлись бы по фунту за штуку. Так вот, высказав эти соображения Нику, я написал образчик примерно на 10 тысяч слов, под видом истории из собственной жизни, и отправил ему рукопись для обсуждения. Я думал, что они с Виктором[181] могут оказаться уникальными критиками, если будут исходить из *собственного* опыта, который, как все мы знаем, прекрасен и удивителен – тем более, что Виктор теперь взрослый и образованный человек и мог бы дать собственный вдумчивый анализ этой стороны дела. Результат был, однако, пугающим. Рассказываю все по порядку. (1) Ник написал длиннющее письмо: восторги, радостные вопли плюс собственные переживания (описанные, однако, как раз в стиле миниатюр, какие царапают карандашом на стенах туалетов у Марбл Арч) – до невозможности банальные и вульгарные, демонст-

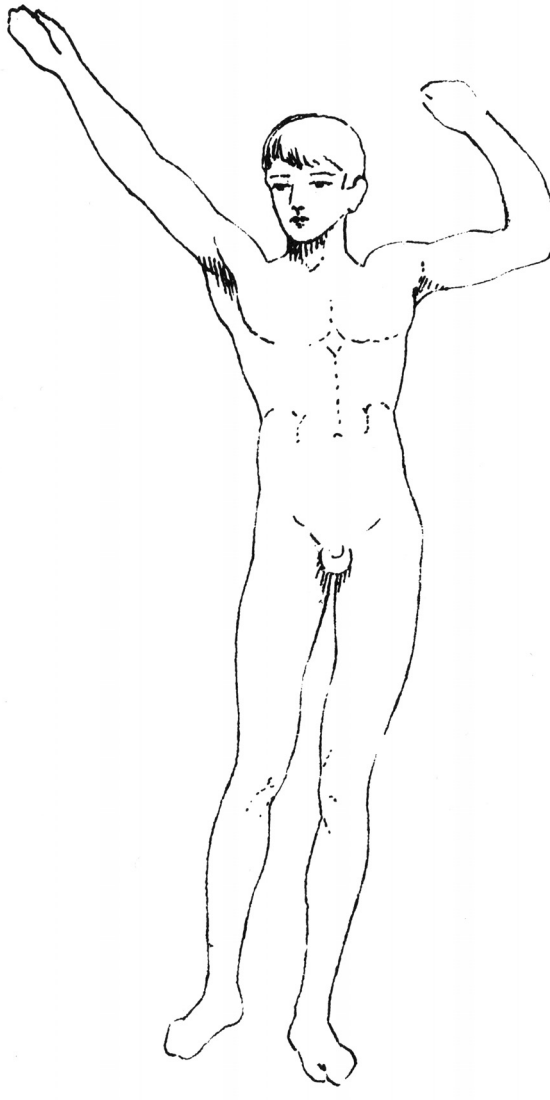
рирующие отсутствие какого бы то ни было внимания к деталям, оттенкам, тонким различиям и т. д., без которого попросту невозможно создать занимательное описание чего бы то ни было – и уж тем более того, что является или может оказаться самой идиллической вещью на свете. (Случайным образом выяснилось, что он по натуре пассивный).
204 (2) Виктор встал на котурны и прочитал мне проповедь. (3) Николсон тоже. (4) Оба стали умолять меня больше не писать ничего подобного. (5) Н. заявил, что не может хранить мой рассказ и даже *намерен стереть его из собственной памяти,* потому что из-за него он чувствует себя таким дурным, каким и быть, по его представлениям, невозможно, но что в то же время рассказ столь прекрасен, что он не посмел его уничтожить. (О да; кроме того, он понял, что впредь должен отвергать объятья Виктора). (6) Естественно, я сидел тихо, покатываясь со смеху над этими абсолютно невыносимыми занудами. (7) Десять недель спустя я осмелился спросить, что стояло за столь полной и внезапной переменой, последовавшей после истерически радостного экстаза. (8) Он ушел от ответа. (9) Я спросил: «Чего ты боишься?» (10) «Боюсь изменить своему идеалу», – простонал он в ответ. (11) Хохоча громче прежнего, я спросил, что случилось с моим сочинением, о котором он не мог хранить даже память и которое не посмел уничтожить, но при этом не нашел в себе доста-

точно порядочности, чтобы вернуть мне. (12) Он, оказывается, рассказал о нем Эдварду Карпентеру[182], а потом… сжег!!! Что ж: поскольку никаких дальнейших объяснений не поступало, я утверждаю, что человек, выказавший себя столь двуличным и лицемерным и, кроме того, позволивший себе столь свободное обращение с авторской рукописью, не просто ханжа, но еще и опасная личность. Бессовестность, с которой он много лет назад украл у меня сонет, напечатав его в своей книге, была уже неприятна[183]. Я думал, он перерастет эти свои грязные привычки. Но эта кража рукописи превзошла все. Жду комментариев.



Сегодня у меня были приключения. Утром я купил пару ботинок и килограмм табака. Обедал здесь: тушеный сельдерей, гренки без масла, вода. Потому пошел в Бонвекьяти, взял стейк и литр красного вина (нового урожая – его только начали продавать, очень пьяное); после чего, чувствуя себя готовым на любые проделки, закурил трубку и отправился на долгую прогулку через Канареджио в гетто – в поисках евреев. Ибо – имей в виду – хороший еврей стоит десятка христиан. Уж не знаю почему, но в них больше огня. Видел одного, за которым собираюсь проследить, потому что к следующей весне он, скорее всего, будет готов. Оттуда я перешел по вокзальному мосту и, дав большой крюк, вышел к гавани на Дзаттере. У причала стоял сицилийский корабль,

и целая армия сладостных юношей бегала туда-сюда по длинным-длинным мосткам с мешками на плечах – они переносили груз в стоящий у берега склад. От мешков воздух был наполнен клубами мелкой мучнистой пыли, которая, как пудра, оседала на лицах грузчиков самым прелестным образом, а запах у нее был просто божественный. Только я остановился понаблюдать, как один из грузчиков привлек мое внимание. Все они были полуголые, со всех пот лился градом. Я всмотрелся в него еще раз, потому что лицо показалось мне знакомым. Он бежал вверх по мосткам и тоже обернулся, чтобы взглянуть на меня. Заметив мой взгляд, он сделал знак, что хочет сигарету. Я запустил руки в карманы, не нашел ни одной и покачал головой. Он взбежал на корабль, а я кинулся к ближайшей табачной лавке и вернулся к мосткам с пачкой сигарет и коробкой спичек. Теперь он уже спускался вниз, пошатываясь под тяжестью мешка. Я наблюдал за ним. Прелестная фигура, молодой, мускулистый, восхитительно сильный, большие черные глаза, румяное лицо, круглая темноволосая голова, пахнет как ангел. Когда он бегом возвращался назад (за ними все время смотрят жандармы), я кинул ему свой скромный подарок. «Кто ты?» – «*Амадео Амадеи*» (чудесное средневековое имя). Когда он появился снова: «Что ты несешь?» – «Лепестки лилий для мыловарни». В следующий раз: «Где я тебя видел?» – «Как-то в прошлом году я один



день был у вас помощником гондольера – вместе с Пьеро». И потом: «Сэр, Круглый Стол». Мой дорогой Ф. Завтра утром опять отправлюсь к этому кораблю. Хочу узнать побольше. Сегодня не мог там оставаться из-за жандармов, теперь попытаюсь вытащить Амадео Амадеи на обед в какую-нибудь тратторию. Смутно припоминаю его лицо, но только смутно. Как будто он внезапно вырос. Вероятнее всего, он был голодранцем, которого Питер подобрал как-то по случаю, и с тех пор прекрасно развился. И конечно же, Питер проговорился. Что ж, могу только сказать, что если это и в самом деле Рыцарь Круглого Стола, который знает дорогу в Каэрлеон, то можешь положиться на меня: я соберу всю информацию, которую, разумеется, *при первой же возможности* проверю. У Питера, Джильдо, Карло и грека (и, как мне кажется, у Эдуардо тоже) – частная практика, потому что ни один из них ни разу не произнес пароля. Тогда как это цветущее создание, судя по всему, профессионал. Новости, однако, будут завтра. Кончу здесь, чтобы через конверт просвечивал неисписанный лист. N. B. Signore, а не Seniore – это значит «старший». Пиши, пожалуйста. Кроме тебя, мне не с кем поговорить.



Р.

## 6

*28 ноября 1909 г.*
*Продолжение предыдущего выпуска*

На следующий день меня постигла очередная неудача. После полудня я отправился в Монте ди Пиета (государственный ломбард), где, будучи при деньгах, намеревался выплатить проценты и потом перезаложить два собрания серебряных вещиц (древние кольца, печати, цепи и массивный крест), которые я принес им шесть месяцев назад. Стоили они 34 и 57 франков соответственно. В ломбарде мне заявили, что все это было продано (в соответствии с правилами) в тот самый день в 11 утра какому-то мелкому ювелиру, торгующему древностями, за сумму, на семь с половиной франков превышавшую кредит и проценты по нему. Каковые семь с половиной франков они мне и вручили. Я узнал у них адрес этого ювелира и отправился к нему. После часа препирательств он позволил мне заложить все эти вещи у него, но уже частным образом и за двойные проценты, поскольку у меня не хватало денег, чтобы их выкупить. То есть он будет держать их еще три месяца, не давая мне никаких кредитов, но забирая себе двойной процент – двенадцать вместо шести, и если у меня будут деньги, через три месяца я смогу выкупить вещицы за 50 и 73 франка соответственно. Был страшно расстроен, но что было делать?

Оттуда я отправился к причалу Сан Баседжио на Дзаттере – повидать Рыцаря Круглого Стола. Начинало смеркаться, и я как раз поспел вовремя, чтобы увидеть в свете заката его гибкую мускулистую фигуру, сбегавшую вниз по длинным мосткам с последним мешком сушеных лилий на плече. Когда он проходил мимо, я сказал: «Окажи мне честь, выпей
210 со мной графинчик вина». – «С величайшим уважением к вашему бесстрашию», – ответил он на ходу. Сдав свой груз на склад, он вышел и присоединился ко мне. Пока он работал, на нем были тонкие фланелевые брюки, аккуратно заправленные в носки, парусиновые тапочки и тонкая рубашка без рукавов, открытая от горла до пупка. После работы он надел поверх всего этого объемистый черный плащ из какой-то плотной материи и широкополую шляпу. Одну полу плаща он перекинул через плечо на манер римской тоги. Причины, по которым я столь подробно описываю его наряд, станут ясны позже. «Пойдем, – сказал я, – в какое-нибудь тихое местечко, где можно поговорить без лишних свидетелей». Глухими переулками мы вышли к небольшому причалу на тупиковом канале, отходящем от Рио Малконтент. Там обнаружилось вполне приличное место, хозяин которого – явный лунатик. Я спросил литр нового красного (очень молодого и пьяного) за шесть пенсов. Мы расположились подальше от входа среди бочек, наши стулья стояли с одной стороны единственно-

го имевшегося там стола. Прилавок, за которым сидел сонный хозяин, располагался между нами и входом, других посетителей не было.

Я попросил его рассказать о Круглом Столе и внимательно следил, чтобы он успевал выпить два стакана, пока я сижу с одним. Естественно, я то и дело угощал его сигаретами. Он сказал, что раньше был некий дом на набережной Осмарин, но когда в прошлом году всю Италию охватил ужас, потому что Австрия захватила Герцеговину и внезапно разметила на границе восьмидесятитысячное войско, тогда как у Италии там было только шесть тысяч (а надо понимать, что от Венеции до этой границы нет и тридцати миль, и город едва с ума не сошел от страха), венецианцы, возненавидев все немецкое, пришли и побили окна в этом доме, обзывая находившихся там мужчин и мальчиков «Эуленбергами»[184]. В связи с чем попечители (comitato) – а это был частный клуб, учрежденный весьма и весьма почтенными синьорами, – перевели его в Падую, где приобрели здание специально для этих целей. Это полтора часа от Венеции на пароходе и затем на поезде. Он сказал, что клуб раньше работал день и ночь, десять мальчиков всегда были там наготове. Плата составляла 7 франков за комнату плюс какое-то вознаграждение мальчику, но его нужно было платить в присутствии приказчика и оно не должно было превышать пяти франков, даже если вы провели вместе целый день или целую ночь, то есть

5 фр. плюс 7 фр. за 12 часов. Любой мальчик, не только те, кто там работал, мог привести синьора. И таких было много – в основном гимназисты или ученики техникумов, стремившиеся заработать какие-то карманные деньги. Но теперь, к сожалению, все эти молодые венецианцы остались без работы, потому что в Падуе большой университет, 1300 студентов всех возрастов, а кроме того, множество школ; и тем, кто там учится, тоже вечно нужны деньги. Тем не менее, кое-кому из оставшихся без работы венецианцев время от времени удается найти работодателя; тогда они вместе едут в Падую, чаще всего с субботы до понедельника, где и получают взаимное удовольствие от конкубината в день отдохновения. (Я почти буквально перевожу его итальянский, потому что он до смешного наивен). Сам он открыл для себя все это лет в тринадцать или около того. Один из его двоюродных братьев внезапно осиротел, переехал жить к ним и стал спать с ним в одной постели. Брату было четырнадцать, кровать была узкая, образовалось некое переплетение, которое обоим доставило удовольствие. И вдруг они вместе выплеснулись. (Ты бы застонал, если бы увидел, как он рассмеялся: эти огромные черные глаза, большие белые зубы, это пахнущее лилиями молодое розовое лицо). Поскольку это их очень развеселило, они продолжали прижиматься друг к другу, живот к животу, и у них снова все получилось. Так продолжалось много

ночей подряд. Потом какая-то шлюха заглотила на 80 франков у его старшего брата, двадцатилетнего, одарив его взамен крайне скверной болезнью, очень обеспокоившей семью. После чего они с двоюродным братом порадовались, что им доступно менее рискованное удовольствие, и поклялись никогда не прикасаться к шлюхам. Через некоторое время этот двоюродный брат (они оба при случае подрабатывали гондольерами, как я и подозревал) узнал об Осмарине. Его привел туда покровитель. Амадео Амадеи, не без некоторого трепета, тоже пришел туда и попросил работу. Ему ответили: «Приведи синьора». Он пошел в церковь Сан-Франческо делла Винья, помолился черной испанской мадонне, и она послала ему Графа. Так он и начал. Многим Графам, Князьям и блистательным синьорам служил он в этом месте, придумывал, не жалея изобретательности и сил, как доставить им удовольствие, и его все это тоже радовало – помимо того, что позволяло наполнить карманы.



Покровителей он находил так. Первый, Граф, заговорил с ним на Джардинетто, где он болтался как-то утром, потому что у него не было работы; рубашка у него, как обычно, была расстегнута, потому что он жаждал воздуха. «Какой милый мальчик», – сказал Граф и погладил его по груди. На что он ответил, что он такой, каким его создал Бог, и предпочел бы оказаться голым. После чего Граф повел его в Осмарин, где и провел с ним целый

день. С тех пор он всегда разгуливал с голой грудью, даже на Пьяцце, и вскоре синьоры начали ходить за ним по пятам, он же кивал им в первом же укромном месте и таким образом находил покровителей. Но с тех пор как клуб переехал в Падую, честному парню – а ему уже шестнадцать с половиной – стало трудно найти занятие на ночь. Днем он работает

грузчиком на пристанях Дзаттере или в бухте Мариттима, получает обычно 3,50 за день, из которых 3 должен отдавать отцу, который тоже грузчик и получает ровно столько же. Старший брат служит в армии. Двоюродный брат работает гондольером у купца, то есть у бакалейщика, у которого живет и с которым спит. Один из младших братьев, двенадцатилетний, разносит молоко за 1,50 в день. Кроме них, есть еще мать, бабушка, пятеро сестер и трое младших братьев, и всех их надо кормить на 8 франков в день. Естественно, ему бы хотелось зарабатывать и для себя тоже.

Он заверил, что мне и не представить, как здорово он умеет развлекать своих покровителей. «Во-первых, Сьор, взгляните на меня». И это проворное создание проделывает все, о чем я пишу дальше, секунд примерно за тридцать. Не больше. Я уже сказал, что мы сидели бок о бок за маленьким столиком. Каждый сантиметр его тела пришел в движение; он поднялся – проворно и плавно, по-кошачьи, быстро окинул взглядом заведение, чтобы удостовериться, что никто не смотрит. Ни-

кого не было – только сонный хозяин дремал за стойкой. Он скатал свой плащ в подушку и положил его на мой конец стола, расстегнул брюки, спустил их до лодыжек и уселся голым задом на другой конец стола. Вывернул рубаху над головой, схватил ее в кулак и, широко раскинув руки, улегся на столе, плечами на подушку (так, что грудь, живот и бедра слились в одну слегка покатую дорожку, гладкости которой не нарушали вздымающиеся ребра, как это бывает у плоскогрудых), открыв свою прекрасную шею и запрокинув назад румяное смеющееся лицо; широко раскинутые руки манили и звали. Это была одна блистательная, благостная волна: гладкие, как атлас, мышцы, груди, живот, пах, плотно сжатые бедра и (в гуще черного цветения и буйства) елда – как пика с розой на конце. И сверх того – упоительный аромат здоровой молодости и дурманящий запах сушеной лилии. Он скрестил лодыжки, сжал, слегка подрагивая, ноги, один или два раза повел бедрами и застыл, превратившись в самую что ни на есть аппетитную массу свежего мяса; предлагая всю эту живую плоть, он смеялся мне в лицо. В следующее мгновение он был уже на ногах, брюки застегнуты, рубашка заправлена, плащ накинут на плечи. Литр вина кончился. Я попросил еще один. «Сьор, – сказал он, – на этот раз пол-литра, с вашего позволения». И мы заказали пол-литра. Неужели мне не хочется уехать с ним в Падую с субботы до понедельни-

ка? Конечно же, хочется. Ничего другого мне и не надо. Но раз уж я вижу, что ты, мой Амадео (то есть «божественная любовь», вполне пуританское имя), будучи очень способным юношей, умеешь молчать, как никто другой, открою тебе свою тайну: ведь ты и в самом деле должен знать, что я, разоренный предателями, больше уже не богатый англичанин,

а бедный, и вынужден поэтому отказывать себе в удовольствиях. Услышав это, он расстроился и принял очень скорбный вид. И все же он хотел бы сказать, что остается целиком и полностью в моем распоряжении просто в силу особой ко мне расположенности; потому что будучи уверенным в своей способности доставить мне бесконечное число удовольствий, каждое из которых будет интереснее и сильнее предыдущего, он просит меня об одном только одолжении – очень большом одолжении: чтобы я впоследствии отрекомендовал его своим благородным друзьям. И он тут же, без всякой паузы, перешел к описанию всех своих фокусов.

Он уложит меня к себе на живот, мой мальчик согреется у него между ног, все тело его будет у меня в руках, шея, грудь или плечи – на милости моих губ, я смогу даже кусать его подмышки, если мне того захочется, и так я буду лежать на нем – тихо, неподвижно, захватив его ноги своими и обняв его руками за бедра, чтобы направлять моего мальчика, который будет набухать, как он и должен, набухать, на-

бухать, пока не станет совсем тугим, пока все во мне не затрясется и я не начну вонзать его, толкать и всаживать, пытаясь проткнуть ему бедра, всаживать 242 раза, неистово и еще более неистово, вонзать со всей силы – пока неожиданно не обнаружится крохотная щелочка и мой сильный мальчик не проникнет в складки его кожи, пыхтя и плюясь от радости. Но такова уж его способность приносить людям счастье, что он и тогда заставит меня продолжать – вонзать еще и еще, еще пятьдесят раз, пронзать насквозь, и второй раз принесет мне еще большую радость, пока мальчик мой не утомится окончательно. Он же, если мне того захочется, кончит одновременно со мной. Или, если я только пожелаю, уляжется на меня, пока я буду отдыхать, и кончит четырежды ровно за двадцать две минуты.



И это только начало вечера. Потом мы уляжемся, обнявшись, чтобы отдохнуть и восстановить дыхание – для поцелуев и прочих ласк. Он, к тому же, умеет едва заметно изгибаться, чуть-чуть ерзать все время, плотью о плоть, полностью нагой, чтобы доставить удовольствие синьору. В поцелуях он разбирается досконально, но особенно ему удается отдельная их разновидность, когда он целует патрона в подмышку, обхватив его тело руками и удерживая его ноги своими – поцелуи силы непостижимой, восхитительные в своем экстазе. Потом он был бы уже готов к тому, чтобы я вколотил ему сзади; тогда он уляжется, раз-

двинув колени как можно шире, и тут ему нет равных, потому что, открывшись, он забирает в горячее нутро всю елду целиком – до тех пор, пока сам от нее не одеревенеет, а патрон не кончит ему прямо в горло. И раз уж речь зашла о том, чтобы кончить в горло, то пусть патрон просто ляжет на кровать, свесив ноги, он же ляжет сверху, грудью ему на живот, заранее раздвинув руками ноги, и будет сосать елду своего патрона, ноги же его будут высоко в изголовье кровати, он раздвинет их и свесит собственную елду так, чтобы патрон, если ему захочется, мог припасть к ней губами, чтобы – по специальному знаку – они одновременно вкусили бы соки друг друга.



Короткий сон, в обнимку, ради передышки. Потом, когда оба проснутся разгоряченными, он – чтобы успокоиться перед ночным сном и унять похоть патрона – ляжет поперек кровати, свесив с одной стороны ноги, а с другой – голову, в полной готовности принять своего патрона телом и чреслами. Пусть взбирается на него. Пусть оседлает и скачет. Я помогу ему сделать со мной все, что ему захочется. И потом ночь, сон друг у друга в объятьях. Кто проснется первым, прижмется к другому или ляжет поверх, чтобы получить свою долю удовольствий. Быть может, патрону захочется пройтись и подышать свежим воздухом. Потом мы возвращаемся и начинаем все снова. Для патрона тело мое всегда найдет новые изгибы. Потом мы обедаем. Остаток дня

проводим в кровати. Затем ужин. После можно сходить в кинематограф. Потом еще одна ночь, и снова мы вместе, снова развлекаемся, как и раньше. Рано утром мы просыпаемся и припадаем друг к другу еще раз, перед тем как расстаться. После чего отправляемся в Венецию. Сьор, молю вас, испробуйте меня. Просто из расположения ко мне (pro affetto) дайте мне показать вам, что я умею. Я ответил, что не могу себе этого позволить. Но можно он хотя бы придет ко мне домой? В любой вечер после пяти и до шести утра он мог бы быть в распоряжении синьора. НЕТ: я не могу принять его дома, мне это неудобно. Знает ли он какое-нибудь место, куда мы могли бы прийти вдвоем на час-другой? Как это ни печально, но нет, сейчас он такого места не знает. У него есть патрон, художник, живущей на Калле*-что-то-там на Дзаттере, тоже англичанин – по средам за 3,50 в день он пишет его нагим, после чего пользуется им там же для удовольствий, но другого патрона он туда привести не может. Конечно же, надо полагать, что не может. Если бы я согласился поехать в Падую, он бы сам заплатил за билет. Нет, сожалею, но нет. Он в отчаянии. Я дам ему знать, когда я смогу, и мы совершенно точно отправимся в Падую. Выпей еще вина. Тысячу благодарностей, но ему не хочется. Еще сигарету. Двадцать тысяч благодарностей. И мы ушли.



* Calle – узкая венецианская улочка.

Он говорит, что Питер и Джильдо любят друг друга, но занимаются этим только между собой и ни с кем больше, хотя они с Питером однажды провели вместе целую ночь – летом, в лагуне, на гондоле отца Питера. П. пользуется большой популярностью у женщин, но не может кончить больше, чем дважды за ночь. Тогда как у Амадео получалось во-
220 семь раз, и он клянется, что с горячим патроном сможет и двенадцать! Жду комментариев.

Р.

## 7

*11 декабря 1909 года*

Дорогой Ч.,

У менял я довольно легко обменял переводное письмо, *не подписав его,* и получил 6,25, т. е. на 2,5 пенса больше его номинала. Не знаю, как это вышло, и выяснять смысла нет. Но боже мой, боже мой, если бы ты знал, что каждое одолжение такого рода втаптывает меня все глубже и глубже и все омерзительнее в трясину – облегчая мне жизнь на какой-то момент, оно менее чем бесполезно для того, чтобы освободить меня от нужды и поставить на ноги. Не прими это за грубость. На самом деле я бесконечно благодарен тебе за твои добрые чувства. Ты один-единственный в этом мире, с кем я могу разговаривать открыто, как с другом. Представь теперь, как я ценю

твою дружбу – и как сильно стремлюсь быть достойным этой дружбы и не лишиться ее. И вот *ровно потому, что я охвачен самым страстным желанием сохранить твою дружбу, которая выпала мне, когда никакого другого друга у меня не было,* – умоляю тебя прочитать все, что последует, и обдумать со всей серьезностью. Убежден, что такое положение продолжаться не может. Почему в прошлом у меня было столько друзей, а теперь я их всех растерял? Причина проста. Они устали. Я им нравился, они сочувствовали моей нужде; и они выдавали мне помощь – чайными ложечками. Но дружба возможна лишь между равными. Никакие деньги сюда примешиваться не должны. И тебе, кстати, тоже станет скучно, и тебя начнут утомлять и раздражать вечные стоны, которые я вынужден издавать, вечный плач по твердой руке, которая должна, наконец, явиться, чтобы вытянуть меня из этого проклятого болота и поставить на ноги. В этом не было бы ничего особенного – это предприятие не назовешь ни трудным, ни рискованным. *Я смог бы дать преимущественное право на мою новую книгу,* которая будет готова уже в феврале, за двести фунтов сразу и по два фунта в неделю в последующие шесть месяцев. С этими деньгами я мгновенно вернул бы себе приличное положение, передал бы собственность в надежное управление и продолжил бы изо всех сил работать над свежими книгами. Бога ради, сделай же отчаянное

усилие и найди какого-нибудь перспективного делового человека, который сделал бы все это для меня. Это был бы поступок истинного друга; да и ты избавил бы себя от моего занудства и смог бы извлекать бесконечно большее удовольствие из нашей дружбы, отмеченной на редкость неблагоприятным началом. Неблагоприятным я называю его вот
222 почему: если бы ты был обычным человеком, как К. или Дж.[185], ты, найдя меня неприглядным, жалким и бедным, поступил бы так же, как они, то есть проявил бы вежливость и поздоровался. Это было бы естественно. Но ты, будучи одним из десяти тысяч, пошел не в пример дальше. Бедность, жалкое мое положение и неприглядный вид – знаки, достаточно неблагоприятные, чтобы отпугнуть их, не произвели на тебя того же эффекта. Но еще произведут, дорогой мой, еще произведут – если нам не удастся, причем в ближайшее время, добиться перемены в моих неблагоприятных обстоятельствах. Ты утомишься. А я лишусь шанса удержать еще одного друга… Знаю, что ты не тот человек, который будет творить благо ради вознаграждения. Поэтому уверен, что ты не поймешь меня превратно, когда увидишь, что я собираюсь сказать дальше. Ты говоришь, что с нетерпением ждешь следующей осени. Кроме того, ты писал, как только вернулся в Фалмут, что ты, похоже, обречен получать все, что хотел, скопом и в самом конце каникул, когда воспользоваться всем этим

уже не успеваешь. Так не лучше ли – чем снова пускаться в бессмысленные поиски – *заранее позаботиться о том, чтобы к началу следующих твоих каникул все были готовы к твоему приезду?* Следующей осенью Питер будет уже карабинером, Дзорци (грек) – в Англии, Амадео, Джильдо и Карло можно будет считать уже переростками. Если бы я был свободен СЕЙЧАС (посредством описанной на предыдущей странице операции), я бы к следующей осени нашел тебе жилье и подходящих слуг. Более того, если бы я был свободен СЕЙЧАС, я не испытывал бы никаких сложностей с тем, чтобы отдать свою собственность в надежное управление и получить от нее достаточно денег, чтобы вернуть тебе 260 фунтов и, помимо того, на месяц привезти в Англию Питера и Карло – *куда и когда тебе захочется*. Рассмотри это сейчас. Подумай об этом; а потом смело принимайся за дело.



Я снова написал Эдуардо. Убежден, что он напуган до безумия. И, как я уже говорил, весьма маловероятно, что по адресу, который он дал Кокертону, до него вообще что-то доходит. «Via 22 Marzo» значит просто «улица 22-го марта». А *номера* он просто не указал. Но самое важное как раз номер, потому что в Венеции нумеруют не улицы и не церковные приходы, а районы, которых в городе шесть. Тут так же, как с нумерацией районов в Лондоне. Лондонский адрес – к примеру, где-нибудь

в Вестминстере на улице Виктории, если писать его на венецианский манер, будет выглядеть так: «Victoria Street 5795 Westminster». Или какой-нибудь адрес в Пэддингтоне: «Praed Street 14523 Paddington». Адрес Эдуардо должен был бы выглядеть так: «Via 22 Marzo (скажем) 3615 San Moisè Venice». Не хватает номера дома; и один только бог знает, как мне его найти.

Тем не менее, еще одну попытку я предпринял и отправил ему *открытку*. Сообщу, если что-то произойдет.

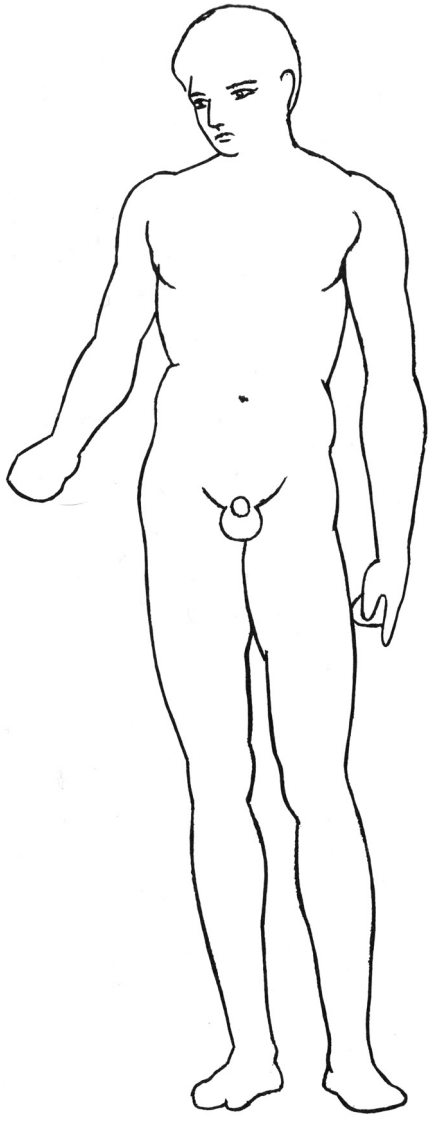
Рад, что тебе нравятся мои описания. Скажи, они действительно доставляют тебе удовольствие, ты правда видишь то, что я описываю? Мне чрезвычайно важно это знать, потому что писать – моя профессия и я всегда стараюсь понять, в чем мои промахи и слабости, чтобы попытаться их исправить. Писательство – жалкое занятие, но я стараюсь добиться совершенства, насколько это возможно. А совершенным оно бывает только тогда, когда удается взволновать читателя, вывести его за пределы его самости и за пределы этого мира – в мой мир, к вещам, о которых я пишу. Газетные критики (а они примерно такие же зануды, как и все прочие) утверждают, что я пишу «необычайно живо». Но мне этого мало. Из этого не узнаешь того, что мне хочется знать, а именно: пишу ли я так, что читательское воображение начинает видеть, слышать и ощущать вкус и запах вещей, которые я ри-

сую? Боюсь, в истории с Амадео мне это не вполне удалось. Но она была настолько из ряда вон выходящей, даже по здешним меркам – его бойкая страстная болтовня, где каждое слово бьет в точку, потоком обрушившаяся на мои уши – его горячечное стремление отдаться, полностью отдаться каждым своим атомом, внутри и снаружи – его молниеносная демонстрация всего своего арсенала: раз- 225
деться в одно мгновение, откинуться назад, выставляя напоказ эту громаду розовой мускулистой наготы, – как он изгибался, и особенно как вытягивался, как застыл на какой-то миг в ожидании, как обольстительно улыбнулся! – и как быстро потом вскочил и оделся. Стоит мне подумать, каким он был бы в деле, как меня бросает в дрожь. Кипевшая в нем страсть была совершенно ошеломительной. Если бы с ним был я, то уверен, что двое суток в Падуе, с субботы до понедельника, превратились бы в одну долгую неистовую схватку нагих тел, в круговорот горячечных объятий, энергии и силы которых – душевной и физической – мне хватило бы еще на месяц. Я и сам не сказать чтобы слаб, и хоть до нужной точки я дохожу очень медленно, зато уж когда разойдусь, могу вести себя довольно дико и при этом не уставать. Амадео же как раз созрел, как раз в самом соку. Мне так знаком этот тип. Год назад, когда он пришел третьим гребцом на мою пуппарину, это было нечто долговязое и совершенно неинтересное – пус-

тая вафля. С тех пор, набегавшись вверх и вниз по сходням с тяжелым мешком на плечах, он приобрел некоторую начинку: работе он обязан самым очаровательным облачением из свежей мускулистой плоти, трудовой пот сообщил его коже гладкость атласа и нежность лепестка розы, благодаря работе черные глаза, крупные белые зубы и кроваво-красный рот

засияли энергией и здоровьем, а страсти накалились, как семикратно протопленное горнило. Таким он будет до весны, то есть еще месяца три. Потом какая-нибудь большущая корова, толстая и медлительная, просто раздвинет ноги, тихо уляжется рядом и вытянет из него все соки. Сначала увянет его роскошное цветение. Потом мускулы его затвердеют, а кожа обрастет шерстью. К июлю у него вырастут усы, на месте нынешней мальчишеской красоты появится волосатая грудь, в молочных подмышках вымахают целые кусты, прелестные молодые бедра покроются густой щетиной, и он превратится в обычного грузчика, каких у каждого причала не один десяток. О боже! – и именно сейчас я не имею возможности поживиться красотой, которую он столь открыто предлагает! Вот что это за тип. И знаешь ли, я убежден, что к этому прекрасному материалу относятся с излишней расточительностью, вовсе им не пользуясь. Мальчики, которым *нравится* развлекаться с людьми своего пола, большая редкость. Не следует ли именно поэтому привечать их и заботливо

воспитывать, раз уж пришлось с ними столкнуться? И неужели не ясно: мальчик, нежный, здоровый и сильный мальчик, действительно получающий удовольствие от любви, которую испытывает к нему мужчина, со всеми ее нагими радостями, мальчик, который этой любви жаждет, ищет ее и, не скрывая ликования, бросается в жар ее страстей – безоглядно, в полном самозабвении, охотно принося себя в жертву или действуя в ответ с той же жадной невоздержанностью, – разве не ясно, что такой мальчик сохранит свежесть и энергию юности несравнимо дольше, чем обычный парень, трахающий с самого отрочества обычную девку? И разве не правда, что страстный мальчик нуждается в каком-то выходе для своих страстей? А когда, предпочитая мужчин, он не может по какой бы то ни было причине получить то, к чему склоняет его природа, не попадает ли он едва ли не автоматически в женские объятия и не превращается ли в мгновение ока в нечто «мужеподобное»? Посмотри на Фаусто. Этот еврей уже произвел на свет потомство. Источником радости, чистой радости, для своего пола он уже, конечно же, не является. Он еще достаточно молод, тем не менее, чтобы отвлечь кого-нибудь минут на десять. Но я никогда уже не буду считать его лакомым кусочком, который хочется проглотить, нежной молодой плотью, которую не терпится обхватить руками и ногами, чудесным, задыхающимся от любви телом, которое хочется



крепко прижать к собственному. То же самое относится и к нашему нынешнему комплекту: если не пользоваться ими сейчас, если не развивать их и не совершенствовать, то к пасхе они расцветут, к середине лета начнут плодоносить, а к осени увянут. Конечно, всегда есть другие. Но как найти их, причем в готовом виде, когда они потребуются? – Здесь я должен рассказать тебе о своем тифозном мальчике и его брате. Кажется, о первом я тебе писал, его зовут Беттамио. В августе, пока он лежал с этим тифом (который подхватил в Кастельфранко), я каждый день приходил его навестить. Тогда мы с ним далеко зашли *на словах* по дороге любви. Он был очень красив в постели – насколько я мог его рассмотреть, а рассмотрел я немного, потому что в комнате всегда был кто-то из родственников. Однажды мы поцеловали друг другу руки. Его отец – инженер-капитан военного флота. Он живет с матерью (которая негласно ушла от отца из-за разности характеров, но так с ним и не развелась) и двумя братьями, тринадцати и одиннадцати лет (ему самому 16) – бедно, но очень прилично. Когда ему стало лучше, он устроился секретарем за 7 франков в неделю; я, бывало, провожал его по вечерам домой. Конечно, я никогда не приду в дом его матери. (Пока он болел, он жил у дяди). Холостяк не может прийти домой к полуразведенной женщине. Как бы то ни было, мы очень дружили. Он высокий, тонкий, темноволосый,

спину держит прямо, разговаривает приветливо, очень обаятелен, имеет прелестную привычку поглаживать собеседника по руке. На самом деле мы дошли уже до того, что мой поцелуй при расставании доставил бы ему удовольствие. Поцелуи могли бы войти в привычку. И такой мальчик, пусть он даже и ходил время от времени в бордель, был бы только рад открыть для себя более приятный и безопасный способ. Что ж, однажды он не явился на встречу. А я, по разным причинам, после этого не предпринимал никаких попыток с ним встретиться. Во-первых, потому что меня легко обидеть, а во-вторых, потому что я отчаянно беден, жалок и не способен предпринять следующего шага, то есть сделать то, что хотел, а именно поехать с ним на Бурано, где мы могли бы спать вместе, и провести там ночь и следующий день (скажем, с субботы до понедельника). На протяжении нескольких недель (на самом деле, до вчерашнего дня) мы не встречались и не поддерживали никакой связи. Мы не ссорились. Я просто не предпринимал никаких попыток – ни для того, чтобы его избегать, ни чтобы его встретить, потому что у меня не было средств, чтобы увидеть его голым. Он тоже не предпринимал никаких шагов, чтобы увидеться со мной – без сомнения, по причине своей застенчивости. Но вдруг вчера он позвонил мне по телефону: не мог бы я встретиться с ним вечером как обычно? – прозву-

чало робко и нерешительно. Я сказал, что напишу. Сегодня утром в восемь выбегаю к мессе (все время с прошлого письма к тебе я пролежал в постели) и тут же сталкиваюсь с Беттамио. (Одет он был изысканно.) Он приподнимает шляпу, нервно протягивает руку и начинает объясняться. Он-де забыл о нашей встрече. «Почему ты меня покинул?» Молчание. «Я не могу больше ждать». Я устремился дальше. Только что написал ему следующее: «Не понимаю, зачем ты поздоровался со мной сегодня утром на улице. Либо ты хочешь, чтобы я был твоим другом, либо нет. Если тебе и в самом деле хочется, чтобы я был твоим другом, то почему ты бросил меня, почему я был один все эти недели? Мы договаривались встретиться, чтобы я увидел тебя в мундире (он доброволец). Я простоял на мосту Сан-Евфимии с 6:30 до 8:30, но ты так и не появился. Потом ты молчал несколько недель. Ты не искал меня, чтобы встретиться, не написал даже письма, чтобы извиниться и объяснить, что произошло. А теперь, когда ты столь долго пренебрегал мной, ты обращаешься ко мне, как будто это я тебя обидел. Мне это надоело. Я тебя не обижал; но тобой я обижен – и это я, друг, готовый отдать тебе все. Если с тобой приключилась какая-то беда или неприятность, то почему ты скрыл это от своего друга? Зачем вообще что-либо от него скрывать? Почему ты не платишь мне той же откровенностью, тем же доверием

и расположением, с которыми я к тебе отношусь и которыми ты должен мне отвечать, если хочешь, чтобы я был твоим другом? Я все это время пролежал в постели больной и даже сейчас не могу выйти вечером, чтобы поговорить. Поэтому пиши, если тебе этого хочется, от сердца к сердцу».

Думаю, ты согласишься, что объяснение
232 вышло довольно ясное и что оно либо отвратит его раз и навсегда, либо приведет прямо в мои объятья. Если первое, то не стоит о нем переживать. Если второе, то пусть Небеса пошлют мне средства, чтобы я мог *застать его врасплох*. Это должно быть с субботы до понедельника, причем ближайших. Надеюсь, все получится, ибо я верю, что он способен довести до экстаза и сам получить от этого удовольствие. И еще одна причина, по которой я действительно этого хочу: я присматриваюсь к его брату (Галлиено его зовут или как-то так), которому сейчас 13. Пока Беттамио болел, этому мальчишке, конечно же, понадобилось целый день пролежать в той же комнате с простудой. Он был почти голый и слишком непоседливый, чтобы тихо лежать на месте: то и дело вскакивал и время от времени проносился через всю комнату, весело сверкая изящными бедрами (отрада для глаз!) и демонстрируя совершенно очаровательную грудную мышцу, тянущуюся к плечу, – чем приводил меня в состояние транса. Это очень милое существо с лучезарной кожей, жгучими глазами, каш-

тановыми локонами и полными, знойными губами, которое к следующему лету, скорее всего, превратится в пульсирующую и трепетную девственную плоть, вполне пригодную для объятий. Я думаю о будущем, как видишь. А сейчас помолись за меня, помолись хорошенько. Я страшно простудился, как только отправил тебе предыдущее письмо. На этой продуваемой всеми ветрами лестничной площадке, куда совсем не проникает солнце, зверски холодно. Соответственно, мне пришлось улечься в постель (одеяло у меня одно), накрывшись всей одеждой, какая у меня есть. «Мой метод лечения простуды, дорогой Роуф, – ласково сказал доктор, – надежен, однако требует усилий. Без устали молите Бога, чтобы он либо избавил вас от нее, либо благословил болезнь и дал вам силы ее перенести. Молитва и восемь дней на одной ячменной воде поставят вас на ноги. После этого много не ешьте. В качестве обычной диеты я бы рекомендовал кофе с хлебом два раза в день».



Я молился, пил эту гнусную ячменную воду, а теперь получаю два раза в день паскудный кофе с хлебом: я так сильно кашлял и так жутко от этого обессилел, что не способен уже даже кашлять, а просто сижу в кровати, греюсь и пытаюсь писать. Но эта окаянная работа почти не продвигается. На улицу за все эти дни выходил лишь однажды. Мой дорогой Ч., прошу тебя, во имя самой дружбы, приди скорее на помощь. Близится Рождество. Каким

оно будет? Уже вторым в жалком и безнадежном состоянии полного бессилия или первым Рождеством новой эры?

Р.

N. B. Ни при каких обстоятельствах не рассказывай обо мне Николсону. Он сжег мои бумаги из чистой трусости и желания мне напакостить. Что там с этой фотографией в обнимку?
234 Добейся признания, но сначала опиши мне его: возраст, внешний вид, обстоятельства, характер, историю.

## 8

*28 декабря 1909 года*

Дорогой Ф.,

Тысячу благодарностей за письмо и почтовый перевод. Последний был истинным счастьем, поскольку позволил мне вознаградить наш Алфавит[186], никого не обидев. Для этих венецианцев Рождество и Новый год так много значат, что отсутствие традиционных подарков могло бы серьезно пошатнуть наши планы на будущее. Я сказал им, что подарки от тебя; ты бы подавился от смеха, если бы слышал, что они сказали в ответ. Особенно трогательно получилось у Пьеро. «Сьор, так это от господина с усами или от [*вымарано*]?» Я ответил, что от господина с усами. «Какое совпадение! – говорит Пьеро. – Сердце у этого господина – чистое золото, как и его усы.

Дай ему Бог, чтобы душа его покоилась на коленях у Девы Марии!» Никто из них не [*вымарано*]. Они [*вымарано*]. Выведать у них ничего не удалось, разве что вот: Карло во всех подробностях разъяснил, что Дж. бросил его без всякого предупреждения. Пьеро и Джильдо тут же напросились сходить со мной в кинематограф. Мы пошли. Картина оказалась отвратительная, но это был шаг в верном направлении. Ты просто не представляешь, какие они роскошные: оба здоровенные и растут день ото дня, Пьеро длинный и поджарый, Джильдо длинный и мускулистый, великолепные фигуры, прямая осанка, оба такие сочные, что хоть святых вон выноси, но в то же время горячие, как огонь. А у Джильдо такая удивительно сладкая, ленивая улыбка. О боже!



Вторая открытка Эдуардо никаких результатов не принесла. Понятия не имею, как его найти. Мне почему-то кажется, что однажды вечером я столкнулся с ним здесь на Кампо[187], но было уже темно и я не уверен. Если бы я был одет поприличнее и у меня было бы место, куда я мог бы его пригласить, я стал бы совершать ежевечерние прогулки по площади Сан-Марко. Если он вообще здесь, то там его точно можно было бы встретить. Но я уверен, что он напуган, то есть отыскать его будет не так просто, а когда найдем, потребуется некоторая обработка.

Открытка, которую я отправил Беттамио, тоже обернулась полным провалом. Он не от-

ветил ни слова. Зато в Сан-Тровазо я встретил его младшего брата, Саверио его зовут. Он снял кепку и уже готов был заговорить, но я только кивнул и прошел мимо. На сегодняшний день задача состоит в том, чтобы держать их всех на расстоянии вытянутой руки. Потом, когда представится возможность хоть что-то сделать, наверное, имело бы смысл приняться

за культивацию Саверио в ущерб его брату. С последним, впрочем, тоже нет никаких проблем: убежден, что он просто слишком молод, застенчив и горд, его легко можно было бы укротить, если бы я не был столь беспомощен.

Что же до меня самого, то дела идут все хуже и хуже. В жизни у меня не было столь нехристианского Рождества. Ни разу! Губы мои не притронулись ни к говядине, ни к индейке, ни к рождественскому пудингу, ни к сладким пирожкам, а я все это ОБОЖАЮ. Никто меня не поздравил, ни лично, ни письмом, кроме здешних слуг и мальчиков. Ни одна душа. Николсон, гад, прислал мне рисунок гондолы (везущей уголь в Ньюкасл) и стих из Исайи про благотворность страдания[188]. Его чутье на самое неподходящее и несвоевременное и в самом деле граничит с гениальностью. – Не думаю, что я когда-либо чувствовал себя столь безнадежно и окончательно жалким. Но худшее впереди. С тех пор, как я писал тебе в последний раз, наш дорогой доктор, благочестие которого достойно Плимутских братьев[189], уволил троих из шести слуг, мужчину

и двоих горничных, переложив на меня всю их работу – чем я с тех пор и занят. Приходится вставать в 5:30, чтобы разжечь огонь на кухне, наполнить цистерны, отделить молоко от сливок с помощью специальной машины и натаскать дров для печей. Дьявольски тяжелая работа. Дрова привозят на баржах и складывают бревнами в подвале. Их нужно два вида: одни для розжига, другие для протопки. Я распиливаю бревна до нужной длины, топором раскалываю на щепки те, что для розжига, и поднимаю все это наверх по лестнице – примерно десять корзин в день, каждая весом больше 60 килограммов. Это как минимум. Для работы мне выдали длинную голубую рубаху, то есть по сути я просто *факкино**. Одна из причин, по которой я бесконечно благодарен тебе за перевод, – в том, что он позволил мне одарить трех оставшихся слуг. Если бы я не сделал этого на Рождество, они начали бы относиться ко мне как к своему, и нахальная их фамильярность вскоре стала бы нестерпимой. Сейчас же, хоть меня и обрядили, как дворню, хоть я и работаю, как челядинец, и изрубил уже все руки из-за неумения обращаться с этим гнусным топором, возможность подкрепить чаевыми легкую заносчивость, которую я себе позволяю, пока спасает меня от лишних неприятностей. Но все равно, какой же это стыд и ужас! И конечно же, работа над книгой застопорилась. Как писать, когда я весь день



* Facchino – носильщик, грузчик (*ит.*).

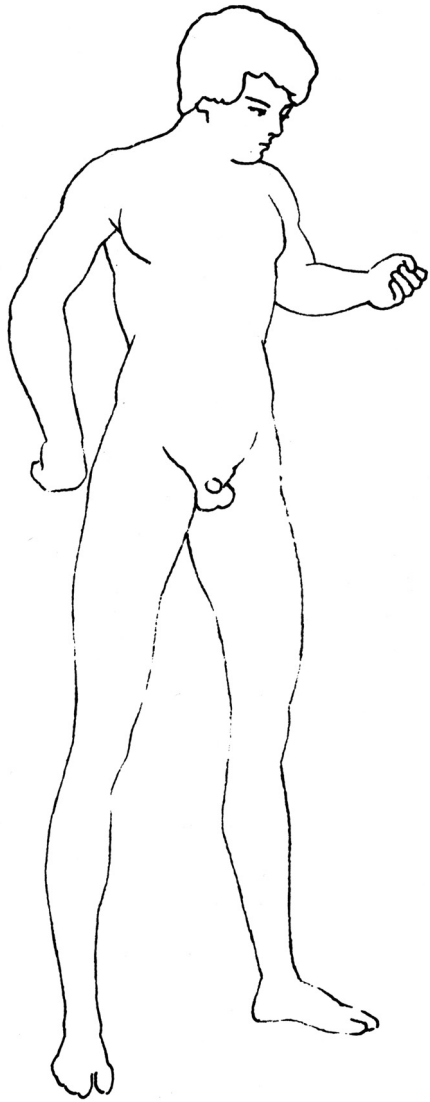
таскаюсь по лестнице, согнувшись пополам под грузом дров, и уж тем более как думать над тем, что писать дальше, когда душа бурлит от ярости и разочарования? Тем не менее, приходится заниматься этим ради куска хлеба да угла на лестничной площадке, и довольствоваться двумя часами в день, остающимися в моем распоряжении. Это самое чудовищное.



С переездом пока ничего не ясно. Есть какая-то договоренность о доме на улице Вентидуэ Марцо плюс рассматривается еще один, на Дзаттере. Но они подходят к делу серьезно, и к середине января меня, судя по всему, выгонят. Совсем не могу себе представить, что со мной будет. Ты – единственный, на кого я могу надеяться. Не сомневаюсь, что ты к тому времени сможешь найти кого-нибудь, кто поставит меня на ноги и даст мне шанс выбраться из этого отвратительного недоразумения. Уверен, что ты обратишься к кому только можно, ни малейшего сомнения в твоем успехе у меня нет. Весь ужас в том, что приходится ждать, теряя время и упуская шансы.

N. B. Не забыл ли ты о фотографии двоих в обнимку, которую обещал прислать? Полагаю, было бы полезно иметь в кармане несколько таких штучек для воспитания некоторых здешних обитателей, особенно еще неопробованных – я присмотрел кое-кого, и это, естественно, был бы самый приемлемый вариант.

Надеюсь, тебе понравилось в Клифтоне[190]. Чем там занимаются? Если бы я знал о тебе



больше, мои письма, вне всяких сомнений, больше соответствовали бы твоим вкусам, а если бы я знал, что ты едешь в Клифтон, я бы порекомендовал тебе двоих обитателей Бристоля, достойных самого пристального внимания[191].

Что ж, снова пора идти рубить эти чертовы дрова. Доктор устраивает елку для 39 детишек из бедных семейств и 75 взрослых, которые ходили к нему на молитвенные вечера по четвергам. Все это будет внизу, в большой зале, которая ведет к задней двери, выходящей на канал; ты бы глазам своим не поверил, если бы увидел, сколько дров сжирает печка, чтобы нагреть эту залу. Я уже напилил и нарубил целый стог, но сегодня явился доктор, сияет от счастья: «Заготовь побольше дров, ветер холодный». «Сердце, не знающее радости, дорогой Роуф, достойно жалости». «Какое счастье, что мы можем облагодетельствовать таким образом обездоленных детей милосердного нашего создателя!» Уф! Как же мне тошно! Ведь на моей лестнице от этих дров теплее не станет, а книга буквально рвет меня на части и требует завершения. Порадуй же меня хорошими новостями.



Вечно твой, Р. Умоляю!

В следующем письме постараюсь коснуться упомянутых тобой обоняния, осязания и вкуса. Я знаю, что с легкостью бы это сделал, будь у меня возможность разок-другой освежить воспоминания. Умоляю. Умоляю. Умоляю.

# 1910



## 9
## [открытка]

*6 января 1910 года*

В нужде. Пришли денег телеграфом!

## 10

*Тот же адрес*
*13 января 1910 года*

Дорогой Ф.,

О боже, о боже: я совсем не то имел в виду. Ради всего святого, дай мне объясниться.

В последнее время мне невероятно плохо. Эта рубка и переноска дров – скотское занятие, и не потому что я на это не способен или не справляюсь с задачей – напротив, я работаю и работал, как заправский дроворуб, – а потому что из-за всего этого я никак не могу закончить книгу. Уже почти месяц прошел впустую. Соответственно, открытка вырвалась у меня, как вопль замученного зверя, я совершенно

не думал просить денег. Меня, знаешь ли, восхищает, как ты ими разбрасываешься. Это завидное и весьма необычное качество. У Гарольда Фредерика в «Озарениях»[192] есть девушка, которая придерживается ровно тех же взглядов, что и ты. Она говорит: «Я живу, повинуясь одному только твердому правилу – исполнять все свои прихоти. Стоит мне подумать,
242 что вот этим, наверное, было бы приятно заняться, как я тут же, молниеносно, исполняю это желание. Только так человек со средствами может сохранить свежесть. Если остановиться и начать думать, как поступить благоразумнее, сразу же покрываешься коркой. Для людей обеспеченных это проклятье: они приучаются не доверять собственным побуждениям и воздерживаться от всяких необычных действий, а в результате начинают думать, что им следует строже придерживаться условностей и быть осторожнее и консервативнее остальных. Я охотнее займу место у корыта с грязным бельем, чем вступлю в подобные отношения с собственным банковским счетом: я восстаю против малейших его признаков, стоит им только зашевелиться у меня в сознании».

Словом, единственное, что я имел в виду, – это то, что именно сейчас хорошо было бы поставить дело на твердую основу. Ни в коем случае не думай, что я не доверяю тебе или что я буду разочарован, если раз-другой тебя постигнет неудача. О, нет. В тебе я уверен абсолютно. Все, что от тебя требуется, – это

упорство; не оставляй попыток – и они рано или поздно увенчаются успехом. Я буду сколь угодно терпеливым и готов со своей стороны поддерживать все твои усилия твердой надеждой и полным к тебе доверием. С теми пятьюдесятью[193], что ты мне прислал, предлагаю поступить так: держать их наготове и время от времени тратить понемногу на поддержание доброго расположения в наших милейших созданиях – посредством мелких подачек, а иногда и походов в кинематограф… Не могу же я тратить твои деньги на себя самого. Это было бы некрасиво. Невозможно принимать милостыню от человека, с которым находишься на дружеской ноге или собираешься установить деловые отношения. Понимаешь? Поэтому если ты меня любишь, пожалуйста, продолжай действовать и сдвинь уже наконец это дело с мертвой точки. Потом ты увидишь, какую бурную деятельность я разовью…



Вот какие фотографии Карло и Джильдо я нашел. Те, на которых они одеты, можешь отдать Туку. Мне очень нравятся снимки, на которых Карло гребет. Жаль, что у него только одно яйцо. Если они тебе нравятся, я, пожалуй, смогу наскрести еще кое-что. И конечно же, бога ради, сделай одолжение, пришли мне все фотографии, какие только тебе не жалко, особенно те, на которых пары обнимаются. Именно они будут самыми поучительными. Не переживай, что признания столь ничтожны. Конечно, они будут ничтожными, потому что их пи-

шут обычные люди, а не опытный писатель. Но тем не менее, дай мне на них взглянуть. Мне нужны ФАКТЫ. Дай мне факты, личные эмоции, чувства и переживания, и я ручаюсь, что приведу их в удобочитаемый вид. В любом случае, дай мне ознакомиться с материалом. Потом, если не возражаешь, дай мне возможность обменяться с человеком несколькими письмами – через тебя, конечно. Получив представление о том, что это за личность, какие у него вкусы и способности, я мог бы сочинить для него своего рода опросник, который, полагаю, даст очень недвусмысленные и весьма необычные сведения. Суть, разумеется, в том, что мы с этим человеком должны оставаться совершенно посторонними друг другу, единственным посредником между нами должен быть ты. Таким образом только и можно гарантировать успех разысканий и раскрытие самых секретных сведений. Ты обязан, тем не менее, показать мне фотографию этого человека, чтобы облегчить диагностику. А теперь вот что… Скажи, хочется ли тебе очень приятного шестнадцатилетнего еврея? Если да, я пришлю тебе его адрес в Бристоле…



Поскольку во Флоренцию я поехать не смог и воспользоваться своими многочисленными возможностями на месте тоже был не в состоянии, я все думал о том, что сказал Кокер, когда я с вами познакомился. Вам обоим больше нравились маленькие, четырнадцатилетние, тогда как я предпочитаю шестнадцати-, семнад-

цати-, восемнадцатилетних, причем больших. Я долго пытался понять ваши предпочтения, найти для них объяснение, однако потерпел полную неудачу. И вот почему. *Мне не хватает маленького, чтобы испытать всю полноту удовольствия.* Вот он лежит голый на спине. Я ложусь ему на живот, погрузив свою елду в мякоть его ляжек. Я сжимаю его ногами и руками, он обнимает меня: мы начинаем бороться. Но где же его лицо? Где горящие глаза, в глубине которых я смогу рассмотреть рябь наслаждения? Где горячие сладкие губы, которыми я мог бы упиваться? Погребены, полузадушенные, под моей грудью. Получается, я не могу причаститься к долгим-долгим радостям настоящей близости, к сладости передышек, к поцелуям и яростным повторениям. Тогда как большое и чувственное тело – такое, как у Джильдо, Амадео или Пьеро – дает все, что мне хочется. Чтобы обхватить их длинные мускулистые ноги, я широко развожу бедра. Елда моя тычется в расщелину меж их огромных ляжек, живот мой ощущает жар и трепетание их беснующегося члена, и тело мое напрягается до предела, дабы стиснуть в объятиях их корчащиеся от желания, льнущие тела – большие, нежные, мускулистые, дабы дотянуться до их цветущих губ, вдохнуть их обжигающее нежностью свежее дыхание, дабы яростно целовать их в борьбе, дабы смеяться и целовать их сияющие искрящиеся глаза и каждый доступный мне дюйм их тела, дабы

забыться в изнеможении на их широких белых плечах или впиться в их ослепительные шеи – грудь к груди, сердце к сердцу. Понимаешь? Нежное маленькое тело приятно всю ночь держать на руках, но неистовой радости оно не приносит. Мне хочется тела достаточно большого, чтобы быть с ним лицом к лицу, пока я вонзаюсь ему между ног, достаточно сильного, чтобы бороться со мной и дать мне столько удовольствия, сколько я способен принять. (Когда же? Когда?) Прошу, поговори со мной об этом в следующем письме. Что же до Кокера, [*вымарано*] …



N. B. Это не я сказал, что он [*вымарано*]. Это сказали Пьеро и Карло. Мне он очень понравился. Попроси его писать мне НЕПРИНУЖДЕННО, и я отвечу ему, как только один я умею.

Твой, Р.

P. S. Теперь возвращаюсь к своим дровам, довольный тем, что знаю: ты в Англии все время делаешь для меня все возможное. Большего ты сделать не можешь, и безуспешными твои усилия не останутся. Потому что я так *хочу*.

## II

[*Начато*] *20 января 1910 г.*
[*Закончено 27 января*]

*Это письмо будет писаться урывками.*

Что меня поражает, так это то, что ты, даже не особенно меня зная, *веришь тому, что я го-*

*ворю, а не пытаешься сбросить все это со счетов или сделать вид*, что ОПРАВДЫВАЕШЬ МЕНЯ С УЧЕТОМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, КАК ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ. Разумеется, в силу этого я могу относиться к тебе с полным доверием и рассказывать тебе все без утайки – я даже чрезвычайно этому рад; в остальных случаях я, естественно, отвечаю глупому по глупости его[194] и не бросаю жемчуга своего перед животными[195], которые предпочитают желуди.



Новости будут такие: (1) о Дзорци и Фаусто, (2) о ссоре между Пьеро и Джильдо, (3) о союзе, который заключили против Пьеро Карло и Джильдо, (4) о том, как двое последних отправились на представление за твой счет, в связи с чем желают тебя поблагодарить.

(1) Вчера меня неожиданно навестили Дзорци и Фаусто. Дзорци – это «Джорджио» по-гречески. Они пришли засвидетельствовать мне почтение в связи с новым годом (то есть поздновато) и спросить, не могу ли сделать что-нибудь для бедного Фаусто. Его уволили на зиму из «Бучинторо» (куда я не осмеливаюсь показаться, не уплатив прежде своих задолженностей), и он ищет работу. Эти венецианцы – настоящие черти, когда дело доходит до увольнения слуг, в которых они больше не нуждаются. Соответственно, зимой здесь образуются целые косяки мальчишек, *буквально жаждущих любой работы*. В моем распоряжении сейчас одиннадцать таких, готовых сделать все что угодно. Фаусто выглядел

изможденным и жалким. Лицо у него уродливое, хотя фигура восхитительная. О том, чтобы им увлечься, не может быть и речи, но у меня зла не хватает на самого себя в связи с тем, что я ничем не могу ему помочь.

Благодаря тебе я дал ему немного денег и сигарету и сказал, что буду иметь его в виду, если узнаю о какой-нибудь работе. *О, если бы*
248 *у меня было свое жилье, пусть совсем маленькое, но свое.* Всегда ведь можно найти время для еще одного – пусть и такого, на худой конец, пусть изредка. Эта окаянная неспособность помочь другим, всем этим бедолагам! Но Дзорци – Дзорци, мой мальчик, просто великолепен. Мне он нравится все больше и больше. Я не видел его месяц или даже дольше, и вчера он поразил меня в самое сердце, ошеломил и оглушил. Что за нежная гладкая плоть! Какие изящные округлости – сильные, неброские.

Ему семнадцать лет, он худощав и невысок, *два года назад он стоял у руля восьмерки «Бучинторо», победившей на Олимпийских играх в Афинах,* по-английски говорит с прелестной нерешительностью. Манеры у него самые изящные, он ходит в школу, где учит английский, и в сентябре собирается в Англию – работать в антикварной лавке. Вчера они заверили меня в своем желании услужить мне «каким бы то ни было образом, каким бы то ни было, синьор». Сил нет, как хочется дать ему работу – после школы и (если возможно)

с субботы до понедельника. *О, если бы у меня было свое жилье* и так далее.

(2) Пьеро и Джильдо поссорились и расстались. Они были любовниками больше года, целыми днями вместе развозили дрова для отца Джильдо, который ими торгует. Теперь Пьеро рассказывает всем и каждому о неверности Джильдо! Я склонен предположить, что Джильдо узнал о случавшихся время от времени отлучках Пьеро на набережную Осмарин (водился за ним такой грех) и сам решил тайком сходить туда хоть однажды.



Джильдо такой серьезный и до такой степени скромный, что наверняка проделал свой первый эксперимент в одиночку и старался держать его в секрете. Но он же такой здоровяк, энергия молодости из него так и хлещет – предполагаю, что он просто не мог не сорваться в каком-то еще месте. Сам он ни в чем не признается и продолжает с любовью говорить о Пьеро, добавляя только, что последний стал вдруг неоправданно *«привередливым»* (*el ga presso una fastidia*), *связанным по рукам и ногам собственным гневом*. Пьеро от ярости действительно выражается едва ли не бессвязно.

Джильдо, по его мнению, предатель и неверный, черный, вообще турок какой-то! Помимо этого, никаких подробностей он не сообщает. Остается только тот факт, что он, Пьеро, лишился работы, что он измучен и совершенно истощен из-за недостатка еды, что он тря-

сется от холода, кутается в последние одежки и в этом жалком виде болтается по Дзаттере в поисках работы. *О боже мой, боже, если бы только у меня был свой уголок* – где помещается один, поместились бы и двое. Был бы у меня свой угол (и Пьеро), я бы выудил у него достаточно сведений, чтобы написать книгу, какой еще никогда не продавали в Париже за 25 франков штуку – иллюстрированную; о да, иллюстрированную.

*Что мне совсем не нравится – так это то, что место Пьеро получил Карло, так решил отец Джильдо,* и Карло с Джильдо теперь в тех же отношениях, в каких всего две недели назад были Джильдо и Пьеро. Кроме того, не приходится сомневаться, что Карло вполне доволен тем, что вытеснил Пьеро. Этого я не одобряю. У Карло всегда было где жить – пусть и в бедности; голые стены на лодке у отца ему всегда были обеспечены. У его отца и трех братьев есть собственные гондолы, и он – самый младший. Тогда как несчастный Пьеро – старший из дюжины детей, и отец ему помочь не может. Это чистая правда: у отца двенадцать сыновей и три дочери, все живы. Я много раз видел, как Карло и Джильдо гоняют по городу в нагруженной дровами лодке. Представь, какое унижение переживает голодный Пьеро – ведь он-то видит их куда чаще, потому что вынужден жить прямо на канале, откуда они выходят и куда возвращаются каждый день!

Кроме того, мне кажется, что Джильдо попросту нанял Карло в наложницы. Иначе как еще объяснить тихий ужас, в который это привело Пьеро. Единственное, что меня утешает, – это то, что долго их связь не продержится. Карло – милый щенок, однако временами неисправимо легкомыслен и неаккуратен (это будет стоить ему работы); к тому же любит роскошь (так что с царапинами и обветренностями, которыми, как я видел, сейчас покрыты его руки, он долго мириться не сможет); кроме всего прочего, я вижу в нем задатки прирожденного предателя, который по самой сути своей не способен долго хранить верность.



(*Возвращаюсь к письму – 25 Gennaio, января*)

В тот самый день, 20 января, я перебросился с Карло парой слов, когда увидел его на набережной. Джильдо оставил нас вдвоем: сам понес дрова в дом, стоящий чуть дальше в переулке, а Карло сказал присматривать за лодкой. «Ну что, нравится тебе спать с Джильдо?» – спрашиваю я внезапно. «Sior, e molto pesante – Сэр, он очень тяжелый; по часу терзает меня в свое удовольствие, я боюсь задохнуться». – «А ты что же?» – «Двадцать, тридцать, сорок бросков по прекрасным его горам – и баю-бай у него на ручках». Джильдо вернулся, глаза у обоих огнем горели. Сущие чертенята!

А теперь расскажу тебе настоящую новость. Вчера утром встретил на Фондамента Нуова

бедного несчастного Пьеро, совершенно одинокого. Я вырвался из дома прогуляться, и тут он: безнадежно бродит по набережной в поисках работы. (Боже, сердце кровью обливается, когда это видишь.) Я дал ему *от тебя* пять франков, а потом повел в тратторию, где накормил полентой и напоил вином. Потом целый час выпытывал у него, что произошло, и в ито-

ге все узнал. Это дико смешно – можно сказать прелестно. Для Джильдо, его поведения, манер, мыслей, слов и поступков у него только одно слово – brutto, *«безобразие»*. Не более того. Просто «безобразие». А произошло вот что.

Эти двое любили друг друга и *«парона»,* то есть меня. Они договорились, что никого другого любить не будут, а «*парон, конечно же, может в свое удовольствие делать с ними все, что хочет*». Этот договор был заключен прошлым летом. Соответственно, Пьеро перестал ходить на набережную Осмарин и полностью посвятил себя Джильдо – пока я не выражу готовность с ними встретиться. И вот сразу после Нового года Джильдо тайком убегает на набережную Осмарин *вместе с Карло* – (что для Пьеро само по себе оскорбление, поскольку Карло посторонний) – и ублажает там пятерых девиц, одну за другой, абсолютно голый при свете дня с двух до четырех пополудни. После чего то же самое проделывает Карло. «Что за безобразные создания живут в этом мире!» – говорит бедный Пьеро. (Только представь себе, в какой восторг привели этих

девиц два сладострастных и до того не пробовавших женской плоти разбойника!)

Пьеро узнал обо всем ночью, когда выяснилось, что Джильдо нечего ему дать. Говорит, что не мог уснуть, оделся и ушел из дома.

После чего Джильдо берет на его место Карло; эти двое, опасаясь заразы, решают больше не рисковать и довольствоваться друг другом. «И вот, Сьор, теперь у меня нет ни единого друга, как видите», – жалобно заканчивает Питер. Я спешу ответить: «Нет-нет, я навсегда останусь твоим другом!» В ответ на это он заливается слезами и начинает целовать мне руку. Боже мой, чего мне стоило его успокоить! У меня ум за разум зашел. В конце концов, чтобы выиграть время, я сказал ему, чтобы он ждал меня завтра в том же месте, а я тем временем попытаюсь что-нибудь придумать. Но что, собственно, делать, я не знаю. Если от тебя придет еще одно письмо, все будет хорошо. По меньшей мере, я смогу подарить ему один день удовольствий.



*27 января*

Сейчас ты подскочишь от удивления. Во-первых, я вижу, что письмо уже совершенно запуталось, поэтому закончу тем, с чего начал – пунктом 4. Я писал уже, что дал Карло и Джильдо денег от твоего имени. Через два дня от них пришли открытки с чудовищными картинками; пишут, что посмотрели «Сельскую честь» и «Паяцев» в театре Росси-

ни, и благодарят за удовольствие, которое доставили им твоя доброта и щедрость. Очень хорошо. С этим покончено.

Теперь по поводу вчерашнего. Мне стало ясно, что пришло время *отбросить всякие предосторожности и благоразумие. Что я и сделал, расставшись с ними совершенно.* Питер ждал меня, как мы и договаривались, на Фондамента Нуова. Я объяснил ему без прикрас, как у меня обстоят дела с деньгами, и сказал, что могу либо отдать ему на расходы все, что осталось от твоих денег, либо устроить для него полный удовольствий день.



Если бы ты только видел, как он просиял! Ни колеблясь ни мгновения, выбрал последнее. «Удовольствие для меня – быть с моим *пароном*», – сказал он. Представь себе: большущий семнадцатилетний детина и при этом такой ласковый! Он взял у меня сумку – я прихватил с собой заплечный мешок с бумагами, чтобы выглядеть солиднее – и заявил, что теперь он в полном моем распоряжении. Мы сели на пароход и поехали в Бурано, пообедали там стейками, сыром и вином – не в том трактире, где были вы, а чуть дальше по той же улице. Боже, с какой жадностью он ел! Погода была мерзкая: всю ночь шел снег, Бурано засыпало метровым слоем, и снег все не кончался.

Пока нам готовили обед, я погрузился в бумаги и начал задавать хозяину вопросы о численности населения, глубине каналов и т. д., записывая все, что он говорил, себе в блокнот.

Когда подали еду, я попросил отнести ко мне в спальню жаровню с углями, чтобы прогреть ее перед сиестой.

Потом мы с Пьеро пошли наверх. Никогда не видел, чтобы человек так быстро сбрасывал с себя одежду, как он, – молниеносно. Он, должно быть, расшнуровал ботинки и расстегнул все пуговицы, пока мы поднимались по лестнице. Потом он повернулся ко мне. Он был весь пунцовый – зарделся от удовольствия, глаза горели, пальцы от усердия судорожно рвали мне одежду. Что же до его мальчика – боже правый! Как только я снял с себя шерстяную куртку, он кинулся на кровать, устроился поперек на спине (он знает, что мне это нравится), запрокинул голову, скрестил лодыжки, свел бедра – все его тело жаждало меня.



Мы сцепились. Это было невероятно. Я никогда не чувствовал, что люблю и любим с такой страстью всем моим существом и всем существом другого. Мы оба бурлили. В нас не было ни единой частички, которая не сыграла бы своей роли. И конец настал одновременно. От долгого воздержания мы оба утратили самоконтроль. Он не мог, попросту не мог дождаться своей очереди, мы прижались друг к другу, тяжело дыша и извергая потоки – потоки! Потом рассмеялись, поцеловались, перевернулись, привели себя в порядок и легли спать, обнявшись. Какое аппетитное у него дыхание! Он прижался ко мне своей пре-

красной грудью, своим животом, наши ноги и руки сплелись. Так мы и уснули.

Разбудил меня нежный голос: «Сьор, Сьор, Сьор, вы позволите?» Мальчик его был тверд и готов к бою. Я обнял его и притянул на себя. «Медленно; и постарайся как можно сильнее», – сказал я. О, что это было за чудо. Он поймал меня на слове и трудился с полным самозабвением настоящего художника, напрягая молодое тело до последнего предела, но при этом полностью себя контролируя, продлевая и продлевая эту чистую радость. Пока он крутился и извивался, я в свою очередь тоже распалился и перевернул его на спину, чтобы теперь уже разобраться с ним; так, сцепившись, мы и боролись. Не знаю, сколько это продолжалось – я очнулся, когда мы оба уже едва дышали, но были, как и прежде, тверды. Несколько минут мы просто пролежали рядом – обнимаясь, хихикая, впиваясь друг другу в губы и пытаясь захватить бедрами бедра другого. Потом принялись снова, еще яростнее, чем раньше, и наконец, покончили с этим делом. «Oh, che bel divertimento!» – проговорил Питер, сжимая меня, пока мы фонтанировали. – «Какое прекрасное развлечение».



Мы вернулись в Венецию на пароходе, который уходил в 5:30. По дороге он вел себя самым трогательным образом. Что за любовник этот мальчишка! Он заявил, что Джильдо по сравнению со мной ничто, что из всех удовольствий, которые он когда-либо испытывал,

ни одно даже близко не подходило к нынешнему дню. Что же до девушек, то пусть Карло и Джильдо заразятся от них всеми болезнями. Они «безобразны», и он никогда не верил, что с ними может быть так же хорошо, как нам только что было. Прикажу ли я ему прийти ко мне, чтобы служить мне и дальше? Нет, это невозможно; как только я смогу позволить себе собственную квартиру, он должен будет прийти и жить со мной. Когда же? Не знаю. Сьор, умоляю, поскорее. Я спросил, готов ли он служить тебе, если ты приедешь. Он залился краской: «Я слуга моего *парона* и всегда буду послушным; но, Сьор, я хочу хоть иногда спать в ваших объятиях». Само занятие он обозначает словом «отомкнуть». Сказал, что мой ключ легко его отомкнул; если мне хочется, чтобы он попробовал твой ключ, то он охотно приложит все усилия. Только не возьмусь ли я обучить его английскому, чтобы он превзошел этого безобразного Карло.



Я достал бумагу и сделал для него маленькую книжицу, куда вписал некоторые итальянские слова с английскими эквивалентами, вот так:

*Stupido sciocce – siliful* (*то есть silly fool*),

а также числа до двадцати и еще несколько слов. Он сел и выучил их наизусть с бесконечным старанием. Ты представить себе не можешь, какое прекрасное это создание: молодой, сильный, как конь, стройный, гибкий

и податливый, как змей, поразительно зрелый, с мягкой пушистой кожей и твердой горячей плотью – сладкой, как у ребенка.

Я спросил его, пробовал ли он сосать. Нет, он никогда этого не делал и ему тоже никогда, но со мной он с радостью попробует. Глотают ли это? Да. Ах, какое прекрасное развлечение! Вот видишь, какие радости тебя

ждут. Что же до входа через заднюю дверь, то он объявил его «безобразным». Джильдо однажды проделал это с ним ночью, и Питер избил его за то, что тот был столь «безобразен», т. е. *brutto*. Как, спросил он, поцелуям избрать этот путь, ведь поцелуи – часть развлечения по «размыканию». Что за чудо!

Когда мы расставались, я отдал ему последние остававшиеся у меня два франка и пообещал сразу же написать тебе. И вот пишу при первой же возможности. А пока писал, пришло закрытое письмо. Я подумал, что ты был бы не прочь его увидеть, поэтому перевожу буквально. Ну не прелесть ли?

Бог знает, что со мной будет. У доктора с переездом какие-то проволочки, которых я не понимаю; так что пока торчу здесь. Сам я все равно не могу никуда переехать, а при таком положении дел еще и не могу ни начать ничего нового, ни закончить старое. Не думай, что я нетерпелив. Знаю, что ты делаешь ради меня все, что в твоих силах, и ни перед чем не останавливаешься, – мне довольно и этого. Конечно же, я страшно тебе благодарен. Это ты зна-

ешь. Но ты еще увидишь, каким благодарным я могу быть – ты это ощутишь, как только я получу возможность употребить свои способности. Думаю, что смогу удивить даже тебя.

N. B. *Я и в самом деле считаю, что мне следовало бы рискнуть и начать самостоятельную жизнь с 50 фунтов, если их можно найти, пока все решается, а чуть позже я удовлетворился бы 200 фунтами и еженедельным посо-* 259
*бием.* Думаю, это надежные условия. Как бы то ни было, хоть я и переживаю единственно о том, что могу показаться слишком самоуверенным, *я и в самом деле жажду закончить уже эту треклятую книгу, пустить ее в дело* и перейти к следующей. Бессмысленно колоть дрова у доктора, когда мне следовало бы писать.

Пожалуйста, пиши чаще.

Р.

Шлю две фотографии Пьеро, снятые в прошлом году у колодцев в Государственном музее. Он носил эту форму, когда служил у меня. Пожалуйста, пришли мне все фотографии, какие только можешь.

## 12

*10 февраля 1910 года*

Дорогой Ч.,

Спасибо тебе за письмо. Я уже было страшно забеспокоился о твоем здоровье. С боль-

шим облегчением узнал, что оно не пострадало ни от выборов, ни от погоды. У нас здесь самая гадкая пора: последнюю карнавальную ночь совершенно испортил дикий ливень. Сам я карнавала не видел – все время приходилось заниматься другим.

Венецианский карнавал уже несколько лет в полном упадке, но в этом году была предпри-
260 нята попытка вернуть ему хотя бы часть былого великолепия. Мне говорили, что маскарад в «Ля Фениче» был необыкновенно прекрасным, к тому же из-за цены на билеты (по 1,50 за штуку) нежелательные личности попасть туда не могли, и общество получилось избранное.

Ко всему прочему, многие аристократы устраивали танцевальные вечера; говорят, Его Королевское Высочество герцог Абруццкий (которого только что назначили комендантом Арсенала)[196] танцевал, как архангел. Это я слышал от двух исключительно набожных княгинь: они заявили, что движения его были столь прекрасны, что они следовали за ним из одного дворца в другой исключительно ради того, чтобы их созерцать.

Очень огорчен известиями о твоих деловых затруднениях. Знаешь ли, я лично убежден, что *нельзя работать на старом или неиспробованном оборудовании, равно как и в ненадлежащем окружении. Невозможно создавать товары удовлетворительного качества, если производство сопряжено с трудностями, а полагаться на удачу попросту опрометчиво.*

Думаю, а на самом деле даже знаю наверняка, что успеха можно добиться лишь скромностью, осторожностью и сосредоточенностью; ничего нельзя предоставлять случаю. Мои сложности сводятся к недостатку капитала и умелого партнера. У меня вполне благоприятствующее поле для деятельности, прекрасное место, самое современное и тщательно проверенное оборудование плюс некоторое количество готового на продажу товара, да и рынок для продажи уже найден. Все, что мне нужно, это капитал и партнер. Если они у меня будут, *дело пойдет тихо и надежно – так сказать, автоматически.*



Хотелось бы знать, интересно ли тебе мое предложение по объединению усилий. Мне кажется, мы могли бы поработать вместе на дружеских условиях и ко взаимной выгоде. Как бы то ни было, ты знаешь, что я никогда не принимаюсь за дело, тщательно не продумав все детали и не убедившись, что его ждет успешное завершение. Процесс может оказаться медленным, однако у него есть другое достоинство – надежность. Подумай об этом. Я меж тем, как и было сказано, простаиваю, инвентарь ржавеет, так что с благодарностью приму любое вспоможение на смазку колес, какое ты только сможешь выделить, пока мы не запустим процесс.

Премного благодарен за картинку. Это не то, что я ожидал. Ты говорил о картинке с двумя борющимися щенками – ее я и хо-

тел бы видеть. Эта сама по себе не плохая, но все-таки это не пес, а лентяй какой-то, тогда как ты знаешь, что я собираю изображения собак в действии. Касательно этого конкретного сообщи мне возраст, родословную и в каком он состоянии.

Что же до кандидата, которого мы рассматриваем, то кому я должен отправить бумаги?

Надеюсь, наряду с теорией, он предложит нам и практические эксперименты. Было бы полезно знать, где и сколько лет он учился, заинтересовался ли он предметом исключительно из собственного интереса и без чьей-либо помощи, а также насколько серьезно его намерение продолжать эти занятия. Как только я получу эту информацию, станет ясно, какие стандартные документы подойдут в данном случае, а покамест готов предоставить ему любые сведения, какие у меня есть, если он напишет мне со всей определенностью.

Кстати, должен добавить следующее: я считаю само собой разумеющимся, что кандидат осознает важность своей работы и настроен серьезно. Готов предоставить ему любую помощь, какую только могу, однако он должен ясно понимать, что я слишком занят, чтобы тратить свое время на человека, не имеющего всепоглощающего интереса к предмету и не намеренного работать над собой.

Полагаю, что кандидат не стал бы предлагать себя на рассмотрение, если бы это было не так; из его ответов можно будет понять,

в каком состоянии сейчас находятся его знания и в каком направлении лучше будет направить его дальнейшие занятия. В любом случае, пусть он для начала напишет мне подробное письмо, где предоставит полные данные – это не терпит отлагательств. Пожалуйста, передай ему эти мои слова.

У меня вышла ссора с Дзорци, который дико разозлился из-за того, что я не дал ему свою красную блузу – он хотел пойти в ней на карнавал. Бедный Пьеро по-прежнему без работы, выглядит ужасно измученным. Пришел ко мне вчера и, покраснев, попросил взаймы 8 франков на обувь, потому что то, что было на нем – насмешка, а не ботинки. Сношены до дыр и совсем разваливаются. Я огорчился до глубины души, потому что единственное, что я мог для него сделать – это отдать вторую пару своих ботинок, которые вряд ли прослужат ему больше недели. Других не видел с тех пор, как последний раз тебе писал.



На самом деле с тех пор я лишь однажды выходил из дома. Смотрел квартиру – ничего лучше ты даже представить себе не можешь. Если ты намерен присоединиться ко мне, стоило бы подумать именно о ней. Расположена на верхних этажах дворца, стоящего на самом широком канале, который огибает площадь Сан-Джакомо-дель-Орио недалеко отсюда. Район тихий, скрытый от глаз, хотя и не слишком удаленный от всех центральных точек. Есть вход с воды со складом и погребами на первом эта-

же, и есть отдельный вход из переулка. В квартире четыре просторные комнаты, кухня, ватерклозет, длинный коридор и два больших помещения на чердаке. Кроме того, последняя комната выходит на *террасу или целый сад на крыше*, со всеми необходимыми ограждениями и столбиками для тентов.

Окрестности тоже великолепны. Во всех

комнатах круглый день солнечно, потому что дворец стоит поодаль от других зданий и чуть выше них. Непосредственно внизу – площадь и церковь Сан-Джакомо-дель-Орио, построенная больше тысячи лет назад, необыкновенно замысловатая. Со всех сторон – вид на всю Венецию, на Альпы с одной стороны и на Лидо с другой. Арендная плата – 60 франков в месяц и никаких налогов. Совершенно идеальная квартира, но я боюсь, что ее тут же схватят, если я быстро не приму решения.

Думаю, на сегодня это все. Погода гнуснейшая. Все настолько плохо, что хуже уже не бывает. Пожалуйста, пиши с обратной почтой, ибо мне не сдвинуться с места, пока ты не напишешь.

Р.

## 13

[*дата и место не указаны*]

К сожалению (или к счастью – как тебе больше нравится), совершенно не согласен с тобой,

когда ты говоришь, что я должен понимать, почему тебе нелегко отвечать с обратной почтой, когда нет никаких хороших новостей. Мне это совсем не понятно. Дорогой мой, я полагаю, что когда ты болен, расстроен или попал в беду, тебе как раз больше всего нужно утешение и приободрение, какие может дать друг. Я это по себе знаю. А кроме того, я знаю, как сложно найти друга, готового безо всякого высокомерия разделить с тобой твои горести.



Меня тебе не следует бояться. У меня столько собственных горестей, что сколько ни прибавляй твоих, ничего не изменится. Кроме того, то, что ты сочтешь меня человеком, достойным разделить твои беды, я восприму как знак доверия и уважения настолько значительного, что это в немалой степени облегчит мне и переживание собственных неурядиц. Это не пустые слова, я и вправду думаю именно так. Поэтому изливай все свои горести безо всякого страха. Я не просто не возражаю – я молю тебя это сделать.

Ни в коем случае не бойся меня. Я умею молчать, хранить тайну и сочувствовать, поэтому с ранних лет мне дано бросить то тут, то там несколько вразумительных слов… И, знаешь ли, ты по собственной воле дал мне поделиться с тобой моими неприятностями, поэтому теперь уже не можешь отказать мне в столь же дружеском обращении. Неужели можешь?

Мне пришло в голову, что ты, быть может, боишься разочаровать меня тем, что поиск партнера все время откладывается. Не делай этой ошибки. Не конченый же я идиот. Я в достаточной мере философ, чтобы знать, что ты делаешь все, что можешь; и я не жду от тебя большего. Так что сними, пожалуйста, этот груз с честной своей души.

266 Очень огорчен известиями по поводу источника твоих доходов. Ты так мне и не поведал, в чем он состоит. Поэтому могу сказать только вот что: как только тебе там станет совсем плохо, собери, сколько можешь, денег и приезжай ко мне. Я с огромной радостью разделю с тобой самого себя и все свое, вплоть до самого последнего. Нет никакой причины, которая помешала бы нам в высшей степени преуспеть, если мы скромно примемся за дело вдвоем и начнем подбирать подходящий инвентарь, как только представится возможность. Куда как лучше держаться скромной определенности, чем нестись сломя голову сквозь опасности и треволнения к каким-то абстрактным неопределенностям. Такая игра никогда не стоит свеч.

Прими мои сочувствия и по поводу твоего здоровья. Инфлюэнца – адская вещь. Слава богу, у нас здесь ее нет; хотя, конечно, и у нас есть свои неприятности. Дай мне знать, прошел ли твой кашель. В Англии я всегда поглощал в огромных количествах Owbridge's Lung Tonic[197], когда кашлял. Сам я тоже последний

месяц провел в кровати. Это единственное место, где я не коченею от холода, когда пишу.

Конечно же, по воскресеньям я хожу к мессе и один раз даже съездил на целый день в Бурано; конечно же, встаю, чтобы нарубить этих проклятых дров и сделать сливки на сепараторе. Но на весь оставшийся день забираюсь в кровать и греюсь; и проклинаю все на свете, потому что у меня нет лодки, на которой можно было бы выйти и достойным образом поупражняться. Пойми, пожалуйста: лодка здесь не роскошь, как в Англии. Лодка – это необходимость. Без нее человек совершенно парализован. *Кстати сказать, обладателю достойной лодки легко обмануть любые невзгоды.* Он платит городской налог, однако ему не надо платить за квартиру. На лодке можно вполне достойно жить и работать, совершенно ни от кого не завися. Запомни это, пожалуйста.



От кандидата, которого мы должны экзаменовать, мне так ничего и не поступило. Пожалуйста, отправь ему мое имя и адрес и скажи, чтобы он писал в свободной форме и сообщил о себе все то, о чем я просил в последнем письме. Мне очень хотелось бы немедленно приступить к работе с ним и в полной мере разобраться с его предметом. Поэтому я и говорю, что совершенно открытое общение между нами на предварительном этапе имеет самое существенное значение. Серьезно ли он настроен? (Это важнее всего; потому что какой

смысл во всем этом баловстве с экзаменами, если у него нет твердого намерения их сдать и с некоторой выгодой для себя поработать над тем, чтобы их сдать.) Так что давай приступим к этому немедленно. *Пока же пришли мне то, что он тебе написал.*

Этот доктор с его надерганными наугад сентенциями опостылел мне хуже горькой
268 редьки. Это уже какая-то мания. Как выяснилось, последние шесть месяцев он снимал со счета в банке деньги своих детей и раздавал их «избранным христианам» – в основном немцам, которые болтаются по городу в дым пьяные, распевая унылые гимны и куплеты духовного содержания. Соответственно, теперь он потихоньку распродает книги и мебель, а его разъяренная жена вынуждена менять платья на еду!! Так и есть! По поводу детских денег у них был дикий скандал.

Он ласково улыбается и говорит, что *собирает себе сокровища на небе*[198]. Ты видел где-нибудь второго такого ё. идиота? Я пришел в ярость и сунул ему в рыло (розовое) другие сентенции: «Не дети должны собирать имение для родителей, но родители для детей»[199] и «Если же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекается от веры и хуже неверного»[200]. Ошибаешься, если думаешь, что я загнал его в угол. Этих выуживателей сентенций никогда не загнать в угол, потому что они берут из треклятой своей Библии ровно столько, сколько требуется для подтверж-

дения их библидолопоклоннических теорий, а про остальное молчат, как рыбы. До чего же они мне надоели! Но ситуация, тем не менее, весьма серьезная. Весьма.

Все это время никого не видел. Что очень досадно, потому что когда нам захочется приступить к работе, придется все начинать заново. Впрочем, я совсем не против, если только ты будешь общаться со мной с той полнотой и откровенностью, с какими подобает общаться с другом, готовым сделать для тебя все, что в его силах. Вот тебе еще одна сентенция: «Двоим лучше, нежели одному»[201]. Пиши, и пусть кандидат мне напишет.



*С обратной почтой.*

Фотографии так и не пришли. Проследи за этим, пожалуйста.

[*Роуф прожил у ван Сомеренов восемь месяцев – большую часть этого времени он работал над романом «Жажда и поиск целого». В начале 1910 года он сообщил хозяйке дома, что книга близка к завершению. Она неоднократно просила у него разрешения почитать рукопись этого «романа из жизни современной Венеции»* (*таким подзаголовком снабдил книгу сам Роуф*), *однако он всякий раз отвечал ей твердым отказом, заявляя, что ей следует дождаться выхода книги. Тем не менее, в один прекрасный день Роуф уступил просьбам миссис ван Сомерен при условии, что она не станет делиться прочитанным с мужем.*

*Книга рассказывает о первых пятнадцати месяцах пребывания Роуфа в Венеции, причем автор не жалеет желчи, выставляя в черном свете самых известных представителей британской колонии. Кроме того, Роуф во всех подробностях описывает свои многочисленные интриги и ссоры, и редкая страница обходится без оскорбительного упоминания кого-то из друзей и знакомых ван Сомеренов, а то и без позорящих их клеветнических утверждений.*

*Не прочитав и половины, почтенная докторша возмущенно заявила Роуфу, что с нее хватит, однако он упросил ее прочитать хотя бы еще одну главу. Она без особой охоты согласилась, и новая порция еще более злобных карикатур на ее друзей лишь усилила ее гнев. Миссис ван Сомерен заявила Роуфу, что в свете всего прочитанного больше не считает себя связанной данным ему обещанием, и вечером рассказала доктору о содержании рукописи. Узнав, как Роуф злоупотребляет его гостеприимством, доктор тут же поставил его перед выбором: либо убрать из книги оскорбительные пассажи, либо убираться вон из его дома. Для Роуфа, с его темпераментом, компромисс был невозможен. Он без колебаний заявил, что «никому не позволит диктовать ему, что писать и чего не писать, и поэтому покидает этот дом, чтобы принять голодную смерть на улицах Венеции»*[202]*. На следующий день, 5 марта 1910 года, он перенес свои немно-*

*гочисленные пожитки в гребной клуб «Бучинторо», где впоследствии – в течение некоторого времени – проводил светлое время суток. Ночами он спал в одной из принадлежащих клубу лодок или бродил по берегам Лидо.*]

## 14

[*телеграмма*] *Венеция*
*5 марта 1910 года*



Жить негде нет ни копейки пришли денег телеграфом адрес британского консула Роуф.

## 15

[*открытка*]
*Воскресенье* [*6 марта 1910 года*]

Разругался с ханжой-доктором и в субботу ушел от него. Ел в последний раз в пятницу вечером. Всю ночь гулял по пляжу в Лидо, за «Эксельсиором». Ночной патруль, следящий за тем, чтобы никто не выпаривал соль из моря, то и дело меня останавливал. Представлялся писателем, говорил, что изучаю восходы и закаты. Пока это их удовлетворяет. Холод, однако, пробирает до костей, за две ночи совершенно окоченел. В субботу рассказал обо всем консулу, попросил его написать тебе. Что-то нужно делать. Духом, однако, бодр и настроен решительно. Пиши на адрес консульства.

## 16

[*открытка*]
*286 Calle Larga San Marco*[203]*, Venezia*
*31 марта 1910 года*

*Безотлагательно нуждаюсь в деньгах,* однако перспективы обнадеживают. Книга окончена. Один экземпляр отправлен в Америку. Англичане предлагают печатать частями, с продолжением, то есть гонорары будут сразу из двух мест[204]. *Кроме того,* из Англии пришло предложение опубликовать «Судьбу»[205], одну из двух рукописей, похищенных ХПГ. В связи с чем чувствую себя увереннее. Теперь пытаюсь завершить все это. Начал новую книгу[206]. *Последний пенни.* Весь день сильнейшая снежная буря. Не желаешь ли негативов заснеженной Венеции?



## 17

*5 апреля 1910 года*

Дорогой Ф.,

Ручка закончилась, прости, что пишу карандашом. Тысячи благодарностей за письмо и вложения. *Этим письмом излил ты воды на жаждущее*[207]. Ты не представляешь, какой это кошмар, когда нет ни единой души, с которой можно было бы поговорить. Послушай меня; не думай, что я тебя хоть в чем-то виню.

Ты никогда не подавал мне надежды и, соответственно, я не разочарован. Что меня восхищает (потому что они так похожи на мои собственные, а ими я восхищен чрезвычайно), так это мужество и упорство, с каким ты встречаешь одну неудачу за другой. В конце концов ничто не сломит человека, которому удалось столько продержаться.

Я, со своей стороны, буду продолжать до тех пор, пока могу пошевелить пальцем, и решимость моя в немалой степени питается тем, что я знаю: ты в моих интересах делаешь то же самое, и никакие неудачи тебя не страшат.



*Дела едва ли не в том же состоянии. Едва ли не в том же.* Разве что, как ты уже знаешь из открытки, благосостояние мое улучшилось в том смысле, что новая книга окончена, и книга эта – моя и только моя, никто другой никаких прав на нее не имеет. Единственное, что теперь нужно, – это извлечь из нее деньги, а этого без средств не сделать. Я отправил один экземпляр в Америку: раньше, чем через три месяца, ответа я не получу. Кроме того, мне предложили печатать ее с продолжением в Англии, и это значит, что я должен снять еще одну копию (а это два месяца работы) с оригинальной рукописи, да еще и располагать наличностью для отправки каждой главы, если у меня, конечно, будет возможность завершить все это дело.

Есть еще и третье предложение – по поводу «Судьбы», написанной два года назад и похи-

щенной Пири-Гордоном. Права на эту рукопись отданы в качестве залога моим агентам; я написал им об этом предложении, сказав, что если бы нам удалось между собой договориться, я бы разрешил публикацию книги, чтобы обе стороны могли хоть что-то заработать.

Я дал им времени на раздумья до прошлого воскресенья, и они даже не ответили, так

что вместе с этим письмом я шлю издателю свой отказ. (Пока я излагал исключительно факты. Все дальнейшее – мои предположения. До сегодняшнего дня я лишь однажды отказывал издателю, который, в результате, вдруг возымел непреодолимое желание напечатать книгу и *предложил удвоенную сумму*. В данном случае может произойти то же самое. А может и не произойти. Предугадать невозможно.) Видишь ли, «Барнард и Тейлор» выслушали столько глупой лжи от Пири-Гордона – он ведь важный помещик и страшно чванится, – что совершенно уверены в его правоте и ни одному моему слову не верят. Что ж, ни при каких обстоятельствах я, естественно, не пойду у них на поводу; время от времени я капаю им на нервы, сообщая простые и неприглядные факты, как в данном случае, чтобы они помучались из-за своего неверия. Им кажется, что если они просидят какое-то время на похищенном у меня добре, то обязательно найдется кто-нибудь, кто вызволит меня из затруднительного положения; однако «Барнард и Тейлор» смогут заработать на моих старых

и новых работах, только если из затруднений меня вызволят именно они.

Очень тронут твоим предложением поговорить с ними, только вот толку никакого из этого не выйдет. Все, что можно сделать, это продолжать, как я и делаю, обрушиваться на них по каждому случаю все с тем же старым требованием: «Отчитайтесь о шести годах безделья и злоупотреблений и давайте договоримся на новых условиях; пока вы этого не сделаете, все ваши залоговые права на мои произведения не стоят даже бумаги, на которой они оформлены».



Хозяин Bellevue получил в свое распоряжение *часовую башню на пьяцце*. Внутри там правят бал рабочие, приспосабливающие внутреннее пространство под отель. (Дорогой мой, из выходящих на площадь окон открывается, пожалуй, самый красивый вид во всем мире.) Он разрешил мне спать на пустующем пока чердаке, и теперь через меня день и ночь перешагивают плотники, маляры, каменщики, водопроводчики и строители туалетов. Никогда в жизни я не был еще таким грязным, а без лодки и без какой-либо возможности уединиться я даже искупаться не могу. С едой тоже беда. Ем по возможности меньше, отчего стал восхитительно стройным и слабым. Сегодня должен, наконец, помыться, поесть и выпить литр вина с Питером. Потом снова перейду на хлеб и воду за один пенни в день, пока дела не наладятся.

Несколько раз подолгу гулял с хозяином. Думаю, теперь он видит, что я честен и, в общем-то, не дурак, да и он совсем не свиреп. Тем не менее, он человек одной идеи, и мне не удается вбить ему в голову никаких других. Ему нужны гарантии. Он повторяет одно и то же: «Вам нужна одежда и небольшое, но удобное помещение для жизни и работы. Добудьте гарантии – и я найду деньги, которые вам нужны». На что я отвечаю: «Как же вы мне надоели! Спросите с меня что-нибудь чуть менее невозможное». Вот так.



Получив твое послание, я сразу же побежал за табаком в то самое местечко на Моло, где собираются все страждущие. И кого же я вижу на обратном пути? – Болка! (впервые с тех пор, как вы уехали). Он был страшно забавный. Такой забавный, что я рассмеялся в голос прямо на улице. Он быстро-быстро прошел мимо меня с опущенной головой, как напроказивший ребенок! Обязательно заговорю с ним, если встречу еще раз. Пожалуйста, отвечай мне без промедления.

У меня целый запас новостей, старых и новых – расскажу, как только будешь готов их выслушать. Пока же сам видишь, в каком я положении.

Вечно твой, Р.

Нандо Виоло[208].

## 18

[*открытка*] *Венеция*
*15 апреля 1910 года*

Я писал тебе, что отказался от предложения печатать «Судьбу скитальца» с продолжением. У «Б. и Т.» залоговые права на этот текст, и я не допущу, чтобы они получили хоть пенни, пока не передадут мне все, что я заработал за два года, и не закрепят за мной долю доходов за мои собственные работы. Что ж: в результате этого отказа сегодня утром получаю новое предложение от того же издателя по поводу того же бессмертного произведения, однако на куда более благоприятных условиях. (Меня ни разу не просили пересмотреть мой отказ. Значит, издатели УВЕРЕНЫ в успехе…) Что ж: я написал об этом «Б. и Т.», предупредив, что 23 апреля откажусь и от этих условий, если у меня не появится оснований действовать иначе. Это, однако, дополнительная гарантия для партнера, который должен будет забрать все мои обязательства и активы у «Б. и Т.», чтобы вести дела должным образом.



Здесь все опять плохо. Ничего более ужасного и придумать нельзя. Дикий кашель, который обязательно перейдет в туберкулезный, если я в ближайшее время не вернусь к упражнениям. Пожалуйста, не прекращай действовать. Я уже писал тебе, что говорит здешний хозяин о гарантии. И да, еще новости по поводу

завершенной венецианской книги. Из Англии получил предложение печатать ее с продолжением. Кроме того, заставил главного здешнего издателя, Онганию, обратиться к издателям двух моих последних книг с просьбой о переиздании английских версий одновременно с выходом итальянской, которую он подготовит здесь. Плюс еще Америка. Но, как ты по-
278 нимаешь, ничего нельзя будет сделать, пока не устранены «Б. и Т.». Я не дам им заработать ни пенни. Буду в суде над Тарновской – достал пропуск для прессы. Поразительно![209]

Пиши. Пиши. Пиши.

## 19

*[телеграмма]*
*22 апреля 1910 года*

Получена телеграмма британского консула в Венеции с просьбой уведомить вас, что Фр. Роуф опасно болен и находится без средств в отеле Belle Vue в Венеции. Министерство иностранных дел, Лондон.

## 20

[*открытка*]
*286, Calle Larga San Marco, Venezia*
*12 мая 1910 года*

Вчера выписался из госпиталя после бронхита, пневмонии, осложнений на сердце. Принял последнее причастие: последствия вечного холода и лишений последнего года. Врачи (итальянцы) говорят, что никогда еще не видели такого крепкого человека – только это меня и спасло. Сейчас я, правда, так ослаб, что с трудом прохожу и двадцать шагов. Кроме тебя, мне абсолютно не на кого надеяться. Молю о существенной и срочной помощи на то время, пока буду подбирать оборванные нити. Дела, похоже, безнадежны, но мужество мое непоколебимо. Если усиленно питаться, смогу отлежаться, восстановить силы и вновь обрету почву под ногами. Переболел ровно той же болезнью, что и покойный король[210], поэтому повторяю за ним: «Я приперт к стене, но буду стоять до конца». Пожалуйста, помоги мне скорее. (Потратил 34 минуты, чтобы это написать.)



## 21

*6 июня 1910 года*

Джильдо и Карло,[211]

Большое спасибо. Наконец-то снова ощущаю вкус табака. Все стоит на месте. Я окреп,

однако так и не отдохнул и не поправился. Кашель не прекращается, верхушки легких до сих пор не очистились. Причиной этому, конечно же, отсутствие свежего воздуха и упражнений – хоть каких-то, хоть иногда.

Меня взял к себе Барб[212] – дал мне каморку на первом этаже (окна в переулок, крысы) и разрешил питаться с персоналом. Взамен

я отдал ему в залог права на новую книгу. Однако два списка этой книги все еще здесь: нет денег, чтобы отправить их издателям. Рукопись тяжелая, за пересылку просят 4,25. Я откопал рукописи еще двух своих книг, «Николаса Краббе» и «Единого и многого», но и они лежат без движения[213]. (Кстати говоря, касательно того, что я здесь ничего не делаю: пожалуйста, не забывай, что я сначала придумал все слова «Жажды и поиска целого», а потом с прошлого июля переписал их ПЯТЬ РАЗ – 148900 слов × 5 = 744500 слов!!!)

Гулять не могу из-за отсутствия одежды и обуви. Купаться и заниматься греблей тоже не могу – из-за отсутствия лодки. С 3 мая здесь стоит страшная жара, ни капли дождя. Гондол и топо не найти и за 50 лир в день, сандолы легко могут стоить 30. Город до отказа забит людьми. В середине месяца прибывает король[214]. Не знаю, понимаешь ли ты: с апреля по июль Венецию осаждают богачи, проживающие здесь свои состояния – главным образом русские и американцы. С июля по октябрь приезжают в отпуск те, кто жи-

вет на собственные заработки. Поразительно, сколько денег здесь вымогают. Я постоянно это наблюдаю. Комнаты на пьяцце выставляются на аукционе, и они ни разу еще не уходили меньше, чем за 45 лир в сутки! В августе можно нанять комнату с балконом за 10.

Два твоих последних письма меня разочаровали. Значит, отложим. Хочу от тебя новостей и сам хотел бы сообщать тебе новости. Скажи, когда. 

Да, консул телеграфировал моему брату[215]. Тот послал ему полученную из вторых рук рекомендацию армянам[216]. Те ничем не смогли помочь. Вот и все. Это чистая правда: кроме тебя, надеяться мне не на кого, даже в поисках средств на то, чтобы продолжать вкалывать.

## 22

*30 июня 1910 года*

Дорогой Ф.,

Не уверен, что ты понимаешь, как жестоко твое долгое молчание. Из-за него я не смог воспользоваться ни одним из имевшихся у меня шансов. Моя новая книга все еще здесь, потому что я не решаюсь рассылать ее издателям, не имея постоянного адреса, на который они могли бы отвечать. Два предложения об издании с продолжением тоже пропали зря. Кроме того, пришлось отказаться и от предложе-

ния о публикации «Судьбы», потому что я так и не получил на нее прав; то есть если я разрешу публиковать ее при нынешнем положении дел, то вся прибыль с нее уйдет «Б. и Т.», а я за собственные труды не получу ничего – я не просто бессилен и ничего не делаю, *я со дня на день жду, что меня снова выкинут на улицу.* Люди здесь перестали со мной разговаривать, даже не здороваются по утрам. На самом деле Б. устал уже убеждаться в непреодолимой силе моего бессилия.

282

Тем временем Питер погубил себя на всю жизнь. Тридцать дней он пролежал в городской лечебнице с сифилисом, а в понедельник его выписали как «неизлечимого». Выглядит он на семьдесят, хотя ему и двадцати нет. Вот чем кончается жизнь без работы. Если бы у меня была лодка, он занимался бы здоровым трудом и с легкостью зарабатывал бы нам обоим на жизнь. Сердце кровью обливается. Но что бы там ни было, почему ты не пишешь?

## 23

*11 июля 1910 года*

Дорогой мой,

Единственное, о чем я тебя прошу и молю, это чтобы ты писал мне часто и обо всем и не оставлял меня в одиночестве, потому что в одиночестве меня охватывает печаль и я начинаю смотреть на все исключительно

пессимистически. Умоляю тебя, пиши: здесь со мной никто не разговаривает, из Англии мне пишут разве что по делу, да и то будто бы преодолевая какие-то невообразимые сложности. Последствия всего этого – и последствия жизни, которую я здесь веду, – ужасающи. *Я почти полностью лишен воздуха, воды и каких-либо упражнений* – могу разве что выйти прогуляться на острове Сант-Элена[217] в четыре часа утра. Что я и делаю, когда удается собраться с силами, но я настолько поизносился, что днем показываться на улице просто не смею. Ты знаешь, какие толпы в Венеции на улицах. А с наступлением темноты город кишит людьми, которых почтенными не назовешь, и с ними я общаться не собираюсь. Искупаться мне в это лето так ни разу и не удалось – просто потому, что у меня нет средств, чтобы выбраться в лагуну. Я прикован к своей комнате – к какому-то чулану на первом этаже с окном, выходящим в узенький переулок, который ведет с пьяццы на Калле Ларга, причем окно это такое низкое, что я могу потрогать за шляпы всех пропойц и шлюх, которые орут там ночь напролет; в комнату эту никогда не проникает солнце, здесь такая темень, что даже в эти ясные дни я не могу писать без света, зато комната эта – настоящее царство *крыс, с первого июля уже тридцать шесть штук* угодили в капкан и были утоплены в помойном ведре!!! От всего этого руки у меня трясутся, как у паралитика, все те-

ло зудит изнутри, а голова то и дело кружится; не могу лежать на левом боку – сердце сразу же останавливается, кашляю и грудь снова наполняется мокротой. Бог знает, что со мной будет. Сам я не ведаю.

Склоняюсь к тому, что ничего нельзя будет сделать, пока я не решусь устроить хороший публичный скандал. Видишь ли, «Барнард и Тейлор» заставили меня оформить на них страховку; *соответственно, после моей смерти абсолютно все достанется им*. Тогда как единственное имеющееся у меня свидетельство об обязательствах «Б. и Т.» передо мной находится у Пири-Гордона, который похитил все мое имущество и труд всей моей жизни. Следовательно, если П.-Г. и «Б. и Т.» запасутся терпением и, не отступая от своей позиции, дождутся моей смерти, то «Б. и Т.» заполучат 450 фунтов, а П.-Г. сохранит за собой рукописи двух законченных книг и четырех наполовину написанных[218] – и это не считая всех моих бумаг, одежды стоимостью в две тысячи фунтов, редких книг, антикварных вещиц, мебели – словом, всего, что удается собрать за целую жизнь знающему коллекционеру.



Теперь, если бы мы нашли финансового партнера, готового взять на себя мои обязательства, – или даже если бы у меня просто было жилье и средства, на которые можно существовать, – я бы за две недели получил все эти вещи назад, просто потребовав их. Единст-

венное, что не дает мне этого сделать, – это жалкое мое состояние. А П.-Г. с «Б. и Т.» явно решили извлечь из этого состояния наибольшую выгоду. Убивать им для этого не обязательно. *Достаточно просто ничего не делать, пока я не умру.*

Понимаешь?

Очень хорошо.

Теперь слушай меня внимательно. Я не умру, пока не нажалуюсь на них всем подряд. Поэтому вот что я сделал.



Я подробно описал в отчете Пруденциальному надзору[219], какими средствами пользуются «Б. и Т.», чтобы уничтожить меня: оставляют меня без обещанных ежемесячных выплат с октября 1908 года, отказываются извлекать прибыль из моих сочинений и не дают мне самому ее извлекать, чем обрекли меня на нищету и бесприютность, которые подорвали даже мое на редкость крепкое здоровье, наградив меня одним воспалением легких и обрекая на второе, оправиться от которого у организма уже не хватит сил. Я со всей определенностью указал, что «Б. и Т.» выгодна моя смерть, и подробно описал метод, каким они моей смерти добиваются.

Кроме того, я разоблачил «Б. и Т.» в письме Обществу юристов, подробно описав их злоупотребления доверием и ситуацию со страховкой.

Далее, я разоблачил П.-Г. и «Б. и Т.» в глазах Ассоциации издателей, заявив, что они *укра-*

*ли* мои работы и описав во всех деталях похищенные у меня рукописи – теперь ни один издатель не осмелится публиковать их без моего согласия.

Кроме того, я полностью разоблачил П.-Г. и «Б. и Т.» в письме Министерству иностранных дел и потребовал от них «помощи и защиты, какие могут оказаться необходимыми в случае нужды», как написано у меня в паспорте.



Словом, клеветал, как один только я умею, в надежде, что кто-нибудь клюнет и подаст на меня в суд, предоставив мне возможность обратить внимание публики на дьявольскую несправедливость, жертвой которой я стал. Мне публичности бояться нечего – быть может, это как раз единственный шанс на восстановление справедливости. Увидим.

Тебя же прошу поддерживать во мне боевой дух и присылать мне время от времени на табак, чтобы я не утратил форму. Благослови тебя бог! Сегодня я вышел, купил десять пачек сигарет по два пенса и пакет бумаги на подтирку, а завтра пойду подстригусь. На пачку писчей бумаги и новую ручку не хватило. Бумага у меня почти уже вышла, а ручка, которой написано почти семь миллионов слов, пребывает в плачевном состоянии. Но это подождет. Как бы то ни было, благодаря тебе я слегка приободрился.

Ужас, что происходит с Питером. Он похудел с пятидесяти килограммов до пятнадцати!!! Стыдно признаться, но у меня не хватает

духу даже смотреть на него. Да и что толку смотреть, когда я ничем не могу ему помочь. С первых же больших денег отправлю его на Сольфатару[220], чтобы прошел там курс серных ванн и хорошенько отъелся. Думаю, что если тщательно почистить его изнутри и снаружи, а летом месяца два дать ему позагорать на лодке где-нибудь в лагуне, он окрепнет и снова сможет работать. Жениться, конечно же, он уже никогда не сможет. И я очень опасаюсь, что на следующий год, когда ему надо будет идти в армию, его не возьмут и в карабинеры[221].



*А теперь расскажи мне, пожалуйста, обо всем.*

Особенно о своем друге в Оксфорде.

Только от тебя зависит, как долго я протяну в таком состоянии и доживу ли до того дня, когда мне удастся – тем или иным способом – призвать к ответу «Б. и Т.» и П.-Г. Нужны ли тебе фотографии?

## 24

*1 августа 1910 года*

Общество юристов и Пруденциальный надзор написали, что не имеют полномочий вмешиваться. Министерство иностранных дел и Ассоциация издателей просто не ответили. Шлю заявления государственному попечителю и в редакцию «Атенеума». Очень бы хоте-

лось, чтобы о скандале узнали в «Дейли мейл», вот только я не знаю, как это сделать.

Вчера поймал *пятьдесят четвертую крысу в собственной комнате*, если считать с июня. На окнах нет сеток от комаров, вследствие чего меня всего искусали, и я целую неделю мучился лихорадкой. Барбиери становится очень раздражительным – думаю, 5–6 августа снова окажусь на улице. Заранее тебя предупреждаю.



Известия из Америки: новая книга «Жажда», две других и еще восемнадцать длинных журнальных статей получены, идут переговоры об их срочной публикации. Но ты же знаешь, что отсюда письмо до Нью-Йорка идет 23 дня и по меньшей мере еще 23 дня уходит на то, чтобы получить ответ. Это, конечно, сильно мешает деловому общению.

Больших танталовых мук, чем те, что я пережил в связи с «Судьбой», представить просто невозможно. Кажется, я говорил тебе, что я написал 9/10 этой книги, а Пири-Гордон – 1/10, но доходы мы договорились поделить поровну. Я отдал свою половину в распоряжение «Барнарда и Тейлора». У Пири-Гордона остались два отпечатанных на машинке экземпляра этого романа и принадлежащая мне рукопись – мы условились, что он будет рассылать их издателям, пока не добьется согласия. Думаю, поначалу он так и делал. Во всяком случае, моя рукопись попала к издателю, который и вернул ее мне. Однако за два года П.-Г. ничего не сделал со своими двумя экземплярами, ровно

как и «Б. и Т.» в течение двух лет палец о палец не стукнули, чтобы договориться об издании моих работ. Поэтому я, бедный писатель, лишенный каких-либо деловых способностей, плюнул на этих профессионалов и сам взялся рассылать собственную рукопись. Естественно, сразу же нашелся издатель, который предложил мне 4 пенса за каждый проданный экземпляр. Я сказал «Б. и Т.» и П.-Г.: «Я написал книгу и я же нашел, кому ее продать (хотя последним должны были заниматься вы). Я приму это предложение, если вы дадите мне какую-то долю от прибыли – мне, который сделал всю работу, и свою, и вашу». Они ничего не ответили. Я отказал издателю. Он тут же предложил мне 6 пенсов за каждый проданный экземпляр. Я снова написал об этом «Б. и Т.» и П-Г. Они опять ничего не ответили. Я отказался и от 6 пенсов за экземпляр. Издатель тут же повысил вознаграждение до 8 пенсов. Я известил об этом «Б. и Т.» и П.-Г., опять не получил никакого ответа и отказался и от восьми пенсов. Тут глава фирмы написал мне личное послание с просьбой оставить вопрос открытым. Я написал об этом «Б. и Т.» и П.-Г., не получил ответа и через месяц отказал издателю и в этой просьбе. В результате чего получаю еще одно личное письмо от главы фирмы, который ПРОСИТ МЕНЯ НАЗВАТЬ МОИ УСЛОВИЯ для публикации «Судьбы» и СПРАШИВАЕТ, НЕТ ЛИ У МЕНЯ ЕЩЕ ОДНОЙ КНИГИ. Я пишу об этом «Б. и Т.» и П.-Г., ответа опять

нет, и теперь мне приходится отказываться и от этого предложения.

*Я сделал всю работу и хочу что-то с нее получить.* Ни «Б. и Т.», ни П.-Г. не заработают на моих мозгах и способностях ни пенни, если не выделят хотя бы полпенни мне самому. Жадность, заставляющая их посягать на целое, не даст им заработать вообще ничего. Люди
290 они обеспеченные, поэтому могут позволить себе, расслабившись, наблюдать за моими отчаянными усилиями в надежде конфисковать все мне принадлежащее в случае моей смерти. Тем не менее, я стараюсь этого не допустить, заранее объявляя, в какую игру они играют.

Но неужели ты не видишь из всего вышеизложенного, насколько глупо считать меня бесполезным мечтателем? Ни на какую особую коммерческую смекалку я не притязаю, но обыкновенный здравый смысл, кажется, у меня есть. Факт остается фактом, и он состоит в том, что я единственный в мире человек, которому удается продавать свои книги. Я продал «Тото», «По своему образу и подобию», «Рубаи», «[Хроники дома] Борджиа», «Адриана [Седьмого]», «[Дона] Тарквинио» – все сам. Сначала писал их, потом торговал ими, как на ярмарке. Никакой агент ни разу мне не помог. Теперь повторяется то же самое.

Что же тогда удивляться, когда я ору с полной уверенностью в голосе: *«Отдайте мне мое имущество и свободу, а потом смотрите, как я буду делать деньги».*

Ведь последнее предложение по поводу «Судьбы», предложение назвать свои условия, означает, что я могу попросить и *получить* с обратной почтой обычные *«тысячу фунтов наличными в качестве аванса за 9 пенсов с каждого проданного экземпляра»*. Издатели ничего не знают про «Б. и Т.» и П.-Г. Все в моих руках. Я мог бы подписать договор, забрать деньги и отдать из них «Б. и Т.» и П.-Г. ровно столько, сколько мне захочется. Если бы я был таким человеком. Но я не такой. Я всего лишь очень способный человек, *причем сразу в нескольких областях*, который решил, что больше не будет зарабатывать денег другим, ничего от этого не получая. Вот и все.



Я надеялся, что ты ответишь на мое последнее письмо. Какая же это жуть, когда не с кем перебросить дружеским словом. Питер совсем исчез с тех пор, как я тебе писал. Теперь со мной никто не разговаривает, если не считать Барбиери, который приходит и проклинает меня, потому что до сих пор не получил никаких денег. Как будто я в этом виноват.

Что ж, *5 или 6 августа* он точно меня выселит. Поэтому помоги мне, если можешь. Иначе я просто не представляю, как мне продержаться. И конечно же, мне придется отказаться от всего, что я с таким терпением сеял по Америке. Если я ничего не получу со своих работ, то и никто не получит.

Р.

## 25

*21 августа 1910 года*

Дорогой Ф.,

Десять тысяч благодарностей за последнее письмо с переводом. Благодаря ему я дожил сегодняшнего дня и придумал, наконец, нечто вроде конкретного плана. Похоже, я ухитрился запугать всех. Во-первых, я расследую лживые заявления, посредством которых Бенсону[222] удалось загнать меня под свой поповский каблук еще до того, как я уехал из Англии, и когда он еще не решил, что я в достаточной мере усмирен и что он спокойно может пригрозить мне разрывом отношений, если я не брошусь перед ним на колени с просьбой дать мне написать эту проклятую книгу про Св. Фому Кентерберийского, единственным автором которой будет значиться он. Главная из этих лживых историй была такая. «Арчи Маршалл[223] (владелец издательства «Элстон Риверз») говорит, что Джон Мюррей[224] страшно зол на тебя из-за каких-то совершенно необоснованных денежных претензий с твоей стороны», – говорит мне Бенсон. Я, естественно, отвечаю, что ни о чем таком понятия не имею; я никогда не ссорился с Джоном Мюрреем, он всегда нормально ко мне относился. Так что я просто хмыкнул. «Скажу прямо: я твой друг, ты можешь мне доверять, а у меня все это получается лучше, потому что ты

действительно выводишь людей из себя своими письмами», – говорит Бенсон. Я оставляю все это на его усмотрение. Больше ни слова об этом не говорю. Конечно же, я, как человек излишне чувствительный и застенчивый (хоть никто и не верит, что я таков), страшно досадовал, что обо мне говорят всякие гадости. Но следовал наказам Бенсона затаиться и положиться на него в деле исправления моего реноме. И что же? Сделав все возможное, чтобы закрепить в моем сознании идею о полной моей зависимости от него, он, как я уже сказал, потребовал, чтобы я написал за него книгу. Я отказался. И разразился гневной тирадой. После чего, решив *заставить* меня, он вступает в сговор с «Барнардом и Тейлором» и убеждает их больше не выплачивать мне содержание и прекратить вести мои дела, а затем вступает в сговор с Пири-Гордоном и убеждает его, что можно без каких-либо последствий украсть все написанное мной и оставить у себя рукописи «Судьбы скитальца» и «Артура Юбера». Кроме того, он убеждает меня отправить целую пачку рукописей, предназначенных для публикации в журналах, его драгоценному другу лорду Альфреду Дугласу[225], редактору «Академии», который будет держать их у себя, чтобы я никогда их больше не увидел. Видишь, в чем уловка? Ободранный, как липка, без средств к существованию и без рукописей, которые можно продать, обыкновенный человек обязательно бы

прогнулся и сам бы попросил разрешения написать книжку за этого гнусного попика на любых условиях. Но я не поддался. Вот и все. Я разоблачил Бенсона перед архиепископом и перед всеми, кого только смог вспомнить, рассказав о его попытке заставить меня написать книгу и о том, что из-за него все мои рукописи находятся теперь у лорда Альфреда Дугласа. Но я еще не распутал весь клубок беззаконий, которые он натворил, зато только что получил совершенно очаровательное известие по поводу истории с Мюрреем. Мне пришло в голову проверить, что стояло за баснями, которыми меня кормил Бенсон. Я сочинил довольное милое письмо Арчи Маршаллу с изложением того, что говорил Бенсон, сказал, что ничего не понимаю и попросил разъяснений. Он находился в кругосветном путешествии (написала его жена) и ничего не ответил. Тогда я написал самому Мюррею – примерно теми же словами. Мюррей высказался вполне определенно: *он знать не знает никакого Арчи Маршалла, не знаком с Бенсоном и никогда не говорил никому ни слова обо мне, а также ничего против меня не имеет!*



Это закрывает вопрос Бенсона. Я написал ему об этом и второй раз решительно разоблачил его в письме архиепископу.

Далее. Я нашел кое-кого в Крикхоуэле, человек отвечает на мои письма, и это значит, что *я объясняю, как Пири-Гордону удалось ограбить меня, его же соседям* – а меня там знали

и любили до моего отъезда из Англии. Похоже, людей там заставили поверить, что два года назад я загадочным образом исчез. Что ж, *теперь они узнают, почему я исчез* и какова на самом деле роль Пири-Гордона в моем насильственном изгнании. Другими словами, мне удалось пробить *воздвигнутую Пири-Гордоном стену напыщенного молчания,* и он теперь гадает, что я собираюсь предпринять.



Что же до «Барнарда и Тейлора», то они мне тоже написали – не то чтобы там было хоть слово правды, *но что-то же заставило их заговорить после двух лет почти полного равнодушия*. Я поинтересовался, как долго они будут терпеть разоблачения, с которыми я обращаюсь к Обществу юристов, Ассоциации издателей, Пруденциальному надзору, министерству иностранных дел, государственному попечителю и которые я высказываю во всех своих письмах и личных беседах. Везде и всегда я заявляю, что их контора отказывается предоставлять отчеты о проделанной работе, отказывается даже давать издательский отчет о произведениях клиента, что контора просто выжидает, удерживая его работы и его собственность, отказываясь вести переговоры и не давая ему возможности вести переговоры самостоятельно, что она вступает в заговор против своего клиента, даже не сообщив ему об этом и не получив его согласия, с Бенсоном и Пири-Гордоном, прекрасно сознавая, сколько зла причинили ему эти два

совершенных ничтожества. Я знаю, что человека, считающего, что люди плетут против него козни, обычно называют исступленным фанатиком, по которому плачет санаторий. Но – скажи мне – когда юристы вступают в переписку (у меня есть эта переписка) с двумя людьми, ограбившими, как им прекрасно известно, их клиента, и, в свою очередь, отказывают ему в праве пользования собственными произведениями и имуществом – неужели законы Англии не называют такое объединение пакостников неприятным словом «заговор»? Думаю, ты согласишься, что именно так оно и называется. В любом случае, у Бенсона, Пири-Гордона и «Барнарда и Тейлора» начало появляться слабое представление о том, чем именно они на самом деле занимаются. Полагаю, лучше бы они всего этого не делали.



Это то, к чему мы пришли. Следующий шаг – подумать, как это можно использовать.

Понятно, конечно, что они не начнут двигаться в желательном направлении, *пока этому не поспособствует какой-то резкий толчок.* В сложившейся ситуации они чувствуют себя крайне неудобно, однако понимают, что никакая опасность им не грозит, потому что у меня нет ни денег, ни друзей, с которыми я бы мог против них выступить. Целый шквал досадных (в силу своего обвинительного характера) писем, который я на них обрушил, конечно же, неприятен, но они не ждут от меня ничего, кроме писем.

Но – если я внезапно прекращу их писать, если больше никаких подробностей о причиненных мне страданиях ни один из них не получит – *тогда им придется действовать.*

На этом этапе тебе также надо принять во внимание, что жизнь, которую я здесь веду, становится с каждым днем все более невыносимой. Число крыс, которых я поймал у себя в комнате, достигло *61*. Кормят меня только после того, как поедят все слуги. Прислуга унижает и оскорбляет меня, потому что я не в состоянии дать им чаевые и потому что хозяин и его секретарь по утрам со мной даже не здороваются. И так далее.



Кроме того, тебе следует знать, что до консула тоже достучались. Кто, как и почему, мне неведомо. Однако он только что *ни с того ни с сего* написал мне и предложил бесплатный проезд до Нью-Хейвена или Дувра третьим классом без багажа. Это любопытно, потому что ровно в этой просьбе он отказал мне год назад, в июне, когда это еще имело смысл. Сейчас все это бесполезно. На самом деле даже хуже, чем бесполезно. Я выглядел бы полным дураком, вернись я сейчас, после всех своих клятвенных заверений, что ничто меня с места не сдвинет. *А кроме того, в Англии я буду столь же бессилен без друзей и денег, что и здесь. На самом деле, даже больше.*

Так что ты видишь, что стратегически говоря, мне, очевидно, следует сказать им всем – консулу, Барбиери, а также шайке Бенсона-

Пири-Гордона-Барнарда-и-Тейлора, – причем сказать со всей определенностью: «Мой долг – предупредить вас, что терпение мое подходит к концу, я совершенно измучен».

И сказав это, перестать им писать и тихо жить под открытым небом – где-нибудь в пустынном месте между «Эксельсиором» и Маломокко.

298 После чего всем этим людям придется броситься друг другу в объятья. Консул (и без того напуганный моим воспалением легких) захочет узнать, где я, чтобы его не обвинили потом в жестоком обращении с британским подданным. Барбиери побежит к консулу, испугавшись, что сорвется издание моей новой книги, которая должна оплатить ему мои долги и которую без меня он опубликовать не может. И эти двое начнут беспокоить «Барнарда и Тейлора», и так уже до смерти обеспокоенных собственными дознаниями касательно того, с какой такой дьявольской целью я внезапно замолчал.

Первое, что они узнают, будет состоять в том, что перед тем, как исчезнуть, я составил завещание, по всем правилам заверил его в присутствии сестер из госпиталя и отправил бумагу государственному попечителю, назначив его своим душеприказчиком. И это открытие вряд ли их успокоит, не правда ли?

В результате – что ж – найти меня не составит особого труда, потому что я не собираюсь заметать следы, скрываться или украдкой

заниматься чем-то постыдным. Карабинеры на Лидо, как ты знаешь, считают меня эксцентричным англичанином, который, подчинив всю жизнь писательскому труду, то живет на воздухе, то заточает себя в кабинете. Мы с ними в самых лучших отношениях, они в мои дела никогда не вмешиваются.

Однако что дальше? Что будет, когда консул, под давлением обеспокоенного Барбиери или не менее обеспокоенных «Барнарда и Тейлора», обнаружит меня? А дальше все просто: *я напрочь отказываюсь выслушивать что-либо, кроме приемлемого предложения*. Я сказал все, что хотел сказать. Я призвал Пири-Гордона, Бенсона и «Барнарда и Тейлора» вернуть мне украденные работы или, по меньшей мере, разрешить мне воспользоваться ими (я показал тебе, что я мог бы уже завтра продать по меньшей мере одну книгу, причем на моих собственных условиях); теперь мне больше нечего сказать. Я рассказал Пруденциальному надзору, какими средствами «Барнард и Тейлор» добивались того, чтобы оставить за собой право распоряжаться трудами всей моей жизни. Я рассказал министерству иностранных дел, как ограбленного британского подданного оставили умирать в изгнании. Более того, я договорился о том, что в случае катастрофы полная история всего случившегося в дневниках и письмах станет достоянием прессы. Поэтому теперь я категорически отказываюсь выслушивать от людей, которые

должны были зарабатывать *на моей жизни, а не на моей смерти*, что-либо, кроме приемлемых предложений, то есть предложений, *которые обеспечат мне достойную жизнь, крышу над головой и комфорт – достаточный, чтобы я мог продолжать работать.*

ОДНАКО я думаю, что не имеет смысл начинать, не будучи уверенным, что я смогу довести все это до конца. Не стоит кричать: «Волк!» Было бы пагубно и нелепо удаляться на берега Лидо только ради того, чтобы умереть там с голоду. Лишения меня не страшат. Однако было бы негоже ослабить тело до такой степени, что из-за него ослабла бы и воля. И кроме того, по правилам итальянской полиции, иностранец, не имеющий средств для поддержания жизни, немедленно высылается с территории страны. А это уж совсем никуда не годится.



Поэтому прошу: пожалуйста, одолжи мне пять фунтов. С пятью фунтами в кармане, я думаю, мне удастся реализовать этот план. Это займет около месяца: ради этого мне, быть может, придется переместиться из Маламокко на Пеллестрину. *Я должен быть в состоянии бросить вызов,* если ты понимаешь, о чем речь. Если сможешь одолжить больше, будет только лучше. Чем больше у меня будет денег, тем спокойнее и быстрее я добьюсь успешного завершения. Пожалуйста, отвечай *сразу же.* Сейчас как раз тот «психологический момент».

Всегда твой, Р.

Питер совершенно исчез.

*А. Дж. А. Симонс*

## В поисках Корво. Соавтор-сумасброд[226]



В поисках Корво мне удивительным образом помогал случай – выручил он меня и на этот раз. Гранту Ричардсу[227], из бездонной памяти которого я без устали черпал все новые и новые сведения, вспомнилась еще одна незначительная подробность: с Роуфом дружил некто Шолто Дуглас. Я знал, что имя Шолто в семействе Дугласов весьма распространено – я сам был лично знаком с тремя. С одним из этих трех я виделся лишь однажды, на обеде, который давал для нас двоих мой друг Винсент Маро: мадеру 1803 года, которую подавали в тот вечер, я не забыл и по сей день. Я тут же решил – без всяких на то оснований, – что Грант Ричардс ведет речь именно об этом Шолто Дугласе. Уверенный в истинности своей гипотезы, я написал ему, и был счастлив убедиться, что оказался прав.

Площадь Брунсвик 27,
Хоув, Сассекс

Дорогой Симонс,

Конечно же, я прекрасно помню тот чудный вечер, когда имел счастье познакомиться

с Вами. С тех пор я не раз надеялся снова с Вами встретиться. Теперь, однако же, я не в городе. У меня весьма забавная работа: моим заботам вверили семнадцатилетнего парня. В семь лет его научили читать и писать, а потом на десять лет отправили на каникулы. Теперь же призвали меня. Невежество его не знает границ. Сначала я думал, что не выдержу, однако со временем увлекся чрезвычайно… Надеюсь, мы с ним далеко пойдем.



Однако я ухожу от Ваших вопросов.

О Корво мне известно очень мало. Давным-давно, году в 1902, наверное, я прочитал его сборник «По своему образу и подобию». Через издательство я отправил ему письмо, в котором просил посвятить меня в содержание легенды о Фиораванти и Гверино. Он ответил по-итальянски, что ничего не знает. Я написал ему по-французски. Он в ответ перешел на латынь. Я, конечно же, парировал длинным письмом на древнегреческом. Завершив лингвистический смотр, мы вернулись к английскому. Встретились мы далеко не сразу. Прежде договорились о совместной работе. На самом деле, оглядываясь назад, я могу только сказать, что он взял серию «Рецензий на ненаписанные книги», которые я состряпал, но не смог никуда пристроить. На мой вкус, он их испортил, однако должен признать, что он их и продал – журналу Monthly Review[228], тогда как я не смог продать их никому. Денег он за это не взял, все получил я. После этого

мы начали сочинять сатирические жизнеописания известных императоров-озорников: все их писал я – он лишь вносил правки, которые меня раздражали. В том же духе он взялся за переработку моего перевода Мелеагра Гадарского. Ни то ни другое нигде не публиковалось. Но именно из-за Мелеагра мы рассорились окончательно. Он внес правки, согласиться с которыми я не мог. Я потребовал вернуть мне рукопись, он отказался – на том основании, что вложил в нее слишком много собственного труда. В конечном счете я получил ее назад вместе с большей частью своих писем к нему – в обмен на его письма ко мне. Виноваты были мы оба. Я не учитывал, хотя следовало бы, что имею дело с причудливым и сумасбродным гением. Теперь понимаю, что был недостаточно щедрым и снисходительным. Он был не такой, как другие; я был не прав, что относился к нему как к обычному человеку и мерил общей меркой.



Встретиться с ним лично мне довелось лишь однажды – он обитал в маленьком дешевом пансионе в Хэмпстеде. Обстановка ему совсем не соответствовала: ничем не примечательная комната, несколько полок и фотографий на стенах – в основном, его собственных. Свои художественные способности, мне кажется, он преувеличивал: он сказал, что сам нарисовал обложки «Дона Тарквинио» и «Адриана Седьмого» – красивыми их не назовешь.

Первоклассным ученым-классиком он тоже не был. Латынь он знал небезупречно, а в греческом, скажем так, мог потягаться с Шекспиром. Даже в итальянском, я помню, он умудрился сделать при мне какую-то элементарную ошибку. Итальянскую историю, однако, он знал хорошо, хотя даже там с каким-то извращенным упрямством отвергал заключения других людей – порой он, казалось, расходился с ними во мнениях просто ради того, чтобы расходиться во мнениях, как, например, в оценке пап Александра VI и Юлия II.



Сдается мне, что никакого проку для Вас от этих бессвязных записок не будет. Я в самом деле очень мало знал этого человека. Мне кажется, он и не хотел, чтобы я знал о нем что-то еще. Обо мне он выведал куда больше, чем успел сообщить о себе. Думаю, он так и не смирился с тем, что я – в его глазах – оказался в недостаточной мере католиком.

Первые две недели января мне предстоит провести в Блэкхите. Был бы очень рад повидаться с Вами, если судьба этому поспособствует. Быть может, Вы даже отобедаете со мной…

Искренне Ваш,
Шолто Дуглас

Прочитав это ценное сообщение, я не мог не задуматься об эксцентричности, в которой всю жизнь упорствовал Роуф. Кто, кроме него, вступил бы с такой легкостью в сотрудничество (по переписке!) с незнакомым человеком! –

да еще, к тому же, в сотрудничество, ставящее своей целью перевод с языка, который он едва знал? Что за версию бессмертного Мелеагра произвела на свет эта странная пара? Мне не терпелось узнать, и я обратился к Шолто Дугласу с просьбой прислать рукопись. Увы! Перерыв все свои бумаги, он вынужден был признать, что текст утрачен или же уничтожен. Я был раздосадован, о чем сообщил своему корреспонденту, быть может, слишком резко; чтобы утешить меня, Шолто Дуглас предоставил в мое распоряжение письма, которые Роуф вернул ему после ссоры. Зная историю их переписки, я переживал странное чувство, когда читал послания одно за другим и смотрел, как зреет романтическое товарищество двух родственных душ, которым еще только предстоит встретиться. Для одинокого Роуфа эти письма должны были значить очень много: Шолто Дуглас явно недооценивал их важность. Где же, спрашивал я, вторая часть переписки? Имелось опасение, что она утрачена вместе с рукописями; в самом деле, по завершении поисков приходится с печалью признать: хоть мне и удалось найти почти все, что я искал, письма к Шолто Дугласу мне так нигде и не попались[229].



Первое скромное послание с просьбой поделиться сведениями – письмо, ничем не отличающееся от тех, что обыкновенно пишут авторам полюбившихся книг застенчивые читатели, ничего интересного не содержало; как,

впрочем, и ответы на французском и древнегреческом. Тем не менее, из письма, последовавшего чуть позже, я узнал, что Роуф повторяет то же, что говорил в Оскоте и Холиуэлле: он-де учился в Оксфорде, но его, к сожалению, исключили. «Дорогой сэр» довольно быстро сменяется обращением «Дражайший». «Вы задали много вопросов, – пишет Дуглас, – в том

числе и всеохватный: „Кто вы?“. Я, вне всяких сомнений, несколько старше Вас [на самом деле Дугласу было 28, а Роуфу – 40]. Говорю так, потому что между первыми историями, которые Вам рассказал Тото, и выходом сборника „По своему образу и подобию“ Вы исключительно быстро повзрослели. Я домашний учитель, и работы у меня достаточно, чтобы поддерживать свою бедность на приемлемом минимуме. Вбиваю принципы тщательности и точности в бестолковые головы не ведающих ни о чем учеников»; «первая работа оказалась легкой и на редкость удачной, второй ученик попался сложный, дело обернулось полным провалом: этот случай многому меня научил, с тех пор я неизменно руководствуюсь в работе именно этим опытом. Ни на минуту не забываю, что я всего лишь гувернантка в мужском обличье. Подавляю себя и открываю рот только тогда, когда ко мне обращаются. Веду себя подчеркнуто учтиво. Всегда повторяю религиозные соображения каждого следующего работодателя. Ем то, что мне следовало бы, по их мнению, есть. Курю толь-

ко там и тогда, где и когда от меня этого ждут. Обожаю маленьких девочек. Никаких странностей за мной не наблюдается. Проявляю неуемный интерес к механическим игрушкам и чемпионату по крикету среди графств – больше всего на свете меня занимает крикетный чемпионат. В силу чего я и стал успешным домашним учителем».



В ответ на эту откровенность барон Корво отправил своему незнакомому другу вырезку с разгромной статьей из «Абердинской свободной прессы». Отзыв Роуфа обнадежил. «Вырезка из газеты любопытна как образчик клеветы, однако мне хотелось бы иметь возможность ознакомиться с ее зеркальным отображением». Воодушевленный таким ответом, Роуф предложил встретиться. Дуглас сомневался в целесообразности этого шага. «Стоит ли нам сближаться? Я-то уж точно лучше всего выражаю себя в письмах. А Вы?» Тем не менее, они встретились. «Дражайший, у меня сложилось о Вас удивительно неверное представление. Чего я совсем не ожидал увидеть, так это чрезвычайно человечного добросердечия, пленительно мерцавшего за стеклами Ваших очков». Пока все шло хорошо.

Шолто Дуглас не понимал, насколько поразило Роуфа письмо, в котором тот продемонстрировал свободное владение древнегреческим. Занимаясь историей рода Борджиа, барон Корво не мог не проникнуться духом Ренессанса, где понимание древнегреческого

считалось условием подлинного благородства; закончив работу, он с пылом, на который способны лишь дилетанты, погрузился в изучение классики. Он не только желал знать – он стремился скрыть, насколько неглубокими были его новоприобретенные знания. Поэтому он наслаждался куда более солидной ученостью Шолто Дугласа, не выдавая при этом собственной ограниченности. Сделать это было несложно; к тому времени он уже знал латинских авторов в достаточной мере, чтобы блеснуть эрудицией в комментариях к книгам, которые читал и которыми восхищался. К тому же греческий он все-таки понимал. Собственные переделки из древнегреческого (лексикона) мелькают тут и там на страницах «Тото». Если это и была всего лишь претензия на ученость, то питалась она тем же духом, что и у Эдгара Аллана По: тот обожал править и рецензировать переводы с немецкого, хотя знал этот язык еще хуже, чем Роуф древнегреческий. Оба обладали подлинным литературным чутьем, рядом с которым обыкновенная ученость – не более чем незажженная лампа.



Роуф обрадовался, узнав, что у Шолто Дугласа лежат в столе несколько незаконченных рукописей и неопубликованный перевод из Мелеагра, и тут же попросил прислать их ему. Однако в этой затейливой переписке одно дело попросить и совсем другое – получить то, о чем просишь. Дуглас обладал поразительной способностью к интеллектуальным

обманам и розыгрышам, причем его несколько более мрачному старшему товарищу это специфическое чувство юмора наверняка казалось еще более издевательским и дразнящим, чем на самом деле. На рассуждение об Авсонии[230], к примеру, Дуглас ответил вовсе не тщательно аргументированным комментарием, о котором просил Роуф, а яростным обличением Саутси и характерной для него курортной жизни: «Город совершенно плоский, все сделано из гипса: эспланады, променады, дешевые расфуфыренные женщины, павильоны и чай Липтон. Представь себе низкий илистый берег во время отлива, присобачь к нему устье реки, высуши все это, нацарапай на нем кирпичи и выстрой из них окаянные виллы, приклей эспланаду и окружи все кустами, укрась шарманками, пирсами и пусти повсюду электрические трамваи – после чего упади на колени и посочувствуй мне». Роуфа это описание совсем не позабавило – он снова попросил прислать рукописи и перевод Мелеагра.



Рукописи он не сразу, но получил. Автор, однако, предупреждал: «Все это курам на смех. Моя душа, должно быть, свернулась в стельку, когда я их писал». Этот чреватый важными последствиями сверток вместил в себя все разрозненные сочинения, упомянутые в письме Шолто Дугласа. Там были недоделанные «Рецензии на ненаписанные книги», представление о которых можно составить по заголовкам: «Депеши о ходе Южно-Африканской кампа-

нии» Макиавелли, «Жизнь Карлейля» Джонсона, трактат Тацита «De moribus et populis Americæ»*, «История Англии» Геродота, «Грамматика разногласия» кардинала Ньюмена[231]. Там же были наброски для книги, которая должна была состоять из портретов тридцати римских императоров – Карина, Гелиогабала, Коммода, Пертинакса и других (написанных
310 в самом изысканном стиле, напоминающем разом Карлейля и Эдгара Сальтуса[232]), заголовки предполагались такие: «Колосс спальных покоев» или «Козел в поповской шкуре». Дуглас, сомневавшийся в ценности этих набросков, шутил по поводу того, как они сочинялись: «Я изобрел новый метод разведения литературы – абсолютно безуспешный. Берешь три эпитета, из которых как минимум один должен быть бессмысленным, а два других относиться к словам, в приличном обществе не дозволенным; строишь вокруг них предложение, желательно во втором лице единственного числа (это дает тебе возможность приступить к теме и расположить другие слова так, чтобы их было легко выхватить даже при беглом прочтении); каждое третье предложение заканчиваешь восклицательным знаком – и все готово!» Был в посылке и английский перевод Мелеагра.

Роуф, страдавший от одиночества в своей хэмпстедской комнатенке, занялся переработ-

---

* О нравах и народах Америки (*лат.*).

кой этих незрелых сочинений. И, как сообщил мне Шолто, отнюдь небезуспешно: некоторое количество «Рецензий на ненаписанные книги» нашли свое место в Monthly Review. Роуф даже добавил несколько новых: «Письма лорда Честерфилда Дж. П. Моргану»[233], «Речь Цицерона на сожжение Жанны Д'Арк», «Эпопея Марло о доме Борджиа». «Твой дивный аттический талант преобразил мою ахинею в литературу», – с энтузиазмом писал Роуфу автор. На самом деле никакого преображения не произошло: «Рецензии» не стоят переиздания, хотя там, как и во всем, чего касалась рука Роуфа, попадаются занятные фразы. В какой-то момент римские истории показались соавторам более перспективными, и они принялись за малоизвестные источники в поисках фактов и словесных перлов. Однако стоило исследовательскому пылу сойти на нет, как Дуглас утратил всякую веру в ценность своей работы: «Четыре дня я писал, старательно и самоотверженно. Я доказал, что писать не способен, и вполне этим доволен». «Что за черт, – добавляет он позже. – Я знал, что это случится: опять подражаю Карлейлю. Эта отрезвляющая мысль посетила меня, пока я писал «Коммода». С самим собой я этой мыслью поделиться не решился, даже под большим секретом. Тебе не подал ни единого знака. С тех пор, как я в последний раз заглядывал во «Французскую революцию», прошло уже полгода. За это время я должен был полностью избавиться от пара-

зитов. Придется прочесть изрядную порцию противоядий. Я должен пройти курс Уитмена, Эсхила, Сирила Тернера[234] и Тацита. Или, быть может, лучше прибегнуть к рвотному – в виде Гиббона, например?» И наконец: «Послушай, – умоляет он. – Неужели ты и вправду хочешь, чтобы я продолжал мучиться, выдавливая из себя надерганные из разных мест

тривиальности? Даже тебе никогда не удастся ничего из них сделать. Мы попусту тратим время. Я занимаюсь этим только чтобы тебе угодить. Было бы хорошо, если бы ты позволил мне бросить». Роуф не возражал: в конце концов и ему пришлось признать, что сомнения Дугласа в собственных силах не были безосновательными. «Тридцать императоров» снова отошли в небытие недописанных книг.

Оставался Мелеагр. Из трех проектов именно он больше всего интересовал Роуфа. Его тешила мысль, что он может стать хотя бы соавтором перевода с древнегреческого, и он серьезно и тщательно, не пропуская ни слова, изучает со словарем текст Мелеагра в надежде наделить личным звучанием перевод Шолто Дугласа. В чем он и преуспел. Поначалу критика со стороны соавтора была умеренной: «Твоя сафическая строфа звучит неубедительно. Мне кажется, ямб смотрелся бы лучше. Выбранный тобой метр слишком сложен, он стесняет тебя, и поэтому в переводе я вижу больше Роуфа, чем Мелеагра: это серьезный недостаток». Однако, по мере того, как Роуф погру-

жался в работу, отношения между соавторами становились все более натянутыми. Дугласа раздражало пристрастие Роуфа к переиначиванию общепринятых способов транслитерации и правописания. Устаревшее «k» в окончании таких слов, как «public», легко сошло ему с рук, однако вскоре Роуф считал уже совершенно необходимым отойти от общепринятого «Cypris» в пользу «Kypris», а затем и «Kupris». Устоявшемуся английскому написанию «Meleager» он решительно предпочел «Meleagros». Шолто Дуглас сначала робко протестовал, но в конце концов высказал решительное возмущение «откровенным буквоедством», сквозившем во всех предложениях Роуфа. «Нет, нет и нет. Мы переводим Мелеагра. Я отказываюсь приписывать Мелеагру пассажи Роуфа, который тот у него позаимствовал. Можешь вставлять свои эвфемизмы, где тебе нравится, но переиначивать целое у тебя нет никакого права». Далее последовали обвинения в том, что Роуф кичится знаниями, почерпнутыми из «Заметок и вопросов»[235]. Чуть позже Дуглас писал: «Подробное изучение твоего варианта лишь подтвердило мое первое впечатление: тебе не удалось уловить общий дух Мелеагра, слух часто подводит тебя, вследствие чего ты усложняешь текст там, где гладкости ради вполне простительно было бы отойти от оригинала; если брать в целом, мой вариант значительно лучше твоего». Соавторы продолжали пересылать друг другу рукопись с растущим

количеством правок, а Дуглас высказывал все новые и новые упреки: «По поводу твоей новой строчки у меня нет никаких возражений, но мой дорогой, есть Мелеагр и есть ты: ты волен утверждать, что Мелеагр допустил эстетическую ошибку, завершив песнь так, как он ее завершил, но твое желание изменить ее смысл оправдать невозможно». В конце концов Дуглас, который хоть и не обладал самостоятельным писательским даром (о чем сам прекрасно знал), зато был куда более совестливым ученым, чем Роуф, взорвался: «Я бегло просмотрел твой новый вариант, и он привел меня в такой гнев, что мне трудно даже говорить. Хочется взять простой редакторский карандаш, да побольше, и в ярости повычеркивать все. Я просто рыдаю над текстом. Ну почему же мы настолько не сходимся? Какую фатальную ошибку я допустил, отправив тебе эту рукопись! Я бы многое отдал, чтобы вернуться в прошлое и воздержаться от этого шага. И что мне теперь, отсылать тебе каждую пустячную поправку, которую я считаю необходимой? Или ты настолько себе доверяешь, что я должен вернуть тебе текст без всяких комментариев и предоставить тебе одному решать все вопросы?»



Это был конец. Роуф переносил критику с гораздо большим терпением, чем я ожидал, – несомненно из глубокого уважения к знаниям, которые, как он прекрасно понимал, превосходили его собственные, однако подобно-

го прямого выпада его гордость не выдержала, и дружбе, вместе с перепиской, пришел конец; впрочем, потребности в мести ни та, ни другая сторона, судя по всему, не испытывала.

Помимо чисто литературного спора в письмах мелькают и куда более мрачные детали. В одном Дуглас выражает радость, что Роуфа больше не беспокоят судебные приставы; в другие – очевидно, понимая, в какой крайней бедности живет его друг – вкладывает небольшие суммы, предназначавшиеся якобы на оплату почтовых расходов, покупку бумаги и на другие нужды, которые могли возникнуть у Роуфа в связи с их совместным предприятием. Ясно, что тень нужды зловеще нависала над ним, даже когда этот незадачливый переводчик выискивал в словаре самые точные эпитеты.



***

Пока переписка с Шолто Дугласом шла своим чередом, а Роуф осваивал таинства древнегреческого и постигал тонкости Мелеагра, не без его участия осуществлялось другое, ничуть не менее удивительное литературное предприятие, в связи с которым ему пришлось расстаться с еще одним другом. Друга этого звали Темпл Скотт – он, как мы помним, отправился в Америку представлять интересы Джона Лейна[236], но в то же время вез с собой благословение барона Корво вкупе с поручением ознакомить американскую публику с его

исполненными всяческих достоинств произведениями. Над этим заданием Темпл Скотт был готов работать, насколько позволяли его возможности.

Американская публика должна была узнать о существовании писателя Корво посредством двух текстов – сборника историй о Тото («По своему образу и подобию») и нового перевода Омара Хайяма. Последний был обязан своим появлением рекомендациям Харланда и Кеннета Грэма[237], а также огромной популярности перевода Фицджеральда[238]. Шедевр персидской поэзии, никому ранее неизвестный, вдруг полюбился всем, издатели соревновались друг с другом в печатании все новых и новых версий. «Рубайи» отвечали духу поколения, восставшего против религиозных запретов; языческие пассажи Хайяма выражали во всей поэтической полноте установки нового материализма, пришедшего вслед за учением Дарвина. Рынок заполонили «сравнительные» издания, «иллюстрированные» издания, а также новые переводы, делавшиеся авторами, которые либо стремились улучшить классический перевод Фицджеральда, либо просто хотели подзаработать на популярности Хайяма у публики. Немногие из «новых» переводчиков знали хотя бы азы персидского, однако это простое обстоятельство, похоже, не сильно их беспокоило. Не беспокоило оно и Роуфа.



Жилой, которую разрабатывали эти трудолюбивые авантюристы, был практически

полный французский перевод четверостиший Хайяма, выполненный Ж. Б. Николя, французским чиновником, много лет прожившим на Востоке. В своем первом издании Фицджеральд намеренно дал подборку из ста одного стихотворения, и впоследствии большинство английских переводчиков пошли по его стопам, предлагая лишь избранные четверостишья, связанные между собой какой-то одной идеей или настроением. Проект Роуфа, сам по себе замечательный, состоял в том, чтобы сделать первый английский прозаический перевод всех четырехсот с лишним четверостиший, изданных Николя. Если бы ему бросили вызов, он, возможно, и попытался бы – ему одному известными методами – извлечь смысл из персидского оригинала; в сравнении с этим стоявшая перед ним задача была простой.



По совету Темпла Скотта, который должен был написать предисловие к новому переводу Роуфа, Джон Лейн согласился напечатать книгу, когда она будет готова, и заплатить 25 фунтов за права. В надлежащий срок Корво справился с задачей. Вряд ли это далось ему легко; готовое изделие, вышедшее в свет в 1903 году, несло на себе отпечаток эксцентрической личности автора. Г-н Натан Хэскелл Доул, американский специалист по Омару Хайяму, написавший свое предисловие к изданию, отмечает:

> Фредерик барон Корво показал себя искусным переводчиком. Отбрасывая филигран-

ные украшательства французского стиля, он часто приближается к изумительной сжатости и краткости Хайяма. Например, там, где Николя до смешного серьезно заявляет, что соловей объясняется «dans un langage appropriè à la circonstance», по-английски это элегантно передается как «шепчет мне подходящие слова». Переводчик часто использует греческие выражения, причем со знанием дела – как, например, во фразе: «Посвященный во все мистерии, по каким новым оргиям ты томишься?» Фраза эта от начала до конца греческая, что позволяет тонко обойти непристойность персидского оригинала. Фраза «un verset plein de lumière» лишь проясняется в выражении «диафотичные (diaphotick) стихи», тогда как Луна удачно превращается в «Астрархе» (Astrarche), королеву звезд. Переводчик рассказывает о светлых парфянских локонах, а греческое слово agapema, означающее «объект любви» и грамматически относящееся к среднему роду, он одной только силой гения преобразует в имя собственное, да какое прекрасное – «шея Агапемы».



Похвалы, может, и заслуженные, однако удовольствие текст Роуфа может доставить лишь самым ярым поклонникам Хайяма. Помимо странностей транслитерации, проявлению которых на этот раз не мог помешать Шолто Дуглас, эту прозаическую версию отличают тяжесть и формализм, преодолеть которые не помогают даже встречающиеся время

от времени удачные обороты. «Если Чужой тебе предан, относись к нему как к Родному, если Родной тебя предал, оттолкни его как Чужого» – это еще относительно удачный пример. Вот другой: «Бог, когда лепил мое Тело из Глины, знал, что я буду делать. Не без его Потворства я согрешил. Так неужели же в Судный День Он даст мне сгореть в Аду?» Тем не менее, в течение какого-то времени Роуф был вполне доволен своим переводом и считал, что он принесет ему деньги. «Филистер любит некоторые очевидные темноты», – писал он Темплу Скотту; «Не доверяй первому впечатлению. Я придумал новую систему английских слов, передающих персидскую идею *через* греческий, в строгом соответствии с филологическими правилами, так что, несмотря на то, что эти слова режут тебе глаз, они instanter* зажигают в мозгу искру интеллекта. Любой способен понять, что значит Хибристик (Hybristick), а отсылка к словарю подскажет ему, что этим эпитетом Гомер характеризует женихов Пенелопы – грубых, пьяных, сладострастных, разнузданных и молодых; произвольное, но зато какое богатое слово». К сожалению, отнюдь не «любой» читатель был на это способен. Лейн не стал тратиться на печатание словаря, и «архелленизмы» Роуфа, как охарактеризовал их впоследствии один из критиков, филистеры не оценили, хо-



* Мгновенно (*лат.*).

тя любителям эксцентричных выражений они и пришлись по душе. Эта новая хитроумная версия Хайяма не произвела никакого впечатления в Англии и была с самого начала обречена на провал в Америке. Вину за этот провал автор возложил (не на себя, а) на Лейна и Темпла Скотта. «В Лондоне мне казалось, что он заслуживает сострадания и бескорыстной помощи», – пишет последний; «в письмах, которые он отправлял мне в Нью-Йорк, он проявил себя человеком неблагодарным, с горечью отталкивающим любые проявления доброты и дружеской помощи. Более того, я обнаружил, что всякие попытки помочь ему его лишь раздражают. От едкости его натуры, которую он не мог смягчить, сколько ни старался, сворачивалось молоко человеческих чувств. Но я уверен, что смягчить эту едкость ему и вправду хотелось. Я прекратил отвечать на его письма, когда обнаружил, что он стал до обидного подозрительным и что удовлетворить его запросы попросту невозможно».

Тем не менее, перед тем как рассориться окончательно, Роуф отправил своему другу несколько писем, содержащих весьма красноречивые пассажи. «Не трудись рассказывать мне о своей дороге, – писал он Темплу Скотту сразу после его отъезда, – эта самая постылая привычка путешественников. Мне самому – когда я еще ездил и у меня были друзья (passez-moi le mot*), ждавшие от меня новостей о моих пе-

* Извини за выражение (*фр.*).

ремещениях, – после первых нескольких писем, как правило, приходилось сочинять самые дикие небылицы. После двух повторений рассказ о поездках перестает быть интересен самому путешественнику; и ему, натурально, ничего не остается, как выдумывать». «Я ничему не подражаю, я культивирую свои выдающиеся черты. Отсюда моя уникальность», – заявил он в очередном приступе самовозвеличивания. И опять же: «Собирай и присылай мне все литературные газеты и журналы, какие только можешь, – все, что может способствовать сохранению моего рассудка. По зрелом размышлении, мне совсем немного надо, чтобы развеселиться, однако я уже забыл, когда последний раз смеялся; человек же, лишенный веселья, не может быть серьезным». Тон этих писем по большей части дружеский, однако стоит корреспонденту хоть чуть-чуть выйти за рамки ожидаемого, Роуф выпускает когти:



> Вчера вечером получил твое крайне неудачное письмо от 7 июля. Крайне неудачное из-за содержащихся в нем многочисленных ересей.
>
> Тезис. Теперь ты меня знаешь.
>
> Неправда. Никто меня не знает. Я сам себя не знаю. Помимо того, что я есмь кто я есмь в данный момент, полностью на чем-то сосредоточенный и столь же полностью сосредоточенный на чем-то другом в момент, следующий за нынешним. Ты меня знаешь? Anathema sint!

Тезис. Ты начисто лишен воображения.

Неправда. Твое же письмо тебя выдает. Там одни сплошные измышления. Anathema sint!

Тезис. Я доволен своей книгой о Борджиа.

Неправда. Эта книга – хорошо если треть того, чем она могла бы быть. Там не хватает еще семидесяти восьми медалей, поездок в Рим, Милан, Феррару и двух лет работы. Книга эта – лишь жалкая претензия оголодавшего человека. Anathema sint!



Тезис. Я сибарит и любитель роскоши.

Адская чушь. Лишнее свидетельство того, что коварные наветы «Абердинской Свободной прессы» извратили даже твои представления. Люди, привыкшие классифицировать, ни на что другое не способны. Считать все необычное роскошью – самое обычное дело. Заметь, пожалуйста, что я к любителям роскоши не принадлежу. Клубнику я ненавижу, а спаржу просто употребляю. Я горжусь своей разборчивостью, что правда то правда, но разборчив я лишь в простом и малом. Еда меня не интересует, одежда тоже. Неестественному изобилию и великолепию я предпочитаю омлет, зелень и халат. Я молю глухих к моим просьбам богов о приятном климате, книгах, драгоценных камнях, ваннах, пяти рабах и своей беззащитной душе. Но клубнику со спаржей навязывать мне не надо! Anathema sint!

Однако самым интересным из документов, предоставленных мне г-ном Темплом Скоттом,

оказалось письмо, в котором Роуф определяет свое отношение к любви и страсти:

> Странная вещь, которую люди называют любовью, каждый раз приводит меня в ужас. Глупо отрицать ее существование, потому что то и дело появляются новые примеры: вполне здравый мужчина или женщина посредством какого-то непонятного таинства впутывает в свою жизнь другого человека. Причем каждый из них действительно выдерживает постоянное присутствие другого. Что-то в этом должно быть.
>
> Меня, однако, это страшно смешит. Плотские удовольствия я ставлю высоко, но мне нужны перемены. Даже куропатки могут опротиветь, если беспрерывно есть только их. Осуждать плотскую страсть – признак воинствующего невежества или ханжества, но мне встречались люди, которые все естественное полагали святым, так что я в недоумении. Пожалуй, мы все себя обманываем. Высморкаться (я, кстати, так и не научился этого делать) ведь вполне естественно. Совокупиться – тоже. При этом последнее называют святым, а первое обходится почему-то без эпитетов. Чем одно важнее другого? Не думаю, что мне хочется это знать.
>
> Говорят еще о греховности, вульгарно подменяя общее частным. Конечно, ты греховен, греховно каждое мгновение твоей жизни, не соотнесенное с благодатью и славой Созда-

теля и не посвященное ее созерцанию. Это, однако, простительно, потому что Истинная Любовь полна прощения.

Так что иначе, чем в плотском смысле, я любовь мужчины к женщине понять не могу. Плотскую – вполне. Если же отойти от плоти, то вполне возможны отношения, основанные на вкусе, на восхищении душой, на любовании телом.



Что же до меня, то я тихо гибну в своих цепях. Природа лишь мельком заглядывает в окошко моей тюрьмы. Броня ледяного равнодушия сковывает мои члены, моих чувствительных мест никто не касается. Я замкнут – и одинок.

***

Под воздействием своего странного невроза барон Корво порвал едва ли не со всеми друзьями и лишился всех источников дохода, однако крыша над головой у него оставалась – та самая крыша в Хэмпстеде, под которой он оказался четырьмя годами ранее в качестве гостя покровительствовавшего ему Слотера[239]. Самого Слотера, однако, в доме 69 по Броадхерст Гарденз уже не было: он уехал воевать в англо-бурской войне и не вернулся. Роль главного благодетеля Роуфа перешла к другому обитателю пансиона – Хэрри Бейнбриджу, молодому химику, который больше двух лет помогал Корво деньгами и дружеским участием. Но теперь Хэмпстедский рай покинул и Бейнбридж – Роуф оказался в от-

чаянном положении. Какие-то деньги, должно быть, ему так или иначе удавалось заработать или занять, однако трудно сказать, как именно. Примерно в это время он заручился поддержкой известного литературного агента Дж. Б. Пинкера, а также, вооружившись рекомендацией, искал, причем искал безуспешно, издателя, который напечатал бы книгу «Дом Джеральдо», называвшуюся теперь «Дон Ренато», перевод Мелеагра и «Рецензии на ненаписанные книги», созданные в соавторстве с Шолто Дугласом. К славе он больше не стремился. «Я жажду не литературного успеха, а коммерческого, – объяснял он читателю, заинтересовавшемуся его неопубликованными книгами. – Я просто жду, когда найдется издатель, с которым можно было бы по-настоящему сотрудничать. Пусть этот издатель придумает, какой я и кто, и публикует мои работы под именем этой персоны. Имя я и сам могу дать, если в имени есть хоть какая-то ценность». Было ясно, что имя барона Корво особой ценности уже не представляло.



Больше всего он жаждал резкого поворота событий, который сделал бы его независимым. «Занят крайне неприятными денежными делами», – писал он одному из своих американских корреспондентов:

> В ушах беспрерывно звенит, голова как будто налита свинцом. Язык обложен, во рту неприятный привкус, постоянно хочется пить. К ал-

коголю я даже не прикасаюсь, не пробовал его уже много лет. Пьяным я был один раз в жизни – в шесть лет, да и то по чистой случайности. Но тем не менее, думаю я с каждым днем все медленнее и медленнее. С утра до пяти вечера к умственной работе я практически не способен. Болтать, конечно, могу, писать тоже, но исключительно автоматически, никаких мыслей,

которые бы вдохновляли или направляли меня, не возникает, и в результате выходит сплошная шелуха. Излечить меня может лишь отдых и свобода от тревог. Только тогда работа пошла бы мне во спасение. Только вот во всем мире у меня нет ни одного друга, готового мне помочь. В существовании литературного «патрона» приходится сомневаться – по крайней мере, он ни разу не показался мне на глаза. И хотя все поражаются качеству и количеству мною сделанного и, что ни день, предрекают, что рано или поздно мои сочинения ждет невиданный коммерческий успех, никому так и не пришло в голову вложить в меня деньги, чтобы, поддерживая во мне жизнь, получать от меня новые сочинения, которые бы обеспечили этот самый коммерческий успех. В общем, больше ничего мне и не надо. Ничего, кроме тысячи фунтов (сумму я называю случайную), ничего, кроме некоей суммы, крупной единовременной выплаты, которая уничтожила бы все эти душащие меня паутины и сообщила бы мне *уверенность,* сладостное благоразумие и силы надлежащим образом

употребить свои дарования. Мне не на что опереться – это меня и убивает.

Весь секрет в том, что единовременная выплата должна быть крупной, это весьма существенно. От мелких подачек мне только хуже: они раздражают, еще больше изводят и озлобляют, потому что лишь продлевают агонию, а по-настоящему помочь не могут. Будь у меня крупная сумма, я избавился бы от своих ерундовых на самом деле обременений, уехал бы на месяц к теплому морю, чтобы отоспаться на солнце и очистить душу от кошмаров, после чего вернулся бы к работе с удвоенной энергией, зная, что какие-то деньги у меня еще имеются и что нет нужды воздерживаться от долгой прогулки, когда душа этого просит, лишь ради того, чтобы поберечь ботинки, чистую рубашку и воротничок на случай визита к издателю или обеда с сестрой и матерью. Быть может, из этого вы приблизительно поймете, какими ограничениями мне приходится себя терзать.



Пока Роуф бродил по Лондону, завязывая контакты (никогда не приносившие контрактов) с расчетливыми издателями, ему встретился старый школьный приятель, сжалившийся над измученным и голодным автором. Кайнс-Джексон предостерег этого приятеля по поводу Роуфа, на что получил следующий ответ:

На самом деле ты не понимаешь нашего отношения к Корво. Он смертельно боится людей,

публичности и любого внимания к себе и своим занятиям. Что ж, мы решили принять его каким он есть, без предвзятости, и дать ему еще один шанс. Последних двадцати лет между нами не существует, тогда как мир отказывается их позабыть. Поэтому Ф. и я – единственные два человека в целом мире, в которых он верит и на которых может положиться. Мы

спасаем его ради него самого, намеренно игнорируя все, что в нем есть дурного, и он отвечает на это с известным благородством. Человек, которого я знал и любил двадцать лет назад, иначе и не мог поступить. Для нас он Ф. У. Роуф, никаких других его личин мы не знаем. Конечно, обезоружив себя таким образом, мы чем-то рискуем, но когда хочешь совершить чудо исцеления, приходится рисковать. А именно это чудо мы и намерены совершить… Он говорит, что не решился бы встретиться с тобой или с кем-либо другим из круга Глисона Уайта[240]. Вероятно, вы слишком много знаете… Он ожесточенный, истекающий желчью всеми гонимый пария – это очевидно; он неважно вел себя по отношению к миру, в котором живет, и к своим ближним – естественно, что теперь он боится и мира, и ближних. Жизнь его испорчена. А нам хотелось бы подать ему луч надежды и подбодрить, даже если он этого не заслуживает. Нам он ничего плохого не сделал; мы тоже не собираемся его обижать. Он как раз только что это осознал: двое из миллиона не желают ему никакого зла… Тебе нет

нужды беспокоиться по поводу возобновления этой дружбы; уверяю тебя, что главный мой мотив – искренняя жалость к ужасному его положению. Его пример, его советы или его влияния никак на мне не отразятся. Стать шатуном в этом механизме позволить себе не могу, однако побыть рычагом не против.

Но даже и этого доброжелательного приятеля барон Корво довольно быстро от себя оттолкнул. В который раз ему приходилось противостоять своим бедам в полном одиночестве. Колесо его жизни совершило еще один полный оборот; новый Иксион оказался столь же нищим, одиноким, беззащитным и отверженным, каким он уезжал из Италии в Англию в 1890 году или из Хоулиуэлла в Лондон в 1898-м. Однако отчаянная твердость, столько раз спасавшая Роуфа в тяжелые времена, отнюдь не истощилась; прибежищем от потерь и разочарований стал для него его собственный дух, и смирившись со своей одинокой судьбой, Роуф нечеловеческим усилием воли начал жизнь заново. В четвертый раз он прощался с собственным прошлым, чтобы вступить на новую стезю. Новая жизнь требовала нового имени; таким образом, «годы трудов, которые ушли на то, чтобы создать псевдоним, сведены на нет» (заявил он в письме брату), и титул барона Корво был оставлен точно так же, как и был принят: чего-чего, а удачи он ему не принес. С этого времени он име-

новал себя «Fr. Rolfe». Сокращение никакого обмана не подразумевало и расшифровывалось как «Фредерик», однако те, кто по ошибке принимал его за «Father», святого отца, лишь признавали, в глазах носителя этого имени, неугасимое божественное призвание, по отношению к которому церковные власти проявили столь поразительную слепоту.

# Комментарии



1 В Первом послании к Тимофею, 2:11. Санта Чечилия (Св. Кикилия Римская) в католической традиции является покровительницей церковной музыки.

2 В Послании к Галатам (2:11) апостол Павел рассказывает, как «лично противостал» апостолу Петру (епископу Иерусалимскому, Антиохийскому и Римскому), убедив его не подвергать обратившихся в христианскую веру обязательному обрезанию.

3 Что верно только для XIX века. Простояв 14 веков, базилика сильно пострадала от пожара летом 1823 г. В ее восстановлении принимали участие российский император Николай I (он прислал малахит и лазурит для восстановления алтаря) и турецкий паша – отсюда упоминание этих деталей выше по тексту. В 1891 г. базилика Св. Павла за городскими стенами пострадала при взрыве на близлежащем рынке – разбитыми оказались витражи.

4 Св. Себастьян и Св. Панкратий Римский жили в Риме в правление императора Ди-

оклетиана, осуществлявшего гонения на христиан, оба были убиты за отказ отступиться от веры. Себастьян был начальником преторианской стражи, поэтому считается покровителем военнослужащих и спортсменов. Панкратий, которому на момент гибели было 14 лет, считается святым-покровителем детей. Сюжет
332 с пронзенным стрелами Себастьяном – один из самых популярных в западноевропейском искусстве. Св. Панкратий особенно популярен в Англии (его имя носит одна из старинных церквей в Лондоне и расположенный рядом вокзал). Это объясняется тем, что снаряжая миссию Августина Кентерберийского в Англию в 595 г., папа Григорий Великий передал часть мощей св. Панкратия.

5 Имеется в виду Алоизий Гонзага (1568–1591) – католический святой, монах-иезуит, член владетельного рода наследных правителей Мантуи. В 17 лет отказался от прав наследства и, вступив в орден иезуитов, дал обед целомудрия, бедности и послушания. Стремление к непорочности доходило в нем до того, что он отказывался даже смотреть в лицо собственной матери. Умер в 23 года, оказывая помощь больным во время эпидемии чумы в Риме. Считается покровителем молодежи и студентов, а с недавнего времени – больных СПИДом. Барон Корво

принял католицизм в церкви св. Алоизия в Оксфорде в 1886 г.

6 Гимн в честь святителя Мартина Турского (ок. 316–397).

7 Под «Дуомо» (собор) подразумевается Санта-Мария-дель-Фьоре, кафедральный собор во Флоренции. В музее Опера-дель-Дуомо имеется триптих Джованни дель Биондо, изображающий мученичество Св. Себастьяна и сцены из его жизни. На центральной части представлен привязанный к столбу Св. Себастьян – совершенно голый и обильно утыканный стрелами. Ничего особенно эротичного в этом изображении XIV века нет.



8 Плоский медальон, который носили на шее на тесьме дети свободных римлян. Первоначально это был талисман, но позже такое значение исчезло.

9 День Св. Алоизия Гонзаго отмечается 21 июня, в разгар сезона лилий.

10 Имеется в виду Франческо II Сфорца Чезарини (1840–1899), герцог Сени, сенатор итальянского королевства и первый мэр Гензано в объединенной Италии. Мать его была англичанкой, однако с другой стороны он вел свое происхождение от знатных папских родов. Фестиваль цветов в Гензано проводится до сих пор.

11 Св. Агнесса Римская (ок. 291–304) – одна из наиболее почитаемых раннехристианских святых. По легенде, росла в прав-

ление императора Диоклетиана в одной из знатных римских семей, принявших христианство. Дав обет безбрачия, она отвергла сватовство сына римского префекта Семпрония, за что была отправлена в публичный дом, где, благодаря серии чудес, никто так и не смог лишить ее девственности. В наказание ее пыта-

лись сжечь как колдунью, но костер не хотел разгораться, и один из солдат убил ее мечом.

12 Святой Вит (убит в 303 г.) – римский мученик, сын сенатора-язычника с Сицилии. Принял христианство под влиянием своего наставника. За отказ покланяться римским богам был брошен сначала ко львам, которые отказались его есть, а затем – в котел с кипящим маслом.

13 Святой Венантий (убит в 251 или 253 г.), покровитель города Камерино, где он был, по преданию, убит после разнообразных и продолжительных пыток в возрасте 15 лет во время гонений на христиан при императоре Деции.

14 Морра – азартная игра, в которой нужно угадать, сколько пальцев одновременно выкинет соперник. В морру играли во время пьяных застолий, часто на деньги.

15 Имеется в виду посвященная св. Алоизию Гонзаго церковь на улице Ливии Друзиллы в Риме.

16 Пальмовая ветвь – символ мученичества.

17 Ангельская иерархия, разработанная в ранней богословской литературе, включает в себя три сферы по три чина в каждой (в нисходящем порядке): серафимы, херувимы, престолы, господства, силы, власти, начала, архангелы, ангелы (хотя имеются расхождения между отдельными авторами).

18 Если здесь имеется в виду какая-то конкретная герцогиня, то это может быть жена несколько раз упоминающегося в этих историях Франческо II Сфорца Чезарини (1840–1899), Виттория Колонна (1846–1939), или его мать, англичанка Кэролайн Ширли. Последнюю Роуф называл своей приемной «бабушкой», заявляя, что именно от нее он будто бы получил титул барона. Многие биографы Роуфа считают этот факт мистификацией, однако небезынтересно, что статус самой вдовствующей герцогини тоже был своего рода мистификацией: она считалась дочерью Роберта Ширли, графа Феррерса, и получила от него наследство, хотя на деле была внебрачной дочерью его сына. 

19 Ардея – древний город на берегу Тирренского моря, в 35 км к югу от Рима.

20 Знак, указывающий в молитвенниках, в каком месте положено перекреститься.

21 См. Откровение Иоанна, 12–20.

22 Ворота в Аврелиановой стене Рима, построенные по решению папы Пия IV

в 1561–1565 годах. Последний архитектурный проект Микеланджело, строительство закончилось уже после его смерти.

23 То есть с 23 июля по 22 августа.

24 Барочный инструмент, басовая разновидность итальянской гитары (овальной формы). Имеет два резонансных ящика и продленный гриф с двумя колковыми механизмами. Струн – четырнадцать.



25 Скорее всего, имеется в виду оперная певица Лина Кавальери (1874–1944), знаменитая – помимо голоса – тем, что носила корсеты и очень туго шнуровалась. Оперный дебют Кавальери состоялся в 1900 году, то есть после публикации этих рассказов, однако уже в 90-е годы она была широко известна в Европе как певица кабаре.

26 Троекратный звон в колокол, сзывающий к вечерней молитве.

27 Первое прямое упоминание Тото в тексте. (Тото – итальянское уменьшительное от Теодора, св. Тото – покровитель городка Бриндизи в Апулии на юге Италии). Прототипа этого героя звали Тото Эфорос, сохранилось несколько его фотографий, сделанных бароном Корво.

28 Томбола – разновидность бинго или лото.

29 Fritto означает «жареный», a rigaglie – птичьи потроха. Возможно, речь идет просто о жареной куриной печени.

30 Прелестям андрогинии посвящена книга барона Корво «Жажда и поиск целого» (1909).

31 Область Абруццо – несмотря на то, что расположена в центральной части полуострова на Адриатическом побережье в ста километрах к востоку от Рима – исторически связана с Южной Италией (до 1861 года она была частью Королевства Обеих Сицилий) и до сих пор ассоциируется со всеми «южными пороками»: низким уровнем развития, сельским укладом, засильем мафии.



32 Бронзовый Персей с головой Медузы работы Бенвенуто Челлини (1500–1571) – автора знаменитой автобиографии, ювелира и скульптора – находится во Флоренции в Лоджии Ланци. Челлиниевский Персей строен, однако довольно мускулист.

33 Альбанские горы – гряда холмов вулканического происхождения в 20 км к юго-востоку от Рима.

34 Букв. «Мадонна у входа», т. е. Вознесение Девы Марии на небо. Возможно, Тото имеет в виду знаменитую картину Тициана на этот сюжет – она находится в церкви Санта Мария деи Фрари в Венеции. Это самое большое алтарное полотно в городе.

35 Матфей 4:18, Марк 1:16, Лука 5:1–2.

36 Самая важная из общественных дорог Рима. Построена около 312 г. до н. э. при цен-

зоре Аппии Клавдии Цеке. Первоначально соединяла Рим и Капую.

37 Вышедшая из употребления монета. Во времена Корво стоила примерно полпенса.

38 Строительство этого цирка начал Калигула, но назван он в честь Нерона, поскольку именно там Нерон подвергал жестоким мучениям христиан. Сейчас на этом месте стоит Собор Св. Петра.



39 Три атрибута св. Петра: риза полагается ему, поскольку он был епископом, тройная тиара, впоследствии ставшая символом папской власти, отсылает к его статусу первого Папы, а ключи говорят о том, что он страж Врат Небесных.

40 В Библии мать апостола Петра ни разу не упоминается, сама же история имеет фольклорные корни и впервые встречается в немецком стихотворении XV века. Встречается во многих сборниках итальянских сказок, в том числе и в сборнике, составленном Итало Кальвино (1956). В версии Кальвино сказка гораздо короче, вместо простого лука там фигурирует лук-порей, который просто ломается, когда мать св. Петра начинает излишне деятельно сбрасывать прицепившихся к ней.

41 В католической и лютеранской традициях шестой заповедью считается «не прелюбодействуй».

42 Субдиакон – в католической церкви этот сан был отменен во второй половине XX века. Представлял собой промежуточную ступень между малыми чинами и высшими степенями священства (диакон, священник, епископ). При возведении в субдиакона не совершался обряд рукоположения, однако от них уже требовалось соблюдение целибата и ежедневное чтение часов, то есть шести особым образом структурированных молитв в течение дня.



43 Гельтруда – видимо, сестра Тото и Николы.

44 Decano – диакон, низшая ступень священства. Помогает священникам и епископам при богослужении, но сам служить не может. В католичестве диаконами обычно назначают семинаристов в последний перед выпуском год.

45 Abatino – маленький аббат. Подразумевается, что Николо взял на себя слишком много, прочтя проповедь, подобающую настоятелю монастыря, а никак не семинаристу.

46 Возможно, речь идет о знаменитом монахе-францисканце Джованни ди Монте Корвино (1246–1328), проповедовавшем христианство в Китае и ставшем епископом Пекина. Тем не менее, этот францисканец не имел княжеского происхождения, так что текст, скорее, выда-

ет аристократические аспирации самого Корво.

47 То есть став монахом-францисканцем.

48 Возможно, аллюзия на прозвище Фомы Аквинского Немой Бык, полученное им в годы учебы в Парижском университете за полноту, неповоротливость и редкое участие в дискуссиях. Тото по ходу рассказов собирает в кучу все, что знает о знаменитых религиозных деятелях.



49 К Евреям 13:2.

50 Видимо, Тото имеет в виду Папу Пия II (1405–1464), в миру Энеа Сильвио Пикколомини. Поскольку к моменту своего избрания (1458) он был широко известен как автор эротических сочинений, его часто называли реальным именем.

51 Церковь святых Амвросия и Карла (оба, Амвросий Медиоланский и Карло Борромео, – епископы Милана), построена по случаю канонизации св. Карла Борромео в 1610 году, строительство завершилось в 1684 г. В XIX в. церковь оказалась в так называемом «английском квартале» – рядом с ней жили Китс, Шелли, Генри Джеймс. В 1889 г. знаменитый цикл великопостных проповедей в этой церкви читал францисканец Агостино да Монтефелтро.

52 Попугай-пустозвон (*ит.*).

53 Иезуитские медитации – часть духовных упражнений, разработанных основателем ордена, Св. Игнатием Лойолой.

54 Увеселительные зрелища в Колизее перемежались с публичными казнями первых христиан, которых отдавали на растерзание зверям.

55 «Когда я боролся со зверями в Эфесе», – говорит апостол Павел в Первом послании к Коринфянам (15:32).

56 Поле Цветов – прямоугольная площадь в центре Рима, где часто устраивались публичные казни. В частности, в 1600 году там был сожжен Джордано Бруно.



57 Sant'Uffizio – Святой офис, или, официально, Конгрегация доктрины веры – старейший орган Римской курии, в компетенции которого входит наблюдение за чистотой вероучения. Может называться также «римской инквизицией», а возглавляющее ее лицо (префект) – Великим Инквизитором.

58 Князья Колонна и Орсини – два старейших знатных римских рода, тесно связанных с церковью. Из рода Орсини вышли пять римских пап, кардиналы, кондотьеры. Вражда Колонна и Орсини во многом определяет историю средневековой католической церкви. Избрание папы Сильвио в 1458 году стало возможным благодаря тому, что он достиг примирения между этими семьями.

59 Епископы носят пурпурные одежды, однако служат в ризах зеленого цвета; епископский герб венчает зеленая шапка.

60 То есть, соответственно, францисканцы, члены ордена кармелитов и доминиканцы.

61 Коллегия кардиналов при папе римском.

62 Блаженный святой Франциск. Причисление к лику блаженных – первая ступень в процессе канонизации. Св. Франциск был канонизирован как святой через два года после смерти, в 1228 году, так что Фра Серафико употребляет этот термин в широком смысле.



63 Григорий I Великий (540–604) – святой, папа римский в 509–604 гг., автор «Пастырского правила» и «Бесед на Евангелия».

64 Учитель Церкви – почётное звание, с 1298 г. даваемое Католической церковью заслуженным богословам. Главным считается Фома Аквинский. Сейчас на Западе почитаются 33 Учителя Церкви, из римских – Амвросий Медиоланский, Иероним Стридонский, Августин и Григорий Великий.

65 Под апостольской коллегией подразумеваются обычно двенадцать непосредственных учеников Христа, перед которыми тот поставил задачу устройства христианской церкви после сошествия на них Духа Святого. Св. Павел, однако, не принадлежал к их числу, поскольку был призван уже после Воскресения Христа (отчего и получил прозвище апостола язычни-

ков). Трудно представить, чем это высокое собрание могло бы заниматься на небе, поэтому можно предположить, что Тото имеет в виду встречу старых приятелей, которые вспоминают былые времена.

66 «Апостолом англичан» и основателем Англиканской церкви считается бенедиктинский монах Августин Кентерберийский (ум. 604 г.), однако отправил его с миссией в Кент в 595 году папа Григорий I.



67 Григорианский хорал – традиционное одноголосное пение римско-католической церкви.

68 Il Ponte della Mola – мост в Риме, построенный при императоре Адриане (76–138). Когда Григорий I шел по этому мосту, его посетило видение, в котором архангел Михаил спасал душу из лап дьявола.

69 Орден Братьев Меньших Капуцинов – монашеский орден, ветвь францисканцев; название произошло от остроконечного капюшна, который монахи этого ордена пришивали к балахону. Основан в 1525 году в Урбино.

70 Смысл в том, что не будучи ни золотом, ни серебром, третьесортные, медные капуцины выдают себя за первосортных францисканцев.

71 Возможно, Тото хотел упомянуть Симона Волхва, основателя гностической секты и родоначальника всех церковных ере-

сей, упомянутого в Деяниях апостолов (8: 14–25).

72 Начало покаянного псалма, который читается как отходная молитва над умирающим. Псалтырь, 130.

73 Этот эпизод, объясняющий неприязнь Тото к капуцинам, основан на реальной истории, приключившейся с Амадео Амадеи, – описан в венецианских письмах Корво к Чарльзу Мэссону Фоксу.



74 В книгу «По своему образу и подобию» (*In His Own Image,* опубл. 1901) включены еще 24 рассказа от лица Тото, однако сомнительно, чтобы Корво написал 49 историй.

75 Джон Лейн (1854–1925) – издатель «Историй» в журнальном и книжном виде, а также автор заглавия (изначально Корво хотел назвать рассказы «Чувственный атомист» (*A Sensational Atomist*).

76 Как сообщает Матфей (27:38), один из распятых вместе с Иисусом разбойников покаялся и попросил Христа помянуть его, когда наступит его Царствие. В христианской традиции принято считать, что он первым вошел в рай.

77 Имеется в виду 1898 г., год первой публикации «Историй». J – традиционный способ украшательства латинских дат, означает то же, что и I. Чтобы получить год публикации, нужно умножить 8 на 100 (VIIJ на C) – хотя римляне с умножением знакомы не были.

78 Опубликованы в 1913 г. в Blackwood's Magazine.

79 «Бессильные головы умерших» (*древнегр.*) – гомеровский стих из описания Аида, куда спускается Одиссей и где встречается с теми, кого уже нет среди живых – со своей матерью, товарищами по Троянской войне и др. (конец X–начало XI песни). В. Жуковский в своем переводе «Одиссеи» передает этот стих словами: «Безжизненные тени усопших».



80 В Кафедральном соборе Санта-Мария-Ассунта (он же храм Вознесения Богородицы, заложен в 639 г.), украшенном в XI–XII вв. грандиозными византийскими мозаиками. В частности, внутренняя сторона соборного фасада покрыта мозаичным циклом сцен из Страшного суда. Ныне малонаселенный остров в северной части венецианской лагуны, Торчелло с середины V в. стал надежным укрытием для венетов, бежавших с континентальной земли под нашествием лангобардов, и был самым крупным поселением в венецианском архипелаге. С VII в. управлялся епископом, которого назначал экзарх Равенны – наместник Византийского императора.

81 У Аристотеля: φύσει δοῦλοι – рабы от природы. Корво англизирует в ироническом духе определение из первой книги аристотелевской «Политики»: «Все те,

кто в такой сильной степени отличается от других людей, в какой душа отличается от тела, а человек от животного (это бывает со всеми, чья деятельность заключается в применении физических сил, и это наилучшее, что они могут дать), те люди по своей природе – рабы; для них, как и для вышеуказанных существ, луч-
346 ший удел – быть в подчинении у такой власти. Ведь раб по природе – тот, кто может принадлежать другому (потому он и принадлежит другому) и кто причастен к рассудку в такой мере, что способен понимать его приказания, но сам рассудком не обладает» (пер. С. А. Жебелева, 1254b15–23).

82 Имеется в виду сыр марки «фосса», у которого действительно цвет застарелого зубного камня. Знаменитый сорт formaggio di fossa (букв. «сыр из ямы») производится в г. Сенигаллия (область Марке) и Эмилии-Романьи, выдерживается в специальных ямах, где от воздействия туфов приобретает желтизну и едкий привкус.

83 Четверть пенни.

84 Эрастианство – доктрина, названная по имени протестантского богослова Томаса Эраста (1524–1583), согласно которой церковь не властна отлучать кого-либо от участия в церковных таинствах. Расширительно под эрастианством понимается учение о подчинении церкви госу-

дарству – соответственно, здесь и далее по тексту Корво употребляет прилагательное «эрастианский» в значении «англиканский» (главой англиканской церкви является монарх).

85 Занятие это хлебное (*лат.*) – слова Эхиона-лоскутника из «Сатирикона» Петрония: «Недавно я купил сыночку несколько книг с красными строками: хочу, чтобы 347
он понюхал немного законы для ведения домашних дел. Занятие это хлебное… Каждый день я ему твержу: «Помни, первенец: все, что учишь, для себя учишь… Наука – это клад, и искусный человек никогда не пропадет»» (пер. Б. Ярхо).

86 Острова венецианского архипелага в лагуне.

87 De Burgh's Delusion – роман барона Корво, опубликованный в 1935 году его биографом А. Дж. А. Симонсом под заглавием «Артур Юбера». Роман, начатый в сотрудничестве с Хэрри Пири-Гордоном, представляет собой альтернативную историю жизни Артура I (1187–1203), герцога Бретани из династии Плантагенетов (см. предисловие).

88 Агий – атлет, фессалиец, победивший в панкратии – древнегреческих спортивных играх в середине V в. до н. э. Его имя написано на базе статуи, мраморном повторении бронзового оригинала школы Лисиппа, установленного рядом с дру-

гими статуями в 335 г. до н. э. в Дельфах, на «Монументе фессалийцев» – портике рядом с храмом Аполлона. Сейчас статуя находится в музее в Дельфах, у нее не сохранилась правая рука и отсутствует кисть левой.

89 Джованни Беллини по прозвищу Джамбеллино (ок. 1430–1516) и Витторе Карпаччо (ок. 1460–1526) – венецианские живописцы, чьи произведения хранятся в галерее Академии изящных искусств Венеции (Accademia di Belle Arti), которая была основана Сенатом Венецианской республики в 1750 г. Ее первым президентом был Джанбаттиста Тьеполо (1696–1770) – крупнейший художник рококо и последний великий представитель венецианской школы живописи.

348

90 Никто из нас не родился запечатанным (*лат.*) – слова Трималхиона из «Сатирикона» Петрония; он произносит их, вернувшись со двора к еде, жалуясь на желудок и призывая сотрапезников не стесняться, «если кто имеет надобность» (гл. 47).

91 Poppe (также: pupparìn) – быстроходное десятиметровое судно класса гондолы с широкой кормой – poppa – откуда происходит название 4-весельной лодки, которая использовалась для «выезда» венецианскими патрициями, а в более поздние времена была морским сторожевым судном, охранявшим акваторий венециан-

ской лагуны. Престижное, дорогое и вместительное пассажирское судно в XIX в., в наши дни вышло из обихода, но участвует в ежегодной «Исторической регате» наряду с другими многочисленными венецианскими судоходными средствами.

92 Вознесенские ряды – торговые ряды за дворцом Коррер, возникшие в XVIII веке для обслуживания праздника Вознесения, который стал к тому времени своеобразным продолжением Карнавала. Первоначально на этом месте ежегодно возводилась разборная деревянная конструкция, впоследствии название закрепилось за самим местом.



93 Так называется небольшой городок на побережье Бискайского залива.

94 Фердинанд Онгания (1842–1911) был не только книготорговцем, но также издателем и редактором. В 90-е годы XIX века он выпустил двухтомный альбом «Улицы и каналы Венеции», содержащий сотню фотогравюр из жизни города. Корво, очевидно, общался с его наследником – из следующего рассказа станет ясно даже имя наследника – Амадео Онгания.

95 Имеется в виду Кьоджа, которую увековечил Гольдони «Кьоджинскими перепалками». Это маленькая южная оконечность террафермы между южной венецианской лагуной и дельтой реки По и разбросанные вокруг нее в лагуне островки, кото-

рые соединены мостами. На кьоджинской разновидности венецианского диалекта написание города – Cióха, которое произносится «Чоза» и которое барон транскрибирует со слуха как Cioza.

96 «Бучинторо» – церемониальная ладья венецианских дожей, первые письменные упоминания о которой датируются
350 836 г., когда венецианский трон занимал дож Пьетро Тардоникo (ум. в 864 г.). Известны пять таких галер, начиная с XIII по XVIII в. С ростом могущества Венецианской республики, каждый новый «Бучинторо» становился все богаче и краше. Самым известным был корабль, на котором в 1177 г. в праздник Вознесения папа Александр III (1105–1181) снял с дожа Себастьяна Дзиани (1102–1178) священный перстень Св. Марка и бросил его в воды лагуны со словами «Desponsamus te, mare» («Мы обручаемся с тобою, море»), обручив тем самым на века Венецию с морской стихией. Церемония обручения с морем называется «Санса», она прервалась в 1797 г. с приходом наполеоновских войск, которые не только положили конец венецианскому господству на морях, но и лишили Республику независимости. Они же разграбили последнюю «Бучинторо», самую пышную галеру постройки 1729 г., переплавив в слитки золота многочисленные детали ее украшений. Корма этой

ладьи была обнесена резным золоченым балконом. В послевоенное время традиция «обручения с морем» возобновлена, сейчас построен новый «Бучинторо», длина которого 35 м, ширина – 7 м, водоизмещение – 35 т, на веслах – 168 гребцов. Корво говорит здесь о здании, в котором размещался Королевский гребной клуб под названием «Бучинторо», членом которого он состоял. 351

97 Рио делла Каноника или Рио ди Палаццо – канал, разделяющий квартал Сан-Марко и квартал Кастелло, которые соединяются затем многочисленными знаменитыми мостами – мост «Вздохов», «Соломенный» мост, мост Каноники и еще двумя частными мостами. Свое двойное название получил вследствие того, что омывает западную стену Дворца Дожей (Дворцовый) и примыкающему к нему дворцу Патриарха.

Рио Санта-Мария Формоза – один из четырех каналов, образующих остров, в центре которого расположена величественная церковь с одноименным названием, шедевр архитектуры раннего Ренессанса, заложенная, согласно легенде, в 639 г. на месте явления Богородицы некоему Маньо ди Одерцо. Дева Мария повелела ему возвести на том месте, где она стоит, храм в ее честь. Первые письменные упоминания о церкви относятся к 1060 г. В 1492 г.

венецианский архитектор Мауро Кодусси возвел на месте обветшавшей старой церкви новый величественный храм с двумя фасадами – один, обращенный в сторону канала, выполнен в ренессансном классическом стиле, второй (после смерти архитектора) был выполнен, как и примыкающая к нему колокольня, в барочном стиле. Храм украшен выдающимися произведениями Якопо Пальмы Старшего и его сына Якопо Пальмы Младшего, Джованни Беллини и Джамбаттисты Тьеполо.



Сан-Ладзаро деи Мендиканти – канал, на который выходит одноименная церковь Св. Лазаря Нищих, строительство которой на месте бывшего лепрозория начал в 1601 г. Винченцо Скамоцци (1548–1616), один из трех выдающихся венецианских архитекторов, вместе с Палладио и Лонгеной. Сан-Ладзаро деи Мендиканти украшают произведения Тинторетто и Паоло Веронезе.

Сан-Дзаниполо (*венец.*) или базилика святых Иоанна и Павла – грандиозный собор-усыпальница венецианских дожей, патрициев и кондотьеров – также своим главным фасадом выходит на вышеупомянутый канал. Памятник архитектуры позднего средневековья (заложен в 1234 г.) и раннего Возрождения (завершен и освящен почти спустя два века, в 1430 г.). В убранстве собора – шедевры

живописи Северного Возрождения, барокко, рококо и неоклассицизма.

98 Синий крест (*англ.* The Blue Cross) – фонд попечения о животных, основанный в Англии в 1897 году.

99 Остров Сан-Микеле – мемориальное венецианское кладбище. Первоначально городское кладбище размещалось на острове Св. Кристофора, отделенном от Сан-Микеле каналом, который был в 1829 г. зарыт, в силу чего и стало возможным расширить кладбище. Его стали называть «Сан-Микеле» еще и потому, что здесь с 1469 г. стоит первое ренессансное строение Венеции – церковь Сан-Микеле-на-Острове, произведение Мауро Кодусси. На Сан-Микеле покоится прах Сергея Дягилева, Эзры Паунда, Иосифа Бродского и других выдающихся личностей. Здесь же похоронен и Фредерик Уильям Роуф – Барон Корво. Остров расположен южнее Мурано, таким образом, баркета проходит пролив между двумя островами – слева Мурано, справа – Сан-Микеле.



100 На одном из крупнейших островов Венецианской лагуны с XIII века и по сей день производится т. н. венецианское, а точнее муранское стекло. Мурано состоит из семи островов, его разъединяют восемь каналов, а соединяют многочисленные мосты. Стекольное производство началось здесь вынужденно: из соображений по-

жарной безопасности Сенат республики выселил в 1291 г. всех венецианских стеклодувов на Мурано, откуда и пошла мировая слава острова – лучшая амальгама для зеркал, оконное стекло и люстрированные муранские светильники пользовались спросом во всем восточном и западном мире, ценились дорого,

что и обеспечивало процветание острова, который до определенных пор пользовался известной независимостью от венецианский властей и даже чеканил собственную монету.

101 Таможня (*um.*) – располагалась на полуострове Трепорти-Каваллино.

102 Св. Иакова-в-Болотах (San Giacomo in Paludo) – островок в лагуне, обжитой с середины XI в. монахами-цистерцианцами, их монастырь был упразднен декретом Наполеона, в дальнейшем здесь расположилась военная база. Островок Богородицы-на-Горе (Madonna del Monte) расположен между Сан-Джакомоин-Палюдо и Маццорбо, в начале XIV в. находился в собственности Бенедиктинского ордена, пришел в запустение, и в XVIII в. по инициативе богатого венецианца Пьетро Табакко здесь была возведена одноименная церковь и устроен небольшой монастырь, превратившийся в руины к XIX в. Остров обезлюдел и был превращен в мануфактуру по про-

изводству пороха. Сейчас является частной собственностью. Остров Маццорбо, к востоку от Бурано, с которым соединен мостом, был, как и Торчелло, убежищем местного населения под натиском лангобардов. Близость к крупному торговому острову Торчелло привела островок Маццорбо к расцвету, после чего начался период длительно запустения. В 1980-х годах архитектор Джанкарло Де Карло возвел здесь внушительный жилой комплекс с целью заселения острова, знаменитого своими «артишоками Св. Франциска».



103 Микеланджело Йезурум – хозяин известных мастерских по изготовлению кружев, получивших Гран-при на Всемирной выставке в Париже в 1878 году и Гран-при на специализированной международной выставке в Барселоне в 1929 г. Он окончил Академию искусств по классу рисунка и в 1870 г. открыл в Венеции, сразу за площадью Сан-Марко свою первую мастерскую с целью возрождения традиционного промысла. К началу XX века кружева Йезурума приобрели всемирную известность. Он был поставщиком нескольких королевских дворов в Европе. Его изделия хранятся в собрании Эрмитажа. После Первой мировой войны мастерские перешли во владение другой семьи и затем еще несколько раз перепродавались,

сохраняя, однако, первоначальное наименование и непревзойденное качество.

104 Campanile – колокольня (XI в.) при храме Вознесения Богородицы на острове Торчелло. Вторая базилика, о которой говорит Корво, посвящена св. Фоске.

105 Ponte del Diavolo (*um.*) – Чертов мост переброшен через основной канал, соединяющий две «половины» острова Торчелло. Происхождение названия до сих пор неясно, однако то, что он не огражден перилами, заставляет думать, что на нем велись кулачные бои и проигравший оказывался в мутных водах канала – возможно, отсюда и название. Этот мост – выдающийся памятник XV в.



106 Официальное название Венецианской республики – Serenìssima Republica de Venesia – до утраты ею независимости в 1797 году.

107 Сант-Ариано (*венец.* Sant'Ariàn) – маленький остров в лагуне площадью 0,028 км² на северо-востоке от Торчелло. Считается, что это оставшаяся часть ушедшего под воду острова Костанциаго. В XIII в. на средства семьи Варо здесь были возведены два монастыря, один посвященный Св. Ариану, другой – Св. Маффьо. Это было излюбленное место заточения девиц из знатных семей. В результате многочисленных скандалов, вызванных вольными нравами сестер во Христе, обитавших

в этих монастырях, остров обезлюдел, обители были расформированы, началось запустение. В 1565 г. Сенат республики принял решение об очистке Венеции от кладбищ, с переносом останков на остров Сант-Ариано. Реальная история отличается от той, которую рассказывает Корво.

108 Остров в северо-восточной части лагуны, на север от Трепорти. Известно, что еще в VII в. патриции семейства Фальер (к которому принадлежал знаменитый дож Марин Фальер, казненный по обвинению в заговоре против Республики 17 апреля 1355 г.) основали бенедиктинский монастырь, где хранились мощи св. Кристины, втайне вывезенные венецианцами из Константинополя (отсюда название острова), и который к 1452 г. пришел в упадок и разорение. Мощи были перенесены в церковь св. Антония на острове Торчелло. Здесь поселились крестьяне, занимавшиеся виноградарством. В 1930-е годы остров был уже необитаемым, пока недавно не перешел в частную собственность. 

109 Св. Фока был по легенде садовником в Синопе на Черном море. Он кормил бедных плодами из своего сада и помогал христианам скрываться от преследований. Во время гонений Диоклетиана Фока принял у себя в доме солдат, которых на-

правили, чтобы найти и казнить его. Ночью он выкопал для себя могилу и утром заявил военным, что он и есть тот, кого они должны казнить.

110 Фриули – область на севере Италии в составе региона Фриули-Венеция-Джулия, со столицей в городе Удине.

111 Венецианская область перешла от Австрии к Италии в июле 1866 года в результате австро-прусско-итальянской семинедельной войны.



112 Terra firma – континентальная часть Венеции, терраферма.

113 Burchi, peate и tope – Названия венецианских лодок, их архетипом была лодка «сандоло», использовавшаяся населением островной лагуны еще до прихода римлян. Это разновидности плоскодонки длиной от 5 до 10 метров используются в рыболовстве и как транспортные или грузовые средства.

114 Il Gazzettino – важнейшая венецианская ежедневная газета, которая издается в нескольких форматах: национальная версия, отдельное издание для северо-восточных регионов Тривенето, местные издания по крупнейшим областным центрам области Венето и Фриули-Венеция-Джулия. Основана 20 марта 1887 г. начинающим поэтом Джанпьетро Талами (1845–1934), который успел к тому времени опубликовать в Милане на собст-

венные средства патриотическую поэму «Италиада, или войны за независимость Италии». Сейчас по своим тиражам «Гадзеттино» занимает 8 место в национальных рейтингах.

115 Благочестивые венецианцы по принципу омонимии превратили «устриц – ostreghe» в сквернословие, которое в устах обычного итальянца звучит как Ostia! – мягкое восклицание, отсылающее к гостии, облатке или просвирке, символизирующей в христианской церкви плоть Христову.



116 Мореходная школа при гребном клубе «Бучинторо», согласно Уставу, обязана проводить праздник «Сенса» и Историческую регату, помимо другого рода спортивных и увеселительных мероприятий.

117 Casino Inglese – «Английское казино» (*ит.*). Ирония заключена в двусмысленности прочтения слова «казино»: при смещении ударения на «и», слово приобретает значение «бордель». При этом надо помнить, что настоящее Венецианское казино было первым в мире игорным домом («домом азарта»), основанном, по сведениям газеты «Коррьере делла сера», в Венеции в 1638 г.

118 Часть открытой лагуны, которую Роуф называет «бухтой», на западе самого большого венецианского канала Джудекка, где в 1869 г. было начато строительство нового грузового и пассажирского порта

Nuova Stazione Marittima (в старину все корабли причаливали в заливе Сан-Марко), который накануне Первой мировой войны стал вторым, после Триеста, портом королевства Италии по тоннажу грузоперевозок.

119 В Англии традиционно отмечают День подарков, Boxing day, на следующий по-

после Рождества день.

120 Так в старину венецианцы называли самый большой остров Венеции и одновременно омывающий его канал, в устье которого находится порт. По некоторым сведениям остров был заселен большой венецианской еврейской диаспорой – Zudei, откуда название острова и канала: Zuecca по-венециански, Giudecca – Джудекка по-итальянски.

121 Канал Сан-Базеджо – венецианское название канала Сан-Базилио, происходящее от одноименной церкви 870 г. постройки, посвященной св. Василию. Она располагалась на одноименной площади, к которой ведет мост с одноименным названием. Церковь не уцелела, но квартал сохранил до наших дней свое название. Он расположен на крайнем западе исторического городского района Дорсодуро, вблизи морского порта Мариттима, на просторной набережной, где осуществлялись портовые погрузочно-разгрузочные работы и стояли на приколе сухогрузы. В проти-

воположном направлении на той же набережной разместился гребной клуб «Бучинторо».

122 «Дщери иерусалимские! Черна я, но красива, как шатры кидарские, как завесы Соломоновы» (Песнь Песней, 1:4)

123 Мост, переброшенный через канал у дворца Дожей, называется Ponte dei Consorzi – Мост Консорциума, названный в честь объединения в 1902 году старейшего стекольного предприятия «Товарищества Венеция-Мурано» (с 1866 г.) с Товариществом «Pauly & C.» Их знаменитый шоурум занимает весь Дворец Тревизан-Капелло (XVI в., арх. Бартоломео Бон) – один из красивейших архитектурных памятников венецианского Ренессанса, расположенный вблизи Патриаршего дворца и базилики Сан-Марко. Среди венецианцев повелось называть мост Консорциума именем Паули. 

124 Самая протяженная (свыше 1 км) набережная Венеции, которая одновременно является южной границей города. Расположена в квартале Дорсодуро, омывается каналом Джудекка по всей своей протяженности от порта Мариттима до Таможенной стрелки в заливе Сан-Марко. Названа предположительно в честь победы, одержанной в 810 г. венецианским флотом, состоявшим из плотов (zattere), над кораблями Пипина I, императора

Священной империи, сына Карла Великого.

125 Название церкви, площади, канала и переброшенного через него моста Сан-Тровазо в квартале Дорсодуро. Строительство моста восходит ко времени постройки церкви Сан-Тровазо (1584 г.), которая посвящена двум раннехристианским святым
362 Гервасию и Протасию, два этих имени венецианцы «укоротили» до одного: Сан-Тровазо.

126 Rio Terrà dei Catecumeni – когда-то это был канал, получивший свое название от выходившего на него Приюта катехуменов, основанного в квартале Дорсодуро в 1557 г. для желающих обратиться в христианскую веру евреев и турок, осевших в Венеции и желавших влиться в венецианское общество по разным соображениям, в основном – выгоды. Катехумен – производное от греческого κατηχούμενος – «обучаемый», известное уже в первые века христианства. Специальный учитель – «катехист» или сегодняшний духовный наставник по части овладения катехизисом – готовил выкрестов к духовной встрече с Воскресшим Христом (т. е. на Пасху) после трехлетней подготовки. Это движение отмечает значительный рост после сокрушительного поражения, нанесенного объединенным христианским флотом туркам-османам при Лепан-

то в 1571 г. Приют Катехуменов превращен в монастырь сестер-салезианок, которые держат здесь детский сад, канал же был зарыт в 1843 г. и теперь представляет собой тихий уголок Венеции в десятке метров от грандиозной вотивной базилики «Богородицы Исцелительницы» (Madonna della Salute) – шедевра барочной архитектуры в «форме короны», как ее спроектировал и воздвиг архитектор Бальтазар Лонгена в 1631 г.



127 Небольшой остров в лагуне напротив площади Сан-Марко. Отделен от соседнего большого острова Джудекка (Дзуэкка) каналом Грация. Омывается водами канала Джудекка, залива Сан-Марко, а с юга – водами лагуны. Остров украшен шедевром Андреа Палладио – Собором св. Георгия Великого (Сан-Джорджо Маджоре, 1566–1591 гг.). Фасад собора выполнен Винченцо Скаморци, учеником Палладио, в 1610 г. 75-метровая колокольня построена в конце XVIII в.

128 Fondamenta Nuova – набережная в северной части Венеции, напротив острова Сан-Микеле, протяженностью 1 км, является северной границей города. Состоит из отдельных сегментов, но представляет собой единое целое. Первая набережная построена в XVI в. Разрушительный ураган, пронесшийся над северной частью Венеции, нанес ущерб не только жи-

лым домам и дворцам, но и набережной, которая была выложена заново и стала поэтому называться Новой Набережной.

129 Дворец XVII–XIX вв. на левой стороне Большого канала, перестроенный для нужд отелей класса «люкс». Расположен напротив знаменитого готического дворца Пи-
364 зани-Моретта XV в.

130 Кастелло – один из шести исторических кварталов Венеции, самый крупный и второй по плотности населения, расположен на востоке, граничит с кварталом Сан-Марко, с которым связан «Соломенным мостом», к которому ведет просторная набережная Рива Скьявони (Riva degli Schiavoni, IX в.) – когда-то здесь был морской порт, куда причаливали корабли из Далмации – Славонии, как говорили образованные венецианцы, а матросы – Скьявония, отсюда название.

131 Столбы, палы, сваи для швартовки судоходных средств или для обозначения фарватера. В Венеции для швартовых палов издавна используют только дерево твердых пород, иногда соединяют вместе 3–5 палов для прикола тяжелых судов.

132 Имеется в виду картина сэра Джошуа Рейнольдса (1723–1792) «Пророк Самуил в детстве» (1776).

133 Подразумеваются работы британского художника Фрэнка Брэнгвина (1867–1956),

рисовавшего в период действия этого рассказа в основном картины моря и уличные сценки, а также сцены из восточной жизни (в конце XIX–начале XX века Брэнгвин много путешествовал по Азии и Африке).

134 Burberry – британская компания, основанная в 1856 г. Томасом Бёрберри, в Гэмпшире. В 1880 г. он изобрел первую в мире «дышащую» непромокаемую ткань габардин, которая вытеснила тяжелый прорезиненный макинтош.



135 Лесник (*англ.*). Эмилио имел в виду foster-er – воспитатель, приемный отец, но перепутал слоги.

136 Красная лилия – герб Флоренции, начиная с XI в. Цветок связан с именем города, производного от Флоры, римской Богини весеннего пробуждения и цветения, в день празднования которой, как гласит легенда, был заложен город.

137 Рио ди Сан-Вио (*ит.*) – канал длиной 270 м, соединяет две главные водные артерии Венеции – канал Джудекка и Канале Гранде. Название происходит от лежавшей вблизи церкви, посвященной Св. Вито и Св. Модесту, которых венецианский язык объединил в одно слово: Сан-Вио. Церковь была заложена в 912 г. и простояла почти тысячу лет. В 1813 г. была разрушена.

138 Дон Карлос Младший (1848–1909), герцог Мадридский, правнук испанского короля

Карла IV, принадлежал династии Бурбонов, был вождем карлистов и претендовал на испанский и французский троны.

139 Англиканская церковь в Венеции с 1892 года и по сей день располагается на Кампо Сан-Вио, как раз напротив Palazzo Loredan-Cini, который занимал Дон Карлос Младший и который Роуф именует «дворцом герцогини Мадридской», очевидно, имея в виду вторую жену герцога (к моменту написания этого рассказа уже покойного), Марию Берту де Роган (1868–1945).



140 Букв. «с тремя розами на шляпе» (*венец.*). Часто венецианские гондольеры украшают свои плоские соломенные шляпы не только лентами, но и цветами, живыми или искусственными.

141 Таможенная стрелка (Punta della Dogana, *ит.*) – имеется в виду мыс, у которого сливаются Большой Канал и канал Джудекка, образуя залив Сан-Марко. На этом мысу расположены в плотной близости грандиозная барочная базилика «Пресвятой Марии Исцелительницы», Патриаршая Семинария и Таможня (Dogana da Mar – *венец.*), постройки 1678–1682 годов. Венчает шпиль Таможни золоченый глобус, знаменующий державность Венецианской республики над всеми морями. Двое коленопреклоненных рабов держат глобус с богиней Фортуной на нем. В XVII в.

Фортуна стала флюгером. В настоящее время здесь располагается художественный музей.

142 Диадумен – знаменитая статуя Поликлета, изображающая молодого спортсмена, надевающего на голову повязку победителя.

143 Ave Maria – первые слова одной из наиболее популярных латинских католических молитв, посвященных Деве Марии (Богородице): «Радуйся, Мария благодатная! Господь с Тобою, благословенна Ты между женами и благословен плод чрева Твоего Иисус». С конца средневековья «Ave Maria» стала одной из главных молитв католической церкви. «Римский бревиарий» предписывает исполнять ее вместе с молитвой «Pater noster» («Отче наш») перед каждым каноническим часом, а также в конце богослужения.



144 Трепорти-Ричевитория (Treporti-Ricevitoria, *ит.*) – название порта и Старой Таможни в одноименном областном центре, ближе всего расположенном к материковой части Венеции.

145 Суп-пюре из лука-порея и картофеля, названный в честь Антуана Огюста Парментье (1737–1813) – французского агронома, пропагандировавшего выращивание и потребление картофеля.

146 Досса Пиккола – небольшой канал в северной лагуне.

147 Centranica (*ит.*), или Sentrega (*венец.*) – заболоченное место в районе исчезнувших островов Аммиана и Костанциага в северной лагуне.

148 Пунта Сан-Джулиано – материковая часть Венеции в пределах г. Местре.

149 Итало-турецкая война 1911–1912 годов, в результате которой Италия захватила области Османской империи Триполитанию и Киренаику (территорию современной Ливии), а также грекоязычный архипелаг Додеканес (включая остров Родос).



150 Фиазарх – неологизм Корво, образованный из древнегреческих слов thiasos, религиозное собрание, процессия и archeo, предводительствовать, начальствовать. Молодой человек, таким образом, был рекомендован предводителем эрастианского религиозного собрания, то есть главой англиканской общины в Венеции.

151 Аполлос – современник апостола Павла, пользовавшийся большим авторитетом в христианских общинах Коринфа и Эфеса. Здесь аллюзия на слова из Первого послания апостола Павла к коринфянам: «Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог»: 1-е Коринфянам, 3:6.

152 Области, отошедшие к Австро-Венгрии после наполеоновских войн.

153 Перевод сделан по второму, иллюстрированному изданию Сесила Вулфа 1987 года.

Пояснительный текст, следующий в квадратных скобках после 13-го письма, принадлежит издателю. При составлении комментариев использованы примечания Сесила Вулфа (частично устаревшие).

Письма адресованы Чарльзу Мэссону Фоксу (1866–1935), выходцу из корнуэллской квакерской семьи, видному лесопромышленнику и впоследствии президенту Шахматной ассоциации Корнуэлла. Роуф не предназначал свои письма для публикации и не сохранил ответных посланий Фокса. Последний по каким-то причинам предпочел не следовать инструкциям своего корреспондента и сжигать письма Роуфа не стал. Долгое время они ходили по рукам в списках, вызывая множество слухов и кривотолков. Сесил Вулф впервые опубликовал их в собственном издательстве в 1974 году.



Близость Роуфа и Фокса не следует преувеличивать: несколько писем Роуфа начинаются с обращения «Дорогой Ч.», хотя друзья и знакомые Фокса всегда звали его Мэссоном.

154 Открытка, которая, судя по всему, предшествовала этому письму, утрачена.

155 Джеймс Стюарт Кокертон (1862–1919, в дальнейшем «Кок» и «Кокер») – англичанин, приятель Фокса, с которым тот приезжал в Венецию. О его дальнейшей судьбе см. предисловие.

156 Эдуардо Болк, житель Венеции, с которым успел познакомиться Кокертон и к знакомству с которым очень стремился Роуф. Оно так и не состоялось: судя по всему, Болк делал все возможное, чтобы избежать сближения с Роуфом.

157 Джорджио Чезана (1892–1967), в письме 7 упоминается под уменьшительным именем Дзорци, не был корфянином. Он родился в Венеции в семье евреев-выходцев с Корфу и в 1906 году стал самым молодым в Италии олимпийским чемпионом (о чем Роуф и упоминает в письме 7).



158 Беттамио, о котором подробнее речь пойдет в седьмом письме.

159 П. – Пьетро Венерандо, Дж. – Эрменеджильдо Вианелло, К. – Карло Кенаццо, маленький Дж. – Джузеппе. Дж. выведен в романе «Жажда и поиск целого» под именем Джильдо, который по ходу действия оказывается Джильдой.

160 Подробнее о поездках на Бурано речь пойдет в седьмом письме.

161 В это время Роуф работает над романом из венецианской жизни «Жажда и поиск целого».

162 Чарльз Кайнс Джексон (1857–1933) – редактор журнала The Artist and Journal of Home Culture, который стал под его руководством чем-то вроде рупора движения поэтов-уранистов, а также один из вдохновителей «Хамелеона» (на материалы

из этого журнала много ссылались во время судов над Оскаром Уайльдом). Роуф познакомился с Кайнсом Джексоном в начале 1890-х в Крайстчерче, дружил с ним и посвящал его в свои денежные дела (подробнее см. предисловие).

163 Имеется в виду Чарлз Фрэнсис Казенове, директор основанного в 1899 году Лондонского литературного агентства. В конце сентября 1909 года Роуф отправил ему довольно много рукописей, но тот не смог пристроить ни одну из них. Какие именно издания отказывали агентству, не известно.



164 С августа 1909 по март 1910 г. года Роуф жил в доме английского врача Эрнеста ван Сомерена. Пребыванию Роуфа в семействе ван Сомеренов посвящена статья Виктора Холла, опубликованная в коллективном сборнике 1961 года (*Corvo, 1860–1960: A Collection of Essays by Various Hands.* Saint Albert's Press, Aylesford. Cecil Woolf and Brocard Sewell (eds.)). В ее основе лежат воспоминания Айви – супруги доктора ван Сомерена. Жалобы на плохую еду и мрачную атмосферу в доме, которые часто встречаются в письмах Роуфа, она называет необоснованными; Айви говорит, что Роуфа приняли как члена семьи, за комнату и стол он не платил, но должен был помогать по дому: колоть и носить дрова и пропускать молоко через сепаратор. В сво-

бодное от этих занятий время он писал у себя в комнате. Доктор Эрнест ван Сомерен открыл в Венеции госпиталь, над которым Роуф издевается в романе «Жажда и поиск целого», но где его самого позже вылечили от воспаления легких. Дурные предчувствия Роуфа, высказанные в этом письме, несколько преждевременны: он

проживет в доме ван Сомерена еще четыре с лишним месяца.

165 Генри Скотт Тук (1858–1929) – английский художник, известный своими изображениями обнаженных мальчиков и подростков. На рубеже веков его живопись была в большой моде, особенно в среде интеллектуалов-гомосексуалов. Как и Фокс, Тук был квакером и жил в Фалмуте, где у него была шхуна, переоборудованная под мастерскую. Сестра Тука, Мария Тук Сейнсбери, пишет в биографии художника, что в 1890 году тот посылал Роуфу несколько рисунков, однако «у Роуфа было слишком много странностей, которые оттолкнули Тука».

166 Томас Арнолд (1795–1842) – ученый-классик и реформатор образовательной системы, возглавлял закрытую школу для мальчиков в Рэгби. Установленные там порядки и стали впоследствии образцом для викторианской школы.

167 Имеются в виду четыре незамужние сестры художника Эдварда Огаста Мон-

тальбо, тоже художницы. Это английское семейство обосновалось в Венеции во второй половине XIX века. Самой известной из сестер была Клара Монтальбо (1842–1929). Она писала акварельные виды Венеции, ее работы часто выставлялись в Королевской академии в Лондоне и были известны на континенте.

168 Джузеппе Мити Дзанетти (1859–1929) – итальянский живописец и график, уроженец Модены. Учился в Художественной академии Болоньи, с 1884 г. жил в Венеции, где создал множество венецианских «ведут» в меланхолическом романтическом духе. Высоко ценится его мастерство передачи света в технике акварели.



169 Патрицианский (с 1297 г.) венецианский род Агнусдио (иногда: Агнусдеи, что значит на лат. Агнец Божий) из сановных «Новых домов» («Case Nuove»). В 1297 году вступило в силу постановление Венецианской Республики «Ограничения Большого Совета», узаконившее наследственную передачу по мужской линии должности члена Большого Совета – высшего органа власти Республики, избиравшего дожа. Эта мера перекрывала доступ к власти нуворишей – новых патрициев, среди которых значился и род Агнусдио. Их дворец – Палаццо Агнусдио или Четырех Евангелистов – расположен в квартале Санта-Кроче.

170 «Дом дружеской любви». Такого дворца в Венеции нет – видимо, Роуф имеет в виду Calle dell'Amor degli Amici – улицу Дружеской любви, расположенную в центральном районе Кастелло.

171 Улица «Тебе, Господи» тоже расположена в Кастелло.

172 В лондонскую адвокатскую контору Leslie Antill & Skeels.

374

173 Barnard & Taylor – адвокатская контора, представлявшая интересы Роуфа в его тяжбе с полковником Оуэном Томасом (см. предисловие). Дело слушалось в январе 1907 года и приговор был вынесен в пользу Томаса. В период между 1904 и 1908 годами «Барнард и Тейлор» выплатили Роуфу около 600 фунтов, в обмен на которые он передал им права на свои литературные труды. Когда в октябре 1908 года контора отказала ему в дальнейшей выплате авансов, Роуф устроил скандал. В этом письме речь идет об одной из многочисленных его попыток получить обратно права на свои сочинения. «Финансового партнера», решившегося на то, чтобы выкупить его права у конторы «Барнард и Тейлор» и выплачивать ему ежемесячные авансы, Роуфу удалось найти лишь в 1912 году. Им стал преподобный Джастес Сарджент, о котором подробно рассказано в предисловии.

174 Речь идет о романе «Дон Ренато» и прозаическом переводе антологии Мелеагра –

собрании древнегреческих эпиграмм, составленной поэтом (перевод делался в сотрудничестве с Шолто Дугласом, см. главу из книги Симонса «В поисках Корво»). Обе эти книги должны были выйти в Лондоне в издательстве Фрэнсиса Гриффитса. «Дон Ренато» даже успели напечатать и переплести, но из-за эмбарго, наложенного Роуфом, эти книги увидели свет лишь в 1963 и 1937 годах соответственно.



175 Следующее далее описание повторяется в главе 26 романа «Жажда и поиск целого», над которой Роуф в тот момент работал.

176 Volpe – лиса по-итальянски, фамилия Fox значит то же по-английски.

177 Скорее всего, имеется в виду несуществующая приятельница героини романа Диккенса «Мартин Чезлвит» лондонской сиделки Сары Гэмп: та постоянно рассказывает про мифическую миссис Гаррис, ее семью и детей.

178 Джон Гэмбрил Николсон (1866–1931) – поэт, принадлежавший к кругу гомосексуалов (Uranian poetry), автор двух романов и сборника одноактных пьес. Работал директором школы. Николсон был учеником Роуфа в школе Короля Эдварда VI в Саффрон Уолден и оставался дружен с ним (несмотря на такие обвинения) до конца жизни. Николсон, как и Тук, особенно увлекался мальчиками-подростками.

179 Улица Двадцать второго марта есть едва ли не в каждом итальянском городе. 22 марта – национальный праздник Освобождения или, как его называют историки, Пять дней Милана. С 18 по 22 марта 1848 г. восставшие на баррикадах жители Милана, входившего в Ломбардско-Венецианское королевство, принадлежавшее
376 Австро-Венгерской империи, положили конец австрийскому владычеству, восьмитысячный австрийский гарнизон маршала Йозефа Радецкого был разбит наголову. Это восстание ознаменовало веху в истории европейской национал-либеральной революции, дало толчок первой Войне за независимость от австрийского владычества (23 марта – 22 августа 1948), в ходе которой была освобождена половина страны. Оба события вписаны в историю Рисорджименто – объединения Италии, которое осуществили Гарибальди и его бойцы.

Венецианская улица 22 марта расположена в центре города, по венецианским понятиям это «широкая улица» (Calle Larga XXII Marzo), что соответствует истине.

180 Роуф познакомился с Гарри Пири-Гордоном (1883–1969) в 1905 году в Оксфорде. История их дружбы и сотрудничества подробно рассказана в предисловии. Сейчас совершенно очевидно, что обвинения, которые Роуф выдвигает против Пири-Гор-

дона и адвокатской конторы «Барнард и Тейлор» основаны по большей части на заведомо искаженных фактах.

181 Франк Виктор Рашфорт (1888–1945) познакомился с Николсоном около 1902 года, когда ему было 13 лет. Учился в Кембридже (Киз-колледж), по окончании которого в 1909 году сдал экзамен на должность методистского священника. На следующий год Рашфорт уехал в Индию, где стал правительственным чиновником. В 1921 году вышла его брошюра «Индийская проблема обмена», посвященная вопросам финансовой политики. Отношениям с Рашфортом посвящен полуавтобиографический роман Николсона «Любовь певчего», который был издан частным образом в 1916 году.



182 Эдвард Карпентер (1844–1929) – британский поэт-социалист, один из основателей лейбористской партии, проповедник сексуальных свобод. Роман Э. М. Форстера «Морис» отчасти инспирирован биографией Карпентера. Роуф не разделял социалистических убеждений Карпентера и как раз в 1909 году приступил к работе над текстом «К аристократии», задуманным в качестве резкой отповеди карпентеровскому стихотворению в прозе «К демократии».

183 Речь идет о книге Николсона «Любовь всерьез» (Love in Earnest, 1892), где имелся

сонет «Святой Уильям Норвичский (картина Ф. У. Роуфа)», сочиненный Роуфом и переработанный Николсоном. После выхода книги Роуф пригрозил Николсону судебным иском; в результате издателей обязали убрать из еще не проданных экземпляров страницу с этим сонетом.

184 Имеется в виду князь Филипп цу Эуленбург (а не Эуленберг, как у Роуфа), 1847–1921, прусский дипломат, близкий друг кайзера Вильгельма II, в 1907 году оказавшийся в центре громкого скандала в высшем руководстве империи: журналист Максимилиан Харден обвинил его в гомосексуальной связи с генералом графом Куно фон Мольтке. Разоблачая целый круг гомосексуалов в окружении кайзера, Харден добивался их отставки, поскольку не поддерживал политику, которую они проводили. Отставки, по распоряжению кайзера, последовали. Судебные разбирательства, связанные с обвинениями Хардена, были первыми в Пруссии громкими слушаниями такого рода. Сам Эуленбург так и не был осужден, поскольку суд все время откладывали в связи с его плохим самочувствием.

378

185 Кокертон и Чарльз К. Джексон.

186 То есть дать денег П(итеру), К(арло), Дж(ильдо) и прочим мальчикам.

187 На кампо Сан-Поло, второй по величине площади в Венеции после Сан-Марко.

На ней стоит палаццо Мончениго Корнер, дворец постройки 1548 года (архитектор Микеле Сан-Микеле), в котором жил Роуф.

188 Исайя 48:10: «Вот, Я расплавил тебя, но не как серебро; испытал тебя в горниле страдания».

189 Плимутские братья – консервативная протестантская группа, образовавшаяся в XIX веке в Англии и Ирландии. Общины плимутских братьев автономны, клир отсутствует, единственным авторитетом является Святое Писание, централизованной организации нет.



190 Клифтон – район Бристоля.

191 Один из этих двоих – Джон Марколеоне, еврейский юноша, с которым Роуф познакомился в Бристоле перед отъездом в Венецию. Он довольно подробно пишет о нем профессору Докинзу. Марколеоне еще раз упоминается в десятом письме Фоксу.

192 Гарольд Фредерик (1856–1898) – американский журналист и писатель. В романе «Озарения» (1896) дан занимательный портрет простого, набожного шотландского священника, который открывает для себя мир красоты, искусств и культуры. История его преображения имела большой успех как в Британии, так и в Америке – там роман вышел под названием «Проклятье Терона Уэра».

193 Несмотря на то, что Фокс довольно часто снабжал Роуфа деньгами, суммы, в получении которых отчитывается Роуф, редко превышают фунт. Единственное исключение составляют эти «пятьдесят», в силу чего разумно предположить, что в данном случае речь идет не о фунтах, а о лирах. Слова Роуфа о том, что Фокс «сорит
380 деньгами» можно в таком случае прочитать как мягкий сарказм. Примечательно, что в последнем письме Роуф просит Фокса прислать ему пять фунтов, и Фокс, по всей видимости, решает не исполнять эту просьбу.

194 Притчи 26:4.

195 От Матфея 7:6.

196 Луиджи Амедео, принц Савойский и герцог Абруццкий (1873–1933) – знаменитый путешественник, предпринявший в 1899 г. экспедицию к Северному полюсу на судне «Полярная звезда». Полюса экспедиция не достигла, однако побила рекорд Нансена 1895 года, тщательно исследовала северную часть Земли Франца-Иосифа и вернулась домой в целости и сохранности. Впоследствии герцог Абруццкий стал адмиралом Италии, командовал Адриатическим флотом в годы Первой мировой войны. После войны жил в Итальянском Сомали, в 1928 году помогал Муссолини заключить договор с Эфиопией.

197 «Легочный тоник Оубриджа» – микстура от кашля, придуманная фармацевтом из Гулля Уолтером Томасом Оубриджем в 1874 году, приобрела огромную популярность благодаря широкой рекламе. Производилась до конца 60-х годов XX в.

198 От Матфея 6:19–20: «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе».



199 Второе послание к коринфянам 12:14.

200 Первое послание к Тимофею 5:8.

201 Книга Экклесиаста 4:9.

202 Ivy van Someren. *Baron Corvo's Quarrels*. In: *Life and Letters*. February 1947.

203 По этому адресу располагался отель Belle Vue. Именно здесь, в северо-восточном углу площади Св. Марка, Роуф прожил с момента своего прибытия в Венецию в компании профессора Докинза в начале августа 1908 года до 14 апреля 1909 года, когда его выселили за неуплату. В следующем письме Роуф поясняет, что на этот раз хозяин разрешил ему спать на чердаке в строящейся части отеля.

204 Имеется в виду «Поиск и жажда целого». Публикация по частям с продолжением, о которой говорит Роуф, не состоялась.

205 «Судьба скитальца: Папирус с хроникой некоторых событий, имевших место в одной из прежних жизней г-на Николаса Краббе, воспроизведенный Проспе-

ро и Калибаном» – один из двух романов Гарри Пири-Гордона, основательно переработанных Роуфом. Предложение, полученное «из Англии», исходило от фирмы «Уильям Райдер и сын» – она и опубликовала книгу в 1912 году.

206 Вероятно, имеется в виду утраченный роман «Себастьян Арчер», сюжет которого описан в пятнадцатой главе «Жажды и поиска целого».



207 Книга пророка Исайи 44:3.

208 Не ясно, что значит это имя. Вероятнее всего, оно анонсирует рассказ об очередном прекрасном юноше – Фокс, впрочем, на эту приманку не клюнул, как явствует из дальнейшего.

209 Графиня Мария Тарновская – знаменитая русская авантюристка, которую судили в Венеции в марте–апреле 1910 года за подстрекательство к убийству (она убедила одного своего любовника застрелить другого).

210 Король Великобритании и Ирландии Эдуард VII (1841–1910) умер неделей раньше от острого бронхита, сопровождавшегося осложнениями на сердце. Ниже Роуф приводит его слова, сказанные за сутки до смерти.

211 Это обращение можно объяснить разве что тем, что к письму прилагалась фотография юношей, однако к моменту издания писем она была утеряна (если вообще существовала).

212 Эваристо Барбиери, хозяин отеля Belle Vue.

213 Роуф часто пишет о «Николасе Краббе» и «Едином и многом» как о двух разных книгах. Если он и собирался писать отдельную работу под названием «Единое и многое», она так и не была создана. Тем не менее, «Единое и многое» фигурирует в качестве подзаголовка к «Николасу Краббе», который увидел свет лишь в 1958 году.

214 Король Италии Виктор Эммануил III (1869–1947). Роуф – на основании собственных генеалогических изысканий – считал его законным английским монархом и поэтому, в качестве подданного, отправлял ему все свои книги, пользуясь формальной процедурой.

215 Герберт Роуф (1862–1932) – сотрудник военного ведомства, а после войны – адвокат. Биограф Фредерика Роуфа А. Дж. А. Симонс, встречавшийся с Гербертом, отмечает, что тот с большой неохотой говорил о старшем брате.

216 Рекомендацию, адресованную монастырю армянских бенедиктинцев на острове Сан-Лазарро, чьим традиционным гостеприимством Роуф мог бы теоретически воспользоваться.

217 Остров на востоке Венеции, прилегающий к Городскому саду.

218 В письме Гарри Пири-Гордону от 7 ноября 1909 года Роуф требует вернуть ему

рукописи «Судьбы скитальца» и «Артура Юбера» – это «две законченные книги», о которых здесь идет речь. Кроме того, он просит отдать ему «Короля леса», «Роющих» и «рукопись без названия о мальчиках-папах Бенедикте и Иоанне». Последние три работы так и не получили завершения, рукописи были утрачены.

384 О какой четвертой «наполовину написанной книге» идет речь, установить невозможно.

219 Prudential Regulation Authority – специальная комиссия Банка Англии, которая занимается надзором за банками, строительными обществами, кредитными организациями, инвестиционными и страховыми фирмами.

220 Сольфатара близ Поццуоли – кратер полузатухшего вулкана, расположенный в регионе Кампания, в центре зоны сейсмической активности (Флегрейских полей) между Неаполем и Кумами. В этом регионе множество горячих минеральных источников, fumarole – расщелин, из которых поднимаются сернистые пары, и кратеров-воронок с горячими грязями.

221 На самом деле судьба оказалась куда более благосклонной к Пьеро, чем предрекал Роуф. Он успешно отслужил в армии, женился и дожил до глубокой старости.

222 Роберт Хью Бенсон (1871–1914), сын архиепископа Кентерберийского и сам священ-

ник, обратившийся в католицизм, беллетрист и религиозный писатель. Завязал дружбу с Роуфом в 1905 году, работал совместно с ним над романом из жизни Томаса Бекета (Фомы Кентерберийского), однако впоследствии заявил, что книга должна быть опубликована за его авторством, тогда как Роуф будет указан только как «неоценимый помощник» и получит треть гонорара. Внезапный отказ Бенсона от совместной публикации, глубоко ранивший Роуфа, так и не получил удовлетворительного объяснения.



223 Артур Хэммонд Маршалл (1866–1934), писавший под псевдонимом Арчибальд Маршалл, был известным в свое время романистом и журналистом, а также совладельцем издательства «Элстон Риверз», просуществовавшего с 1904 по 1930 год.

224 Сэр Джон Мюррей IV (1851–1928) – владелец основанного его прадедом издательства «Джон Мюррей», одного из самых влиятельных в Англии XIX века (и существующего до сих пор).

225 Лорд Альфред Брюс Дуглас (1870–1945) – поэт и переводчик, близкий друг и любовник Оскара Уайльда. В 1907–1910 годах редактировал литературный альманах «Академия», где был напечатан рассказ Роуфа «Динон – Телии».

226 Глава 11 из первой биографии Фредерика Роуфа, книги А. Дж. А. Симонса «В поисках

Корво» (1934). Несмотря на массу открывшихся с тех пор фактов, это стилизованное под детектив исследование остается лучшей книгой о Роуфе. Симонс (1900–1941) начинает свой рассказ с описания случайной светской беседы о недооцененных писателях, в ходе которой собеседник вручает ему роман «Адриан Седьмой» за авторством некоего Фр. Роуфа. Оставшиеся 280 страниц заполнены впечатлениями от прочитанного, тонкими суждениями о прозе Роуфа, изящной перепиской Симонса с людьми, лично знавшими загадочного автора, выдержками из обретенных благодаря этим людям документов и раздумьям о природе злоключений, никогда не оставлявших в покое барона-самозванца. «Сложность, глубина и богатство этой книги объясняются тем, что разыскивая Корво А. Дж. А. Симонс занимался по сути поисками самого себя», – писал брат первого биографа Корво Джулиан Симонс.



Альфонс Джеймс Алберт Симонс, предпочитавший не раскрывать своих имен и всегда представлявшийся как Эй Джей Эй, был собирателем редких книг и рукописей, знатоком литературы девяностых годов XIX века, ценителем красивой жизни, изысканной кухни и хороших вин. Помимо биографии Роуфа, Симонс создал жизнеописания Эмина-

Паши (1840–1892) – еврейского врача, управлявшего немецкими колониями в экваториальной Африке, и британского исследователя Африки Генри Мортона Стэнли (1841–1904). Биография Оскара Уайльда, над которой Симонс работал несколько лет, осталась незавершенной.

227 Грант Ричардс (1872–1948) – издатель, заказавший Роуфу книгу о семье Борджиа. 387
В период между 1900 и 1930 годами издательство Ричардса было одним из самых передовых в Британии. Среди прочих, он печатал Б. Шоу, Дж. Джойса, А. Э. Хаусмана, А. Нойеса и др. Переписка Роуфа с Грантом Ричардсом, которую обильно цитирует в своей книге А. Дж. А. Симонс, была опубликована в 1952 г. (Frederick Baron Corvo. Letters to Grant Richards. Peacocks Press, 1952). Как и со всеми своими друзьями, Роуф в положенный срок порвал с Грантом Ричардсом, после чего не упускал возможности опорочить его в частных письмах и осмеять в собственных сочинениях (герой «Николаса Краббе» Дорон Оулдкасл является карикатурой на Гранта Ричардса). Ричардс, со своей стороны, не проявлял к Роуфу никакой враждебности и в июне 1929 года даже присутствовал на первом Корвинианском банкете, устроенном исследователями и поклонниками Роуфа в Лондоне.

228 «Рецензии на ненаписанные книги» публиковались анонимно с февраля по июнь 1903 г.

229 Письма Роуфа к Шолто Дугласу (1873–1934) не найдены до сих пор.

230 Децим Магн Авсоний (ок. 310–ок. 394) – один из наиболее значительных позднелатинских поэтов. Был воспитателем будущего римского императора Флавия Грациана, впоследствии занимал многочисленные государственные должности.



231 Джон Генри Ньюмен (1801–1890) – центральная фигура в религиозной жизни викторианской Англии. Будучи англиканским священником, возглавил так называемое «оксфордское движение», добивавшееся обновления «изъеденной либерализмом» англиканской церкви по образцу вселенской церкви первых пяти столетий. В 1845 г. перешел в католичество и вскоре стал кардиналом, что было воспринято с особым энтузиазмом британской католической общиной. Самая известная книга Ньюмена, в которой он излагает свою философию веры, называется «Грамматика согласия».

232 Эдгар Сальтус (1855–1921) – американский прозаик, утонченную прозу которого при жизни сравнивали с романами Гюисманса и Оскара Уайльда, а после смерти автора начисто позабыли.

233 Суть, видимо, в комичном наложении разных эпох и обстоятельств: лорд Чес-

терфилд (1694–1773), английский государственный деятель и литератор, прославившийся написанными в духе Локка воспитательными «Письмами к сыну» (незаконнорожденному), обращается вдруг к могущественному американскому банкиру и финансисту, одному из основателей «Дженерал Электрик» Дж. П. Моргану (1837–1913).



234 Сирил Тернер (1575–1626) – английский военнослужащий, дипломат и драматург, автор «кровавых трагедий»: «Трагедии атеиста» и «Трагедии мстителя» (хотя авторство последней сейчас чаще приписывают Томасу Мидлтону).

235 Notes and Queries – научный журнал, который начал издаваться в Лондоне в 1849 г. и был посвящен проблемам «английского языка и литературы, лексикографии, истории и собиранию древностей». Во времена Роуфа он носил подзаголовок «средство общения литераторов, художников, антикваров и любителей генеалогии». Статьи изначально были очень короткими и носили чисто фактический характер. Сейчас «Заметки и вопросы» выходят ежеквартально в издательстве Оксфордского университета и приобрели формат обычного академического журнала.

236 Джон Лейн (1854–1925) – британский издатель, занимавшийся преимуществен-

но маргинальными, спорными, сложными текстами, не предназначавшимися для широкой аудитории. В 1894–1897 годах Лейн выпускал альманах «Желтая книга», в котором публиковались рассказы Роуфа о Тото. В 1901 году Темпл Скотт, ранее служивший финансовым менеджером у Гранта Ричардса, перешел на работу к Джону Лейну. Скотт много общался
390 с Роуфом, пока тот работал над книгой о Борджиа, и составил для А. Дж. А. Симонса доброжелательное описание Корво. Барон Корво, со своей стороны, не был столь доброжелательным – в переписке он именует Темпла Скотта «блинолицым карликом», однако возлагает на него надежды в деле продвижения своих сочинений на американском рынке.

237 Генри Харланд (1861–1905) – американский писатель, живший с 1889 года в Англии и издававший вместе с Джоном Лейном «Желтую книгу». Автор «Ветра в ивах» Кеннет Грэм (1859–1932) больше в жизни Роуфа не участвовал.

238 «Рубайи» Омара Хайяма были фактически полностью забыты. В 1857 году английский санскритолог Кауэлл случайно обнаружил серию персидских четверостиший Хайяма в библиотеке Азиатского общества в Калькутте и переслал их поэту и переводчику Эдварду Фицджеральду (1809–1883). В 1859 г. Фицджеральд анонимно

опубликовал брошюру с переводами, однако заметили ее лишь спустя десятилетие, после чего Фицджеральд выпустил второе, переработанное издание. Пик популярности Омара Хайяма в англоязычном мире пришелся как раз на рубеж веков.

239 В 1887 г. Роуф был гувернером Эдварда Слотера и его брата Реджинальда. В августе 1899 года Эдвард встретил Роуфа в Лондоне и пригласил к себе – в пансион на Броадхерст Гарден, где Роуф по его протекции впоследствии и поселился. В первый же вечер Роуф познакомился и с соседом Слотера Хэрри Бейнбриджем. В воспоминаниях «Дважды семь» (1933) Бейнбридж вспоминает, что играл Роуфу на рояле «Песню без слов» Чайковского – этот эпизод был впоследствии описан в одном из рассказов Корво. Чуть ниже Симонс называет Бейнбриджа химиком – на деле тот был горным инженером, а потом служил торговым агентом у Карла Фаберже. 391

240 Глисон Уайт (1851–1898) – английский искусствовед и критик, с которым барон Корво был дружен в 1889–1891 годах. Дружбу Роуфа с Глисоном Уайтом и Чарльзом Кайнсом-Джексоном прервала афера с покупкой дома, о которой подробно рассказано в предисловии.

**Издательство «Kolonna Publications/ Митин журнал» представляет**



Франсуа Сантен

## УБИЙЦА И ЕГО ПАЛАЧ

Близкий друг Жана Жене Франсуа Сантен (1920–2010) рассказывает запутанную историю казненного в 1939 убийцы Мориса Пилоржа, которому Жене посвятил поэму «Смертник», и палача Анатоля Дейблера, внезапно скончавшегося по дороге на казнь Пилоржа.

Рональд Фирбенк

## ИСКУССТВЕННАЯ ПРИНЦЕССА

Рональд Фирбенк (1886–1926) проводил свои дни в изысканной неге. Романы он сочинял на почтовых открытках в украшенных цветами номерах отелей. Его передвижения по миру были непредсказуемыми. «Завтра отправляюсь на Гаити. Говорят, президент там Настоящий Душка!» – сообщала телеграмма, которую получил от него приятель. На торжественном ужине, устроенном в его честь, патологически пугливый писатель решился проглотить лишь одну горошину. Он почитал слово «отдохновенный» и все книги, которые ему нравились, называл отдохновенными. В серии Creme de la Creme впервые по-русски: два романа Рональда Фирбенка и Фирбенкиана – воспоминания друзей писателя о его причудах.

**Издательство «Kolonna Publications/ Митин журнал» представляет**



Герард Реве

## ПИСЬМА МОЕМУ ВРАЧУ

С 1963 по 1980 г. Герард Реве переписывался с врачом Яном Гротхёйзе, который помогал ему преодолеть депрессию, вести борьбу с Королем Алкоголем, лечил Реве и его милых мальчиков от различных недугов, а позднее стал психоаналитиком. Спиртное, религия и смерть – темы, которые доминируют в письмах Реве. Гротхёйзе опасался, что писатель наложит на себя руки, однако покончил с собой не пациент, а врач.

Жиль Себан

## МАНДЕЛЬБАУМ, ИЛИ СОН ОБ ОСВЕНЦИМЕ

В 1986 году был зверски убит 25-летний бельгийский художник Стефан Мандельбаум. Его тело, обезображенное кислотой, нашли на пустыре. Жиль Себан встретился с ключевыми свидетелями его жизни – родственниками, друзьями, любовницами – и попытался в своем документальном повествовании открыть тайну гибели художника. Книга проиллюстрирована работами Стефана Мандельбаума – портретами Бэкона, Пазолини, Геббельса, скандальными эротическими рисунками.

**Издательство «Kolonna Publications/ Митин журнал» представляет**



Габриэль Витткоп

## ВЕЧНЫЙ АЛЬМАНАХ ГАРПИЙ

Гарпии вездесущи и всегда настороже, так что нам от них не ускользнуть. Они стары, как небо, и стары, как смерть. Гарпии – образ пожирающей Матери, космического существа, которое глотает и извергает в одном вечном двойном движении. Поэтому они родственны бородатым сиренам, богиням-змеям, изрыгающим большие реки, божествам хтонических глубин. Если вам снится, что вы едите печень гарпии, вы скоро умрете.

Эрве Гибер

## СМЕРТЬ НАПОКАЗ

«Смерть напоказ» – это рассказ о любовном акте, который не заканчивается оргазмом, а продолжается убийством, смертью и длится за ее пределами. Мешаясь друг с другом, вещают тело убийцы и тело убитого. Лирический и непристойный гимн гомосексуальному оргазму, небольшой трактат об извращенной анатомии, препарирование тела и процесса написания текста. «Смерть напоказ» прославляет то, что в грязных газетных сводках сужают до «преступления на любовной почве». Это первый опубликованный текст Эрве Гибера, которому исполнился 21 год.

**Издательство «Kolonna Publications/ Митин журнал» представляет**



Джереми Рид

## В ПОГОНЕ ЗА ЧЕРНЫМИ РАДУГАМИ

Знаменитый английский поэт реконструирует последние годы жизни Антонена Арто. В книге переплетаются монологи самого Арто, его психиатра Гастона Фердьера, жены Генри Миллера Джун и нимфоманки Дениз, которую Арто встретил в психиатрической больнице Родез в годы Второй мировой войны. Пятый персонаж романа, писательница Анаис Нин, повторяет историю своих увлечений, рассказанную в исповеди «Инцест».

Эдвард Морган Форстер

## ФАРОС И ФАРИЛЛОН

Британский писатель Эдвард Морган Форстер (1879–1970) был одним из создателей «александрийского мифа» XX века. Его усилиями египетский город, живущий торговлей «хлопком, луком и яйцами», в котором, казалось бы, не осталось ничего от города Александра, Клеопатры и Антиноя, превратился в одну из важных тем европейской литературы. Форстер разглядел в скучной улице Розетт, безуспешно пытающейся подражать парижским бульварам, Канопскую дорогу города Александра Великого, а в обитателях городского дна – персонажей александрийской поэзии.

**Издательство «Kolonna Publications/ Митин журнал» представляет**



Джослин Брук

## ЗНАК ОБНАЖЕННОГО МЕЧА

Конец 1940-х годов. Европа ждет новой мировой войны. Рейнард Лэнгриш, скромный банковский клерк, втягивается в таинственную систему военных учений и против своей воли становится бойцом непонятно с кем сражающейся армии. Его однополчане носят знак обнаженного меча на предплечье. Но началась ли война или это темные иррациональные силы испытывают рассудок героя?

Юлия Кисина

## УЛЫБКА ТОПОРА

Москва – город будущего. Мерцающие хвосты черных комет, уходящие в небо – это знаменитые нефтяные фонтаны. По черным каналам плавают атомные субмарины и электрические гондолы. Жители этого города ходят, отсасывая у себя на ходу с легкостью индийских йогов. В небоскребы и тротуары вмонтированы настоящие бриллианты. Вместо Кремля – огромный бублик Большой Православной Мечети. Так представляет себе Россию будущего Юля Кисина. А перед вами ее книга о прошлом, которое агрессивно и хищно врезается в наше культурное тело, разрушая иллюзии о правдоподобии лучшей жизни.

**Издательство «Kolonna Publications/ Митин журнал» представляет**



Эрве Гибер

## МАЛЬВА-ДЕВСТВЕННИК

Не сам ли Гибер скрывается за этими странными персонажами, меняющими имена и предстающими в образах юного девственника, пылкого любовника, жертвы землетрясения или ученика, провожающего великого философа до могилы? Наверняка не скажешь, поскольку на страницах книги есть и три женских портрета: консьержки Мэме Нибар, которую преследуют невероятные несчастья, лукавой директрисы музея восковых фигур и молоденькой соседки, бросающей игру на пианино. В этой книге Гибер говорит без утайки, рассказывает всё о себе и других, то, о чем все думают и чего говорить не следует, и порой это даже больше, чем чистая правда.

Жиль Себан

## ДОМОДОССОЛА. САМОУБИЙСТВО ЖАНА ЖЕНЕ

В итальянском городе Домодоссоле весной 1967 года Жан Жене пытался покончить с собой в гостиничном номере. 12 февраля 2007 года моего юного любовника арестовали без документов и посадили в тюрьму в Нидерландах. Два этих события соединились в сознании и стали меня преследовать.

**Издательство «Kolonna Publications/ Митин журнал» представляет**



Пьер Гийота

## КНИГА

Пьер Гийота пишет «Книгу» с 1977 по 1979. В это время он погружается в глубочайший психологический кризис. Центральная тема «Книги» – проституция – больше не привязывается к месту и времени, а пронизывает все континенты и эпохи. Гийота вводит телесные реакции в саму структуру языка, где трансформации подвергается лексика, синтаксис, грамматика, пунктуация, спряжения глаголов. Литературный опыт Гийота близок к творчеству Антонена Арто, мечтавшего о том, чтобы поэтический язык был «чем-то средним между жестом и мыслью», «речью, запечатленной до ее словесного оформления».

Петер Надаш

## КНИГА ВОСПОМИНАНИЙ

Роман Надаша, пожалуй, самое удивительное духовное свершение последнего времени – произведение последовательное, прекрасное и радикальное… странная, на грани перверсии смесь, пародия и продолжение одновременно Пруста и Томаса Манна.

**Издательство «Kolonna Publications/ Митин журнал» представляет**



Эркюлин Барбен

## ВОСПОМИНАНИЯ ГЕРМАФРОДИТА

Судьба Эркюлин Барбен (1838–1868), мужчины, которого двадцать лет считали женщиной, – загадочна и драматична. Автобиографические заметки Барбен являются не только уникальным историческим свидетельством, но и в высшей степени захватывающим чтением. Во Франции они были подготовлены к печати знаменитым философом Мишелем Фуко для первой части задуманной им серии «Параллельные жизни».

Эрве Гибер

## ПОРОК

Гибер показывает нам странные предметы – вибрирующее кресло, вакуумную машину, щипцы для завивки ресниц, эфирную маску, ортопедический воротник – и ведет в волнующий мир: мы попадаем в турецкие бани, зоологические галереи, зверинец, кабинет таксидермиста…

Книги издательств «Митин Журнал»
и «Kolonna Publications» можно приобрести в *Москве:*

«Фаланстер», Малый Гнездниковский переулок, д. 12/27
«Циолковский», Большая Молчановка, д. 18
«Москва», ул. Тверская, д. 8
«Московский Дом Книги», ул. Новый Арбат, д. 8
«Библиоглобус», ул. Мясницкая, д. 6/3, стр. 5
«Индиго», ул. Петровка, д. 17, стр. 2
«Dodo», ул. Солянка, д. 1/2, стр. 1

в *Санкт-Петербурге:*
«Порядок слов», Наб. Фонтанки, д. 15
«Все свободны», Наб. Мойки, д. 28, второй двор
«Мы», Невский проспект, д. 20

через *Интернет:*
«Ozon» ozon.ru
«Книга» kniga.ru
«Лабиринт» labirint.ru
«Лавка Я + Я» shop.gay.ru/books

на *Украине:*
«Либра» librabook.com.ua

По вопросам оптовых продаж наших книг обращайтесь
в Книготорговую компанию «Медленные книги»:
www.slowbooks.ru; тел.: (499) 258-45-03
Национальный книжный дистрибьютор
«Книжный Клуб 36.6», тел. (495) 926-45-44
Все книги нашего издательства можно заказать
наложенным платежом в редакции на сайте mitin.com

Барон Корво
**ТО, ЧТО РАССКАЗАЛ МНЕ ТОТО**

Kolonna Publications
Россия, г. Тверь, улица Брагина, д. 6, офис 301
Объем: 25 п.л. Подписано в печать 12.08.2015 (это суббота, но у нас, как на острове Свободы, не бывает праздничных дней), отпечатано совсем не там, где нам бы хотелось, а где получилось, в типографии, принадлежащей людям безукоризненной честности, но недалекого ума, которых занимает вопрос о том, как спелость переходит в гниль. Брошюра отпечатана типографским способом, в пределах Российской Федерации, но подробности – вещь куда более странная, чем вымысел, поэтому подробная информация об адресе типографии, ее телефоне, факсе, имени директора, владельца и главного бухгалтера зашифрована на страницах 34, 71, 124, 188, 206, 207, 241, 314, 398 этой брошюры. Код, который поможет без затруднений открыть шифр помещен на странице 218 первого издания романа «ПЕНСИЯ» Александра Ильянена, шестой абзац сверху.